

Милий Езерский

Триумвиры



Книга первая

I

Бледный молодой человек, с орлиным носом и кругами под черными живыми глазами, полулежал на ложе в одной тунике и читал «Пир» Платона.

Это был Гай Юлий Цезарь. Возвратившись в Рим вскоре после смерти Суллы, он радостно был встречен популярями как приверженец Мария и примкнул к ним. Марк Эмилий Лепид уговаривал его присоединиться к мятежу, но Цезарь хитрил, долго раздумывая и, совещаясь с Аврелией, своей матерью, не давал прямого ответа. Не считая Лепида умным, он не верил в его способности, а Марк Юний Брут казался ему только пылким, увлекающимся человеком. Однако он продолжал бывать у обоих и особенно часто засиживался у Брута: жена его Сервилия, сестра юного Марка Порция Катона, высокогрудая и крутобедрая, поразила его с первой встречи ласковой речью, задушевным смехом, умной беседой, и он почувствовал, что влюблен и не в силах покинуть Рим.

Когда Лепид и Брут, уехав из города, подняли мятеж, Цезарь стал ухаживать за Сервилией: лестью, подарками, преклонением перед ней, утонченными любезностями и восхищением ее красотой он добился любви. Страсть его не остывала, а разгоралась по мере того как Сервилия, молодая и чувственная, поддавалась ему. Известие о вероломном убийстве мужа повергло ее в горе не надолго. Разве Цезарь не заменил ей мужа, не уверял, что влюблен навеки? Конечно, он женат на дочери Цинны, но Корнелия только жена...

Теперь, вспоминая о Сервилии, он улыбался: «Сам бы Юпитер влюбился в нее, клянусь Венерой!»

В таблинум вошла жена. Оживленное лицо ее было привлекательно, и Цезарь ласково улыбнулся ей.

— Гай, собираются гости, — сказала она. — Будь добр выйти к ним... Я должна заняться по хозяйству.

— Клянусь Юноной, — рассмеялся Цезарь, привлекая ее к себе, — ты богоподобна... Эта стола и эти украшения придают тебе царственный вид...

Корнелия вспыхнула — частые похвалы мужа были приятны и доказывали, как она думала, его постоянство. Уверенная в любви Цезаря, она не допускала, чтобы он мог увлечься другой женщиной.

Надев поверх туники белую тогу и спрятав под нею цепочку с золотой сердцевидной буллой, подарок Сервилии, Цезарь вошел в атриум.

У имплювия сидели и стояли матроны, окружая седоволосую Аврелию, мать Цезаря; она говорила с жаром о мятеже, обвиняя Катугула и доказывая, что если б она не повлияла на сына, Гай, возможно, примкнул бы к восстанию.

А в стороне, прислушиваясь к беседе, молча сидела тетка Юлия, вдова Мария Старшего.

Цезарь остановился, окинув быстрым взглядом гостей: блестящие глаза Сервилии сверкнули из-за спины матери, и молодая матрона медленно отошла от имплюмш.

Цезарь приветствовал гостей, поднимая, по обычаю, правую руку к губам. Он подошел к тетке и спросил, отчего она грустит. Юлия ответила, что ей нездоровится. Она почти не изменилась с тех пор, как Цезарь бежал из Рима, опасаясь гнева Суллы: такая же привлекательно женственная...

Попомнив о слухах («Любовница императора»), он пожал плечами: «Сплетни,

распускаемые аристократами», — и отошел от нее.

— Божественная, — шепнул он, останавливаясь перед Орвнлией, и громко заговорил о событиях, волновавших Рим: — Увы! Благородный Лепид умер в Сардинии, и Порпеппа отплыл с легионами в Испанию... И хотя мой чип. Люций Корнелий Цинна уговаривал меня...

— Знаю, — прервала Сервилия, — ты поступил благоразумно, и я сожалею, что Брут не послушался твоих советов и дал увлечь себя честолюбивым Лепидом...

— Пусть Помпей торжествует, — говорил Цезарь, — пусть он приносит жертвы богам за счастливое избавление родины от мятежа марианцев; пусть Катул кричит в сенате: «Пока жив был всемогущий диктатор, популяры дрожали за свою шкуру, а лишь отошел, к богам — восстали!» Но разве можно бороться с народом, единственным господином республики?

А Юлия сидела задумавшись. Вчера утром она навестила Лукулла в его скромном домике и беседовала с ним о Сулле. Эти беседы стали для нее насущной потребностью с того дня, как она пыталась отравиться после смерти императора. Образ могущественного диктатора вставал перед ней в своем страшном величии: видела холодные глаза, каменно-спокойное лицо, ощущала сильные руки, сжимавшие ее в объятиях, слышала звучный голос и не знала, куда деться от горести, как пережить эту смерть. Вчера Лукулл сказал: «Это был величайший муж от основания Рима», а потом говорил о Новой Италии, созданной Суллою: «Латины, этруски, умбры, сабелы, оски, греки и галлы смешались, образовав единый италийский народ»... Слова «величайший муж» звенели в ушах целый день, и она, плача и томясь, гордилась, что знала его и любила... Уходя от Лукулла, она спросила, как живут Валерия, Фавст и Фавста, и он, вздохнув, ответил: «Сын и дочь еще дети, а вдова занята Постумией, родившейся после смерти супруга...»

Юлия поднялась, собираясь незаметно уйти, но к ней подошел поэт Архий и, приветствуя, сказал вполголоса:

— Господин мой велел тебе передать, что завтра в полдень возле дома тебя встретит Герон.

Она знала, что Архий — клиент Лукулла, что Герон — любимый раб его, и поняла, что друг диктатора будет ждать ее у себя в назначенное время. Она пойдет, как всегда, без провожатых, — опасаясь, как бы свиданий с Лукуллом не вызвали сплетен в городе.

II

Люций Лициний Лукулл лежа обрабатывал «Достопамятности Суллы», и жена его Клавдия, дочь консуляра Аппия Клавдия, помогала ему.

Лукулл жил скромно; он не участвовал в проскрипциях диктатора и остался таким же бедняком, как и был.

Женившись на бесприданнице из аристократической фамилии, он стал еще большим поборником древних обычаев, суровой честности Сципиона Эмилиана и Метелла Нумидийского и глубоко презирал порочную знать, обогатившуюся проскрипциями; особенно сильно враждовал он с Публием Цетегом, который был вначале марианцем, а затем перебежал к Сулле. Имя Цетега внушало Риму почтение и ужас; муж коварный, он был могущественен и пользовался огромным влиянием в сенате. Клавдия, знавшая его (он некогда ухаживал за ней, добываясь ее расположения), советовала супругу заручиться его поддержкою, но Лукулл колебался.

Развернув свиток пергамента, он прочитал:

— «Обуздав Митридата, как Геракл — Эримантского вепря, Сулла отправился во главе победоносных легионов в Азию, чтобы восстановить древние порядки и единый римский закон...»

Вошел Герон, и Лукулл отложил манускрипт.

— Благородная Юлия из фамилии Цезарей... Клавдия вспыхнула и молча выбежала в перистиль.

Так случалось каждый раз, когда он принимал Юлию, а петом, встречаясь с мужем, Клавдия избегала говорить о «вдове кровавого Мария».

Лукулл принял Юлию в атриуме. Усадив ее на биселлу, он сел рядом и стал говорить о Сулле. Он любил вспоминать этого железного мужа, он благоговел перед ним, и, произнося его имя, чувствовал в сердце щемящую боль.

— Сегодня всё утро я работал над его «Достопамятностями»... Читая их, испытываешь трепет: сколько величия, ума, воли, предвидения!..

Лукулл увлекся, изощряясь в красноречии, точно выступал в сенате: возникали риторические фигуры, смелые сравнения, образы, и слова лились, лились...

— Да, величайший муж, — вздохнула Юлия. — Он любил тебя, как лучшего друга, благороднейший Люций Лициний, и мне больно бывает, когда я думаю о тебе... Ты ненавидим аристократами и демократами, — а за что? За свою честность и презрение к ним! Они, грязь под твоими ногами, возвеличиваются, а ты забыт и живешь в бедности... Думал ли ты об этом? О, прошу тебя, — схватила она его за руку, — не перебивай меня, во имя богов, дай договорить, иначе я подумаю, что ты забыл о трудах божественного императора!

Лукулл с удивлением смотрел на Юлию.

— Сенат получил донесения из Испании, что Серторий ведет переговоры с Митридатом, быть может, заключил даже союз... Серторий и понтийский царь — опасные враги, и сенат ищет полководца, чтобы послать в Испанию...

Лукулл начал понимать.

— Такой полководец уже намечен: это Помпей, — продолжала Юлия, — разгром Сертория повлечет распадение союза, и Митридат, конечно, не посмеет выступить...

— Но он выступит! — вскричал Лукулл.

— Такого же мнения и сенат. Но, пока Митридат соберется, муж, знающий Азию, ее природу и обитателей, мог бы подготовить для себя почву, заручиться связями в сенате, поддержкой влиятельных магистратов и отправиться в провинцию...

— Ты намекаешь, благородная Юлия, на меня?

— Доведи дело Суллы до конца, — страстно сказала она, — порази Митридата! Я уверена, что тень императора будет сопутствовать тебе в походах и боях!

— Но как начать и кто меня поддержит?

— Публий Цетег.

— Заклятый враг!

— Действуй, как покойный император, и ты останешься победителем. Слыхал о Преции?

Лукулл вспыхнул, растерянно взглянул на Юлию.

— И ты... ты советуешь?

Она холодно смотрела на него.

— Знаю, ты считаешь ее простибулой, но она — любовница Цетега, а Цетег сделает всё, что она захочет...

— Преция развращает молодежь, обирает стариков... Что скажет Рим обо мне?

— В наше подлое время честность вредна... Живи, как все живут, иначе оба сословия безжалостно растопчут тебя...

Лукулл задумался. Разве не то же говорила жена?

— Скажи, благородная госпожа, откуда тебе известно о постановлении сената, о происках Помпея?

— Я услышала случайно: Квинт Гортензий Гортал рассказывал об этом Архию... Конечно, от поэта ты узнаешь все подробности и тогда решай, как действовать...

Лукулл пожал ее руки.

— О, благодарю тебя! — вскричал он. — Ты истинный бескорыстный друг! Покойный император владел золотым сердцем!

Юлия покраснела.

— Из любви к Люцию Корнелию я забочусь о Люций Лицинии, — наклонила она голову и, поднявшись, шепнула: — Пусть имя его сопутствует тебе!

Лишь только Юлия вышла, Герон принес эпистолы от Метелла Пия: одну на имя Лукулла, другую на имя Архия.

— Гонец дожидается ответа, — сказал он. — Что прикажет господин?

— Накормить его, уложить спать. Уедет завтра. Сходи к Гортензию Горталу, Сизенне и Архию и скажи, что я их жду.

Сломав печать, Лукулл стал читать письмо. Лицо его омрачилось. Успехи и неудачи в Испании чередовались, а Серторий был неуловим.

«Сообщи ему, что сенат решил послать на помощь Помпея. Пусть Архий, с которым старик дружит, напишет ему подробнее. Боги гnevаются на римлян, — иначе как объяснить поражения?»

Встал и, молитвенно сложив руки, обратил взор к клочку голубого неба, заглядывавшему в комплювий:

— Отец богов, Марс и Беллона, пошлите победы римским легионам!

III

Подавив мятеж популяров, Помпей стал добиваться назначения против Сертория, однако сенат медлил, не желая отзывать Метелла Пия, друга покойного диктатора. Но помощь Метеллу была необходима: поражения становились угрожающими, а обещание Суллы послать в Испанию Помпея было живо среди магистратов.

Муж храбрый, умный, осторожно-медлительный, такой же бесстрастно-равнодушный, как Сулла, Помпей был опытным воином, но прежняя юношеская скромность сменилась важностью в обращении, надутой гордостью, честолюбием. Его нерешительность была причиной насмешек женщин и негодования военачальников.

Помпей сидел в атриуме, беседуя со своим вольноотпущенником Деметрием. Он то и дело откидывал назад длинные волосы, свисавшие со лба на черные блестящие глаза, и поглядывал в зеркало: видел открытое живое «честное лицо» (оно вошло в Риме в поговорку), крупные белые зубы и думал: «Да, я похож на Александра Македонского... Первый заметил это Люций Марций Филипп... Как он сказал?.. «Я, Филипп, не делаю ничего удивительного, если люблю Александра...» Но консул не похож на Филиппа Македонского».

Очнулся. Деметрий что-то говорил. Надушенный, он стоял рядом, и приторный

аромат египетских духов раздражал Помпея; он знал этот запах: такие же духи употребляла жена Деметрия, его любовница.

— Прибыль? Какая прибыль? — уловил Помпей несколько слов из речи вольноотпущенника. — Я уезжаю на войну в Испанию, и ты, Деметрий, конечно, поедешь со мною... А когда возвратимся в Рим, я решу, как распределить прибыль с торговых... торговых... (он искал слова, но не находил — краснел и путался еще больше)... сделок...

Деметрий хитро прищурился. Это был смуглый молодой грек, ловкий, пронырливый. Зная о связи Помпея со своей женой, он смотрел на нее философски: «От жены не убудет, если она ляжет лишний раз с господином, а зачнет от него — мне же выгода: патрон не пожалеет нескольких тысяч сестерциев на воспитание ребенка, да и жена получит на наряды...»

Так размышляя, он сказал, понизив голос:

— Господин мой, жена моя низко тебе кланяется... Помпей растерялся и не знал, что ответить.

А Деметрий, наслаждаясь его замешательством, продолжал:

— Господин мой, всё мне известно. Она ревнует тебя к женам и дочерям всадников (он перечислил несколько знатных фамилий), с которыми ты поддерживаешь близкие отношения... Но сознайся, господин, такой страстной любовницы, как она, ты еще не имел...

Волосы слиплись на лбу Помпея.

— Ну и что ж? — выговорил он, задыхаясь. — Ничего между нами не было... только маленькая дружба... Деметрий усмехнулся.

— Господин мой, прибыль, о которой я тебе говорил, составляет сто двадцать тысяч сестерциев... Я должен сопровождать тебя в Испанию... Жена останется одна... Ты знаешь, мы небогаты...

Помпей облегченно вздохнул, вытер ладонью лоб.

— Да, да, — поспешно сказал он, — возьми эти деньги себе... Я хотел сам предложить их тебе, но не решался. Однако ты, ошибся, дорогой мой, считая прибыль равной ста двадцати, а не двумстам тысячам сестерциев...

Вольноотпущенник не смутился:

— Верно, господин мой! — вскричал он. — Я нарочно сказал меньшую сумму, зная твою Доброту: ты непременно захотел бы подарить мне все двести тысяч, но боги надоумили меня, и я отнял у тебя для тебя же восемьдесят тысяч...

«Лжет», — подумал Помпей и встал:

— Можешь идти.

Он прошел в перистиль, спустился в сад. Встречавшиеся рабы и невольницы низко кланялись ему, а он медленно шел, ни на кого не глядя, не отвечая на поклоны, с величественным видом, присущим скорее царю, чем сыну римского всадника. Казалось, он играл на сцене, как гистрион — все движения его были обдуманы, лицо бесстрастно. Только на ступеньках он остановился, и лицо его как бы загорелось — столкнулся с молодой женою.

Помпей любил Муцию, но теперь она была беременна, и он позволял себе любовные развлечения на стороне. Жена знала об этом и страдала, но чувств своих выказать не осмеливалась — знала гордость и упрямство мужа.

— Я уезжаю, Муция, в Испанию, — сказал он, обнимая ее и уводя в сад. — Надеюсь, добрая Люцина позаботится о тебе больше, чем это в силах сделать человек.

Молись ей и да пошлют нам небожители второго сына... Прошу тебя, заботься, дорогая, о Гнее: он мал, ему четыре года,..

Муция взглянула на него с грустной улыбкою:

— Обязанности свои я знаю, не беспокойся... Послушай, я давно уже хотела поговорить с тобою... Обещай не сердиться...

Помпей покраснел.

Она взяла его тяжелую руку и, поглаживая, говорила:

— Я не хочу тебя упрекать... Но мне больно... Гней, я акаю о твоих отношениях к жене Деметрия, дочерям соседей и всадников...

— Кто тебе насплетничал? — растерянно пробормотал он, избегая смотреть на нее.

— Разве это неправда?

— Но ведь ты должна понять, Муция...

— Я понимаю, — живо перебила она, взглянув на свой живот. — Но увы! Твои любовные дела продолжаются уже давно.

Помпей молчал. Потом сказал не подымая глаз:

— Есть мужи, к которым благоволит Венера; она не оставляет их своими милостями. Я, очевидно, принадлежу к числу этих избранников. Но не печалься, Муцин! Сердце мое принадлежит тебе. А любовные развлечения, — запнулся он, — не есть преступление: разве отец богов не изменяет Юноне с земными женами и девами?

Муция вздохнула.

— То боги, — шепнула она, — мы же смертные...

— А разве поступки богов не должны быть примером для смертных?

По дорожке пробежал, гонясь за бабочкой, маленький Гней, в одной тунике, босиком, с сеткой в руке; на шее метался креспундий на золотой цепочке.

Помпей улыбнулся, обнял жену.

— Подари мне, Муция, еще такого сына, — сказал он, — и я брошу жену Деметрия и иных прелестниц...

IV

Накануне отъезда Помпея из Рима сенат был потрясен подтверждением слухов, волновавших Рим: испанские и азийские лазутчики доносили о союзе Сертория с Митридатом, о взаимной помощи их в предстоящей борьбе с Римом.

Хризогон, в белоснежной тоге с пурпурной каймой и с золотым перстнем на пальце (знак всаднического достоинства), говорил громким голосом:

— Отцы государства! Покойный император, заботясь о мире в Италии и провинциях, давно уже послал в Испанию благородного Метелла Пия. Однако не легко подавить восстание беглого проскрипта из карбоновой шайки — он заключает союзы с врагами отечества, и нужен муж, который бы одним ударом кончил с ним. Такой муж есть. Он выбран, отцы, вами... Так почему же он медлит? Неужели для того, чтобы устроить свои дела? Но личное должно уступить место общественному, и я спрашиваю Гнея Помпея Великого: «Когда же ты, наконец, избавишь нас от злодеев и умиrotворишь Испанию?»

— Верно! Он говорит правильно, — слышались голоса Лукулла, Антония Гибриды и Катилины, — ждем от тебя ответа, Гней Помпей!

Поднялся Красе:

— Отцы, Помпею нечем оправдаться; он не уезжает по двум причинам: не пускают

любовницы и удерживает страх потерпеть поражение...

Помпей краснел и бледнел, слушал Красса, но когда тот намекнул на Сертория, он быстро вскочил, топнул ногою...

— Лжешь, завистник! — громовым голосом крикнул он. — Никогда я не был трусом... Никогда не терпел поражений... Сам диктатор назвал меня Великим. А ты, Марк Красс, полное ничтожество...

Не договорил. Побагровев, Красс бросился к нему с кулаками:

— Я ничтожество?! Кто, как не я, помог непобедимому императору взять Рим? А ты где был? Как и чем защитил его? Ха-ха-ха!..

Помпей растерянно молчал.

— Не время, дорогие друзья, пререкаться, — примирительно сказал Лукулл, становясь между ними. — Диктатор ценит вас обоих и, умирая сказал: «Я многим обязан Крассу и Помпею...»

Лицо Красса просветлело. Но вмешался Публий Цетег, враг Лукулла:

— О, как ты легковерен, Марк Лициний Красс! — воскликнул он с насмешкой в голосе. — Благородный муж потешается над вами...

Лукулл презрительно взглянул на Цетега, пожал плечами:

— Можно ли верить, квириты, марианцу, перебежавшему на сторону Суллы? Моя же честность известна всему Риму.

И гордо вышел из курии.

V

Переваливая через Пиренеи, Помпей получил грозные вести: навстречу ему идут большие силы Перпенны и Геренния, а сам Серторий находится в гористой области Ибера, готовясь к нападению; морское сообщение Испании с Италией прервано, — пираты, союзники Сертория, отбивают суда с товарами, предназначенными для Рима. Соленая рыба, хлеб, вино, оливковое масло, воск, мед, смола, шерсть, ткани, железные изделия, — всё это попадает в руки морских разбойников, которые отправляют большую часть добычи Серторию; из Бетики, знаменитой .полотыми, серебряными и медными рудниками, из Кордубы и отовсюду идут ценности и в Рим не попадают, — восставшие племена отбивают их, а суда жгут и топят...

Метелл и Помпей с боем продвигались, стремясь соединиться. Переправившись через Ибер, Помпей разбил Геренния под Валенсией и взял ее. А затем двинулся к Бетису, где у Италики стоял мятежный квестор Люций Гертудей.

Победы и поражения чередовались. Недели и месяцы пролетали, как минуты, в гоме битв, беспощадных осад, хитрых и внезапных налетов. Перпенна избегал битвы. Но старый Метелл заставил его принять бой, и, хотя в рукопашной схватке Метелл был ранен, победа осталась за ним. А Помпей, разбив Гиртулея близ Италики, бросился навстречу Метеллу. Наконец они соединились. Велика была радость римлян. Надежда на окончание войны встрепенула сердца воинов. Однако мечты их оказались обманчивыми: поражений было больше, чем побед. Помпей умалчивал о неудачах, а незначительные успехи называл громкими победами.

Однажды он послал в Рим краткое донесение:

«Гней Помпей Великий, полководец — сенату и римскому народу.

Волею бессмертных мы встречаем на пути своем яростное

сопротивление иберийских племен, обманном образом привлеченных Серторием на свою сторону. Борьба затягивается, хотя мы беспощадно бьем неприятеля. Близ Сеговии Гиртулей, разбитый вторично, пал в бою. Вся надежда на помощь бессмертных и храбрость легионов. Осада каллагуритян кончится на днях падением мятежного города. Перебежчики сообщают, что осажденные питаются трупами жен и детей, которых умерщвляют по жребию, а затем солят в кадях. Полагаю, что этого им хватит не надолго. А тогда пусть свершится уготованное богами...

Невзирая на препятствия, твердо иду к победам».

А Метелл доносил:

«При Сукроне, у реки Турия, Серторий смял правое крыло Помпея, а сам Помпей, весь израненный, чуть не погиб. Должно отдать справедливость храбрости доблестного мужа; он сражался на моих глазах без шлема, в рядах воинов, а я бился в нескольких шагах от него.

Поддержав правое крыло Помпея, я кончил Турийскую битву полным разгромом войск Сертория. Беглый проскрипт укрылся в крепости Клунии, близ верхнего Дурия. Двигаемся вперед, чтобы осадить его и взять в плен. Да помогут нам Марс и Беллона!»

VI

Случилось неслыханное событие: честный муж покривил своей совестью — стал хитростью добиваться магистратуры. Юлия была права: добродетель вызывала злобу и насмешки.

Рим жил напряженной жизнью, — надвигалась война с Митридатом, и сенат, боясь внезапного удара понтийского царя, часто заседал, обсуждая, кого послать в Азию.

Посоветовавшись с Архием, Лукулл согласился познакомиться с Прецией, любовницей могущественного Цетега, который занимал выдающееся положение в сенате и влиял на ход государственных дел. Решено было навестить ее утром, когда Цетег, по обыкновению, уйдет на форум или в курию.

Раб-эремб, с оливковым цветом лица и большими блестящими глазами, похожими на маслины, распахнул перед ними дверь, ударил в медный диск и прокричал:

— Люций Лициний Лукулл и Авл Лициний Архий!

Девочка-сириянка, с повязкой вокруг бедер и обнаженными бугорками оформлявших грудь, подбежала к ним, поклонилась и сказала, что госпожа просит их пройти в кубикюлюм.

Лукулл нерешительно взглянул на Архия — принимать гостей в кубикюлюме! Но поэт шепнул:

— Прошу тебя, ничему не удивляйся в этом доме.

В кубикюлюме горели светильни, и зеркала, вделанные в стены, отражали ярко освещенные предметы. С ложа вскочила высокая полунагая женщина и, неслышно ступая босыми ногами по мягкому ковру, изображавшему луг, усеянный цветами, подошла к ним, закинула руки за голову, потянулась, зевнула. Стройная и гибкая, она напоминала формами девушку, но морщинки у глаз и губ и некоторая обрюзглость лица выдавали бурно протекавшую жизнь.

Лукулл растерянно смотрел на тело Преции, не зная, что сказать, но уже заговорил Архий, приветствуя ее, и Лукулл, тоже приложив руку к губам, вымолвил:

— Привет солнечной красоте, озарившей тусклую жизнь Рима божественными лучами!

Преция звонко засмеялась:

— Боги вняли моим мольбам: я вижу у себя честного Лукулла, любимца великого Суллы, и радуюсь всем сердцем такому счастью. Но скажи, благородный муж, какие боги надоумили тебя посетить мой бедный дом и...

— Госпожа моя, давно уже весь Рим восторгается твоим умом и красотой, и только я, занятый работой, порученной мне императором, не имел времени присоединиться к твоим обожателям. И лишь на днях, встретив тебя на Священной дороге, я понял, как много потерял в своей жизни!.. А теперь, глядя на тебя, я готов кричать от восхищения: «Какая грудь, какие руки и ноги, какие глаза, какие формы божественного тела!»

Преция заглянула ему в глаза (в них было восхищение) и, не стесняясь Архия, взяла Лукулла под руку и дружески сказала:

— Я счастлива, что такой знаменитый муж почтил меня своим вниманием. Хвала Венере, заботящейся о женщинах!

— Хвала Венере, не забывающей мужей! — повторил за нею Лукулл.

С этого дня он стал ухаживать за Прецией, — посылал подарки: безделушки, золотые и серебряные украшения, фибулы, сопровождал ее в поездках за город... Так проходили недели.

Однажды, придя к ней вечером, он увидел среди гостей, толпившихся в атриуме, Публия Цетега.

На мгновение оба мужа растерялись, но Преция, взяв Лукулла за руку, подвела к Цетегу:

— Вот наш лучший Друг! — весело воскликнула она. — Полюби его так же, Публий, как любил его божественный император!

Глаза Цетега мрачно сверкнули — вспомнил, как Лукулл некогда назвал его презрительной кличкой марианца-перебежчика, как сенаторы злорадно улыбались, и готов был уже отвернуться, но Преция что-то шепнула. И Цетег, засмеявшись, непринужденно сказал, подходя к Лукуллу:

— Друг диктатора — мой друг. Наша вражда была, конечно, недоразумением. Я всегда уважал тебя и преклонялся пред тобою...

— Никогда я не был твоим врагом, — горячо прервал его Лукулл. — Боги свидетели, что если я позволял себе грубости, то виною этому — несдержанность воина, отвыкшего в лагере от утонченной жизни римского общества.

Цетег ласково взял его под-руку. И, беседуя о политике, они долго ходили по атриуму, среди гостей, изредка обращаясь с любезностями к матронам.

— Нас беспокоит Митридат не потому, — говорил Цетег, — что мы боимся его, а оттого, что он заключил союз с Серторием. Уже два года, как борется Помпей Великий в Испании и терпит поражения. Я не верю его хвастливым эпистолам о победах. Если бы римляне побеждали, война давно бы кончилась. Сенат должен послать против Митридата полководца, воевавшего уже в Азии, храброго мужа, который заставил бы царя признать могущество Рима. Но где найти такого полководца? Где?

— Где найти? — вскричала Преция. — Да ты близорук, Публий!

Цетег, притворяясь непонимающим, ответил, что политически близорукий муж не мог бы управлять государством, что ценен только тот, кто способен предвидеть будущее и направлять внешнюю политику сената по неожиданному для неприятеля пути.

Однако Преция, подмигнув Лукуллу, не сдавалась:

— Такой муж — пред тобою! — говорила она. — Разве он не воевал в Азии под начальствованием Суллы? Разве он не знает языка и обычаев обитателей страны?.. Его, только его, Лукулла, нужно послать против Митридата, и ты, Публий, должен настоять на этом в сенате!

Цетег задумался: «Уж не для этого ли Лукулл помирился со мною? Или действительно увлекся Прецией? Я не ревнив, у нее много обожателей — они текут, как вода («Всё течет», — сказал мудрый Гераклит), и потому преходящи...»

— Надеюсь, дорогой Люций, — шепнула Преция, — ты не забудешь нас, когда разбогатеешь в провинции...

— Честное слово Лукулла...

Цетег повеселел. Полуобняв гостя, он сказал:

— Будь готов отправиться против Митридата, — я заставлю сенат принять мое предложение...

В атриум входили новые гости; вскоре пришел и Катилина. Широкоплечий, порывистый, мертвенно-бледный, с бегающими беспокойно глазами, он заметался, приветствуя мужей и матрон, и его густой голос гремел в затихшем атриуме.

Цетег отозвал его к ларарию.

— Почему опаздывает Красс? — спросил он.

— Большое несчастье. Весталка Лициния захвачена с рабом Красса в своей загородной вилле. Сенат в ужасе. Подозревают Красса, но он, вероятно, чист. Его не оказалось в вилле, хотя на ложе найдена мужская тога... А ведь рабы не носят тог, — схваченный невольник оказался немым, — у него отрезан язык...

— Говори, говори! — торопил его Цетег.

Но Катилина молчал. Очевидно, он знал больше и жалел, что сказал и так много...

— Ты очень любопытен, Публий! — усмехнулся Катилина и отошел от него.

«Конечно, он узнал подробности от весталки Фабии, своей любовницы, — думал Цетег, — а этот торгош Красс не пожалел молодой жизни, лишь бы завладеть богатой виллой. Он хотел купить её за бесценок, но Лициния не соглашалась, и он стал ухаживать за ней, добываясь ее расположения. Он соблазнил девушку, а затем, оставив ее с невольником (я уверен, что он повелел отрезать рабу язык, чтобы свидетель молчал), привел в дом эдила. А виллу он, конечно, получит — всё обдуманно им, всё взвешено!»

Скоро все гости обсуждали страшное событие.

Многие были уверены, что не с невольником согрешила Лициния, а с Крассом. То же думал и Лукулл, сжимая кулаки: «Алчный, презренный торгош погубил деву Весты ради наживы! О, боги, долго ли будете терпеть этот позор?»

VII

В седьмой день календ секстилия¹ в Риме эдиктом сената был объявлен общий траур: весталка Лициния потеряла девственность! С утра лавки были закрыты, все

¹ 26 июля. Секстилий — название VIII Месяца, т. е. августа.

дела прекращены.

Толпы народа спешили к полю преступников, где должна была совершиться казнь: мужчины — в длинных темно-коричневых одеждах, женщины — в белых одеждах без вышивок и разноцветных полосок.

Катилина и Цетег, сопровождаемые рабами, шли среди толп возбужденного народа. Катилина был осведомлен о следствии, произведенном верховным жрецом (еще накануне все подробности этого дела были сообщены ему весталкой Фабией), и беседовал с Цетегом по-гречески:

— Лициния созналась... Она указала на Красса... Верховный жрец был у него, но Марк, очевидно, сумел оправдаться, — поэтому раба заковали в цепи, перестали кормить и поить...

— Марк не остановится ни перед чем, — шепнул Цетег, — бьюсь об заклад, что он подкупил верховного жреца!

— Пусть так, но жертвовать Лицинией ради виллы всё же... жестоко... Нельзя ли ее спасти?

Цетег засмеялся.

— Уж не влюблен ли ты в нее?

— Молчи, — побагровел Катилина, и глаза его налились кровью.

— Берегись, Люций, чтоб и тебя не постигла такая же участь... Разве не предупреждал тебя Сулла?

Катилина расхохотался.

— Я ненавижу эти варварские обычаи, — вымолвил он, задыхаясь, — патрицианские обычаи. Оскорбление богини? Ха-ха-ха! Да и есть ли еще боги и богини? Не выдумка ли это досужих жрецов? Если виновник известен и останется жить, а пострадает невинный...

Так беседуя, они миновали Виминал и дошли до Квиринала. За Коллинскими воротами простиралось *campus sceleratus*, или поле преступников. Обыкновенно пустынное, оно волновалось толпами народа: шумя, толкаясь и ругаясь, теснились ремесленники, вольноотпущенники, рабы, невольницы, пролетарии, женщины, дети, — все старались пробраться к каменной стене с огороженным местом.

Усердно работая локтями, Цетег и Катилина протиснулись к ограде прежде, чем печальное шествие подошло с противоположной стороны.

Впереди шел старый верховный жрец в широкой тоге, покрывавшей часть головы, и с жертвенной чашей в руке; за ним — осужденная, которую вели под руки, и позади — обвиненный раб под стражей; дальше выступали весталки, предшествуемые ликторами: старшая (*virgo vestalis maxima*) и пять младших (шестая была осуждена), — все в длинных траурных одеждах, с покрывалами па головах, а за ними следовали матроны, дочери нобилей и опять толпы народа.

Цетег, не отрываясь, смотрел на Лицинию: с виду ей было лет четырнадцать; на помертвевшем лице, искажённом ужасом, блуждали, обезумевшие глаза; казалось/ она никого не видела... А Катилина поглядывал на юную Фабия: бледная, она шла в первом ряду, опустив глаза; и он заметил, как дрожали у нее веки и подергивались губы.

«Лицинию нужно спасти — я обещал Фабии, — думал он, — и для нее я готов совершить двенадцать подвигов Геркулеса... О, Фабия, Фабия!»

Дикий вопль разметал его мысли — в ограде, у каменной стены, секли «соблазителя»: свистели прутья, брызгала кровь... Раб уже не кричал, он только выл

в жуткой тишине, охватившей поле, а его секли без передышки, — обычай требовал засечь насмерть.

Когда его тело стало расплывшимся месивом, из которого выступили кости, верховный жрец возгласил:

— Такая же кара ждет соблазнительей дев богини Весты.

Катилина вздрогнул. Ему показалось, что старик при этом взглянул исподлобья на него.

«Ну, меня не тронешь, — подумал патриций, и глаза его свирепо сверкнули. — Прежде чем ты осмелишься меня обвинить, душа твоя будет платить Харону...» А верховный жрец, подзвав врача-александрийца, спросил:

— Жив еще?

Врач легко опрокинул тело невольника навзничь и приложил руку к его груди.

— Сердце перестало биться, — возвестил он. Кивнув, верховный жрец крикнул на всё поле:

— Пусть жрут эту падаль хищные звери и птицы! Катилина смотрел потемневшими глазами на труп:

«Человеческая жизнь стала дешевле медного асса».

Обрезав весталке волосы, верховный жрец подвел ее к каменной стене. Лициния сопротивлялась: она вырывалась, готовая бежать, но ее держали крепкие руки, а старшая весталка шептала:

— Не бойся, сечь не будут...

«Разве это не насмешка в сравнении с голодной смертью, которая ее ожидает?» — подумал Катилина.

— Молись богине, чтобы совершила чудо, — сказал верховный жрец и отвернулся.

Узкое отверстие в каменной стене, ина дне ямы-могилы маленькое ложе, столик, и на нем — зажженная свечка, кусок хлеба и две чаши — с водой и маслом.

Лицинию обмотали веревкой и, несмотря на ее сопротивление, осторожно спустили вниз. Крича и извиваясь, она молила о пощаде, но все молчали.

— Завалить отверстие камнем, — распорядился верховный жрец.

Старшая весталка разогрела воск и залепила им концы бечевки, соединявшей камень с краем стены, и жрец приложил большую печать.

Толпа расступилась: подходил центурион во главе отряда.

— Охранять это место, смотреть за целостью печати, — приказал верховный жрец. — Отвечаешь за побег развратницы как за государственную измену.

VIII

На склоне Палатинского холма, в священной роще Пана, находилась Волчья пещера — Луперкалий — и перед ней росло фиговое дерево (здесь, по преданию, волчица вскормила Ромула и Рема); если оно засыхало, жрецы тотчас же сажали молодое деревцо, веря, что, пока оно будет покрываться листьями, величие и благоденствие не покинут Рима.

Впервые после смерти Суллы праздновались Луперкалий. С утра в пещере собирались молодые жрецы, избранные из знатнейших фамилий, ожидая жертвоприношения.

Катилина стоял в глубокой задумчивости, вспоминая засеченного раба и заживо погребенную весталку.

«Сегодня второй день, она, конечно, жива еще, а этот золотой мешок (так величали

Красса) бегают уже от одного магистрата к другому и хлопочет, как завладеть виллой Лицинии... Прав был Цицерон, сказавший, что у него добродетель после денег».

Новая мысль мелькнула в голове:

«Нужно повидаться с Крассом».

Невзирая на то, что жертвоприношение уже началось и уйти было бы святотатством, Катилина быстро зашагал к форуму, надеясь найти Красса, несмотря на праздничный день, возле базилик или у одного из менял.

Он увидел Красса, поспешно проходившего мимо базилики Portia в сопровождении скриба и нескольких ростовщиков, которые униженно умоляли его отсрочить платежи, но Красс отмахивался от них с гневом на лице. Народу на форуме было мало.

— Привет Крезу! — закричал Катилина, подбегая к нему. — Ищу тебя всё утро и не могу найти. Только у Луперкалия вразумили меня, должно быть, божественные братья, что ты здесь. И я подумал: «Если Ромул и Рем воздвигли город, то Марк Лициний Красс доказал, что высшая добродетель — серебро. Владеешь деньгами — ты человек, а не имеешь их — цена тебе унция»...

Красс засмеялся — жирный мясистый подбородок задрожал, в серых глазах сверкнули веселые огоньки. — Ты остроумен, дорогой Люций, — сказал он, — но у меня есть друзья, которых я ценю превыше всяких унций, и даю им займы без процентов...

— Я знаю, что ты не отказываешь, поэтому я искал тебя...

— Сколько? — отрывисто спросил Красс, подзывая скриба, который держал в руках стил и таблички.

— Как думаешь, — шепнул по-гречески Катилина, — сколько нужно на подкуп верховного жреца и стражи, чтобы спасти весталку?

Красс побагровел, топнул ногою:

— Ты шутишь!

— - Клянусь богами, я должен ее спасти!

— Ты, братоубийца, для которого кровь — лужа грязи, стал милосердным? — расхохотался Красс. — Не поверю... Чего же хочешь?

— Побольше нумов, чтобы иметь Лицинию... Красс исподлобья взглянул на него и молчал.

— Ты сомневаешься, благородный Марк Лициний, возможно ли подкупить понтифика и центуриона?..

— О нет, за деньги купишь все и всех, — тихо вымолвил богач: — консула, понтифика, сенаторов, самую добродетельную матрону, дочерей патрициев... И любая мать продаст за деньги любую дочь, а верховный жрец — себя и весталок... Ха-ха-ха! Никомед за деньги сделал своим наложником Юлия Цезаря — помнишь, наш император посмеивался, узнав об этом? Серебро, дорогой мой, это бог... Лициния молится там, в яме, ожидая чуда, и — не дожидается, а я, мудрый бог, владеющий послушным мне богом, захочу — и освобожу ее...

Он уже успокоился и говорил с торжественным смехом всемогущего властелина. И вдруг повернулся к скрибу:

— Пиши. Выдать Люцию Сергию Катилине пятьдесят тысяч сестерциев...

И прибавил по-гречески:

— Лишнего не плати, торгуйся с понтификом, с центурионом, а остальные деньги вернешь мне...

— Разве ты, Марк Лициний, не оставишь их весталке?

— Нет, я не привык бросаться серебром. Если хочешь ее иметь — заботься сам о ней...

— Но ты... ее вилла...

— Ни слова больше! Возьми табличку. Подожди, Люций! Когда возвратишь долг?

— Остаток — завтра, а истраченные деньги — через год.

Красс поморщился, но не возражал.

— Запиши, — обратился он к скрибу, — господин вернет деньги ровно через год утром... А если опоздаешь...

Катилина поспешил уйти: жадность Красса возмутила его.

Долго верховный жрец отказывался слушать Катилину, лицемерно затыкая себе пальцами уши, но, когда тот пригрозил ему обвинением в растлении весталок, он побледнел; согласился получить десять тысяч сестерциев и, озираясь, проворно спрятал их в окованный железом сундук.

Центурион и часовые, купленные за четыре тысячи сестерциев, должны были известить весталку о близком освобождении и позаботиться, чтобы воины оставались ночью в палатках.

После второй стражи две черные фигуры вышли из Коллинских ворот и тихо пробирались по полю к каменной стене, охраняемой часовыми.

Не успели они подойти, как рядом с ними выросла тень,

— Кто? — шепнул Катилина.

— Я, центурион.

— Люди спят?

— Всё спокойно.

— Лестницу приготовил?

— Сделано.

Верховный жрец подошел к стене и сломал печать. Часовые отвалили камень.

— Лициния!

Девичий голос донесся снизу:

— Кто там? Так это правда?! О, Веста! Слава тебе!

— Тише. Отойди, Лициния! Я спускаю лестницу.

Очутившись в могиле, Катилина обхватил девушку поперек туловища и быстро выбрался наверх.

— Молчи, — шепнул он, — ты спасена...

— Господин мой...

Подозвал центуриона, вручил ему деньги и шепнул жрецу:

— Отец мой, серебро ты получил, сделай же так, как мы уговорились...

— Сейчас мы завалим вход и вновь запечатаем могилу, а завтра приведу сюда весталок и объявлю о совершившемся чуде.

Вооруженные рабы подошли к Катилине, и один из них спросил:

— Что прикажет господин?

— Повозка?

— Готова.

Увлекая в темноту дрожавшую от волнения весталку, Катилина шептал:

— Успокойся, Лициния! Скоро мы будем далеко от этого проклятого поля...

На дороге фыркали лошади, слышались голоса.

— Вот и повозка, — сказал Катилина, подсаживая девушку. — Ложись в сено и отдыхай. Ехать нам более сорока стадиев.

Слышно было, как зашелестело сено, как взбирался Катилина, звеня мечом. Повозка покатила, охраняемая конным отрядом рабов.

Обнимая Лицинию, Катилина шептал:

— Знаешь, куда мы едем? В виллу Корнелия Лентула Суры, моего друга. Там ты будешь в безопасности. Говори всем, что ты его племянница... А надоест — я отвезу тебя в свою этрусскую виллу и выдам замуж за храброго ветерана Суллы...

IX

Три дня и три ночи уходили иберийские наездники от конницы Помпея, а на четвертые сутки, попав в засаду, были окружены и изрублены, — только несколько человек сумели прорваться и ускакать. Сначала они мчались крупной рысью, а когда наступила ночь — поехали медленнее.

Хмурясь, Мульвий озирался по сторонам. Луна была на ущербе, и тусклое сияние смутно освещало горы и узкое ущелье, по которому ехал гуськом конный отряд. С вечера упала холодная роса, дул ветер, и люди кутались в плащи, зорко вглядываясь в темноту. Лошади ступали бесшумно — на копыта их были надеты башмаки, сплетенные из гибкого камыша. Было тихо, только изредка зазвенит оружие, звякнет уздечка, зашуршит тревожный шепот.

Мульвий ехал впереди за ним следовал юноша, почти мальчик. Мульвий служил префектом конницы под начальством Сертория и отличился во многих сражениях. Женившись в Илерде на вдове-иберийке, у которой был сын, он определил его в школу для детей-заложников испанской знати, основанную в Оске Серторием, а в свободное время обучал пасынка военному делу.

Известие о поражении Лепида и Брута и смерть Геспера, погибшего в бою на Марсовом поле, поразило и встревожило Мульвия: рушились надежды на соединение с римскими популярями, а смерть друга-борца не давала покоя.

«О боги, — думал он, — зачем вы отзываете от нас лучших смертных? И кто порукою, что вождь и тысячи братьев доведут наше дело до конца?»

Старик грустил, не находил себе места. Даже помощь Перпенны, который высадился в Испании с когортами, уцелевшими от разгрома, не радовала его.

Помпей, оттеснив передовые отряды противника от Альп, вторгся в Испанию. Наступили тяжелые времена, молодежь вступала в войска, чтобы отстоять родину, и Мульвий стал брать с собой пасынка на разведку, — занятия в школе уступили место боям и стычкам.

Выбравшись из ущелья в долину, утопавшую в молочном тумане, конники услышали плеск бурно-стремительного Ибера, и Мульвий приказал дозорным обследовать местность.

Ехали берегом реки. Мульвий искоса поглядывал на Сальвия. Небо бледнело, звезды меркли. У всадников, одетых в темные плащи из козьей шерсти, серели на голених войлочные поножи, а на голове сверкали медные шлемы с пучками красных волос; узкие деревянные щиты, обтянутые звериной шкурой, качались перед ними.

«Серторий погиб», — думал Мульвий, и голова его клонилась ниже и ниже: перед глазами стояла Мала, молодая смуглотелая жена в одежде виночерпия, он видел ее черные глаза, веселое лицо и вспоминал слова, сказанные ей, когда отправлялся на разведку: «Защищай вождя, будь осторожна». Она погибла на пиру, пораженная мечами полупьяных заговорщиков.

Дорогою они узнали о поражении Перпенны: Помпей захватил его в плен и

приказал казнить. Популяры рассеялись — одни бежали к пиратам, иным было разрешено вернуться на родину. Серторианцы, укрывавшиеся в Пиренеях, сдались после взятия Помпеем Оски и ряда городов; переселив их в Аквитанию, он двинулся на приступ мятежных городов — Уксамы, Клунии и Калагурра.

Мульвий и Сальвий пробрались в Оску, отыскивали полуразложившийся труп Малы, выброшенный за город, и похоронили в поле.

Сальвий тихо плакал, а Мульвий молчал, сурово сдвинув брови: жена, которую он страстно любил, перестала жить; дело, за которое он боролся с великим Серторием, растоптано сулланскими полководцами.

Вспомнил беседы с Серторием о событиях в Италии, о восстании Спартака, о победах его над римскими легионами — и не колебался.

— Сын мой, — твердо вымолвил он, — ты — как хочешь, а я с помощью богов отплыву в Италию.

— Отец, что нам там делать?

— Забыл о мятеже Спартака?

— Но как пробраться к нему? Вся Италия полна соглядатаев — они всюду: в тавернах, на дорогах и улицах...

— Боги нам помогут... Поедешь со мною?

— Где ты, отец, там и я!

Спустя несколько дней они отплыли из Испании и вскоре высадились в Пизах, этрусской гавани, лежавшей неподалеку от реки Дрна, Чуждая толпа торговцев, ремесленников и рабов окружила их. Они не расспрашивали о восставших рабах, боясь возбудить подозрение.

Остановились в бедной гостинице, и Мульвий, беседуя с хозяином ее, пожилым вольноотпущенником, говорил:

— Я — ветеран великого Суллы, а это мой сын. Мы прибыли с помощью богов из Азии, где занимались земледелием, и хотели бы заручиться поддержкой влиятельных мужей... Но мы никого здесь не знаем..."

— В окрестностях города живет досточтимый центурион Гай Манлий. Обратитесь к нему... А верно, что Серторий пбгиб и популяры рассеяны?

— Я давно не был в Италии и отстал от политики... Разве Помпей воюет с Серторием?... Признаюсь, я удивлен...

— Вижу, ты, ничего не знаешь... Дороги теперь небезопасны — волнуются рабы и пролетарии: восстал Спартак!

— Спартак? А кто он? Плебей, всадник или патриций?

Вольноотпущенник расхохотался.

— Спартак — вождь рабов. Он восстал, чтобы освободить невольников и вывести их на родину... за Альпы... Он побеждает римские легионы, но его сподвижники враждуют между собою: Спартак запрещает грабежи и желает пробиться за Альпы, а Крикс, Ганник и Эномай не хбтЖт уходить из Италии — они мстят богачам и притеснителям...

— А почему они не желают повиноваться вождю?

— Точно никто не знает. По одним слухам, кельты и германцы враждуют с греками и фракийцами Спартака, по другим — в легионах вождей преобладают свободнорожденные и им незачем уходить из Италии; они хотят получить земли и богатства угнетателей и поэтому грабят их виллы, расправляются с поработителями.

— А разве у Спартака большие силы? — с замиранием сердца спросил Мульвий.

— Большие. Но вражда ведет к несчастиям. Недавно Крикс отделился от Спартака, был разбит римлянами и погиб со своим войском... Спартак, шедший к Альпам, дошел до Мутины, но зажиточные земледельцы выступили против него, и он повернул обратно. Он отомстил за смерть Крикса, разбив двух консулов, и принес в жертву духу друга триста пленных римлян. Потом он двинулся на Рим...

— На Рим? — одновременно вскричали Мульвий и Сальвий. — Ты шутишь?!

— Ничуть. Но его не поддержали города, и пришлось отказаться от этого похода. По пути он разбил римские легионы в Пиценской области...

— Где же он теперь? — вскричал Сальвий.

— Недавно он занял Фурий... Мульвий задумался.

— Друг, — сказал он, — ты много знаешь... Уж не приверженец ли ты Спартака?

— Нет, — ответил вольноотпущенник, — я. предпочитаю жить спокойно, потому что не верю в окончательную победу рабов.

— Разве ты не был невольником и успехи Спартака чужды твоему сердцу?

— Повторяю — римлян не победить. Разве Аннибал, равный гигантам, покорил Италию?

На другой день Мульвий и Сальвий отправились в виллу Гая Манлия.

Центурион сидел в саду, окруженный друзьями-ветеранами. Это был тучный человек с багровыми щеками и крупным носом. Будучи навеселе, он пел:

Любим мы девушек,
В стыд облаченных,
Но больше мы любим
Нагих блудниц...

Еще накануне в атриуме началась попойка и продолжалась всю ночь. До рассвета. А утром, когда слуги стали убирать атриум, хозяин пригласил друзей в сад.

Друзья обратились к нему с просьбой рассказать о своих подвигах в Азии, и Манлий, на коленях которого сидела юная плясунья, прервал песню и заговорил:

— Я был начальником центурии. Однажды меня окружили азийские конники; их было так много, что земля дрожала от топота лошадей, а от криков и воя варваров многие оглохли... Клянусь Марсом! — воскликнул он. — Я не трус, но сперва растерялся. Вспомнив однако о доблести нашего императора, я ободрился: построил свой отряд в виде квадрата, сзади и с боков поместил лучников и пращников и повел воинов в бой, вызывая на единоборство самого Митридата. «А если царя вашего нет, — кричал я, — пусть выступит против меня его полководец!» Но тот, очевидно, трусил, и я бросился на приступ. Манлий вскочил, и юная девушка не успев уцепиться за его одежду, с криком упала на землю. Все захохотали. Но центурион, не обращая на нее внимания, продолжал:

— Сначала неприятель держался, а когда я закричал: «Бей, Манлий, с тыла, окружай, Манлий, руби, захватывай в плен!» (это я сам себе отдавал приказания - ха-ха-ха!), враг дрогнул. Мы погнались за ним и — победили! Клянусь Беллоной, нас было в двадцать или тридцать раз меньше, чем понтийцев! Но храбрость и хитрость, друзья, решают нередко исход боя! А если сражается притом ветеран Суллы — победа обеспечена!

— Много захватил добычи? — спросила плясунья, снова садясь к нему на колени.

— О, боги! Она еще спрашивает! — воздев руки, вскричал хозяин. — Взгляните, друзья, на эти кольца! Вспомните кубки, из которых вы пили и будете еще пить! Вспомните греческих плясуний, певиц и флейтисток! Нескольких я оставил себе, а

остальных продал... О, какое это было прекрасное время!.. Сам богоравный император поздравил меня с победой и протянул мне руку...

— Какое счастье! — хором воскликнули гости. — И ты, благородный Гай Манлий...

— Я поцеловал руку любимца богов. А он подарил мне, как другу, золотую цепь и перстень — смотрите!

— Он, Счастливей, передал тебе свое счастье, — сказал один из собеседников, внимательно рассматривая перстень, и вдруг спросил: — Откуда он у тебя?

— Как — откуда? — вспыхнул хозяин. — Разве я не сказал?

— Но такой же перстень я видел на руке ростовщика-менялы, которого ты, дорогой Манлий, зарубил...

— Лжешь! — вскипел ветеран, и лицо его побагровело. — Я зарубил злодея за дело! Он оскорбил тень диктатора...

— А разве ты ему не был должен?

— Я? Должен? Да ты пьян, дорогой мой! Это он был мне должен... Неоднократно я делал ему отсрочки платежа... А ты... Молчи, подлый лизоблюд! Так-то ты благодаришь меня за мою доброту и гостеприимство! Эй, рабы, сюда! Взять этого наглеца и дать ему тридцать ударов — пусть не оскорбляет императора!

— Это ложь! — вопил побледневший гость, уводимый рабами. — Слышите, друзья, будьте свидетелями...

— Нет, не ложь! — вскочив, крикнул Манлий. — Оскорбить ветерана Суллы — значит оскорбить самого диктатора!

Все молчали, боясь гнева центуриона. А когда донеслись вопли избиваемого гостя, хозяин сказал:

— Грязная свинья! Оскорбить императора и его воина!

Слуга доложил, что атриум уже подметен и что господина желает видеть ветеран, возвратившийся с сыном из Азии.

— Пусть подождет в атриуме, — распорядился Манлий.

Мульвий и Сальвий, усталые, покрытые пылью с ног до головы, молча ожидали хозяина у ларария. И, когдавошел центурион и, гордо оглядев их, почти не ответил на приветствие, они подумали, что этот человек не может быть сторонником рабов, — слишком он римлянин!

— Меркурий милостиво сопутствовал бедному ветерану и его сыну в их путешествии из Азии в Италию, — сказал Мульвий. — Слава о твоих подвигах бродит в провинции, и мы, услышав, что ты живешь здесь, решили обратиться к тебе... И вот, припадая к твоим коленям, мы просим у тебя покровительства и поддержки,-

Речь Мудевия понравилась центуриону. Выставив и без того большой живот, он гордо оглядел гостей и сел.

— Я рад помочь коллеге по оружию. Ты служил, должно быть, легионарием?.. В каком легионе? В третьем, говоришь? Я там был примипилом, но тебя, друг, не помню...

— Господин, я был ранен при Орхомене...

— Сразу сказал бы так! — захохотал Манлий. — Ну, а твой сын? Не служил еще? Ничего, послужит. Хочешь, я направлю вас к Катилине, верному другу покойного диктатора?

Привстал.

— Слыхали о Катилине? — громко крикнул он. — Это муж, радеющий о благе

ветеранов Суллы! Эй, гости! Занимайте места, а ты, Мульвий, возляжешь рядом со мной и расскажешь нам об Орхомене, — хлопнул он Мульвия по плечу (от одежды мнимого ветерана поднялась пыль), чихнул и рассердился. — Поди, коллега, отряхнись и умойся! Неряшливость вообще постыдна, за столом же сугубо, а на ложе... Ну, иди, иди, да возвращайся поскорее!

Х

После делового дня, прошедшего в подсчете скрибами прибылей совещании с аргентариями о взыскании денег по долговым обязательствам и продаже имущества должников с публичных торгов, Марк Красс устал. Отпустив всю эту толпу, пресмыкавшуюся перед ним, он захотел остаться один.

Полулежа в таблинуме, он думал о своей суетливой жизни, посвященной только наживе, и вздыхал.

Уже несколько дней беспокойство омрачало радостные дни стяжаний. Богатство? Огромное, достигнутое подозрительными сделками, оно казалось ему незначительным, хотя он считался самым богатым мужем Рима. Теперь он решил отдохнуть и поручить ведение дел опытным рабам.

«Помпей и Метелл умиротворяют Испанию огнем и мечом, — думал он, — Лукулл отличился в Азии, став замечательным полководцем, а я остался в стороне, я, помогший Сулле взять Рим! Справедливо ли это? Лукулл... друг Суллы, гордый патриций, презирающий всадников и, конечно, меня, и всех не-патрициев... Лукулла ненавидят сенаторы, всадники и плебеи... Помпей, боясь соперничества, завидует ему, а я избегал Лукулла, потому что дружба с бедняком богачу невыгодна...»

Улыбнувшись, вспомнив яростные насмешки всадников над честностью и неподкупностью Лукулла, злобные издевательства над преклонением его перед Рутилием Руфом, их врагом, и бешенство, когда Лукулл открыто выказывал презрение торгашам, ведшим постыдные дела.

Сделка Лукулла с Цетегом и Прецией вызвала злорадство всех сословий, но насмешки не могли задеть Лукулла; он был уже далеко, торопясь попасть в Киликию, куда уехал в сопровождении Мурены, Архия, Архелая и сыновей видных нобилей. Шли месяцы, принося вести о победах и завоеваниях. Красс волновался, и уязвленное честолюбие не давало покоя.

Хлопнул в ладоши и приказал вбежавшему рабу подать эпистолы из Азии. Это были греческие письма, еженедельно присылаемые Архелаем.

Просматривал их с завистью в глазах. Мелькали события: Митридат отступил, сняв осаду с Кизика... потерпел поражение у Эдепа... Вифиния покорена, Халкедон освобожден... Лукулл вторгся в Понтийское царство...

— Без приказанья сената! — вскричал Красс, и лицо его исказилось.

Читал о грабежах городов, расхищении сокровищ, продаже рабов за бесценок...

— По четыре драхмы с головы! — злобно захохотал он. — А я плачу за раба сотню драхм и дороже.

Недовольство воинов полководцем обрадовало Красса. «Он уважает собственность бедняков, — думал он, — и препятствует грабежам... Легионарии могут возмутиться... Его погубит недалёковидность! Я поступил бы иначе... Гордый, честный муж стал алчным честолюбцем: он оплачивает в Риме вождей популяров за поддержку в комициях, отправляет к себе на Палатин несметные сокровища из завоеванных областей...»

Это была правда: один за другим следовали в Италию корабли, нагруженные золотом, серебром, мрамором, произведениями искусств. И все эти ценности складывались в подвалы, а учет им вел юноша Парфений, грек из Никеи, взятый Лукуллом в плен и отправленный в Рим.

Красс следил за каждым шагом Помпея и Лукулла: жизнь обоих на войне и жизнь их жен и родных были известны ему до мельчайших подробностей.

«Богатеет, — думал он о Лукулле, — а его любимая Клавдия не скучает по мужу, — испортилась. Азийские божества прибыли под ее кров с азийскими сокровищами: она стала жадной, глупая голова закружилась от удовольствий... Частые пиры в ее доме вызывают порицание строгих патрициев. Разве не принимает она у себя развратного претора Цетег и Прецию? Разве не делает им драгоценных подарков в придачу к тем, которые шлет им Лукулл из Азии?.. Ха-ха-ха! Любимец Суллы умеет держать слово! Он оплачивает бывшие ласки былой своей любовницы и услуги ее любовника!»

Встал, швырнул эпистолы на стол и зашагал по таблинуму.

— Слава в веках, могущество!.. Я должен добиться первенства в республике, хотя бы пришлось истратить на подкуп все мои сестерции!..

Входили рабы и возвещали: дожидается брадобрей, баня истоплена, матрона одевается, скоро начнут собираться гости...

В атриуме собирались сенаторы и ближайшие сотрудники Суллы: напыщенный Хризогон, свирепо-мрачный Катилина, надменный Цетег и еще несколько мужей.

Беседовали о восстании рабов.

— Подумать только, до какого стыда мы дожили! — восклицал Цетег, разводя руками. — Подлый гладиатор побеждает уже второй год римские легионы! Если бы Помпей и Лукулл находились в Италии — разбойник давно уже был бы распят!

Зависть сжала сердце Красса, на лице выступила краска оскорбленного самолюбия.

— Ты забываешь, Публий, — негодуящим голосом прервал Катилина, — что такой полководец есть: он разобьет полчища варваров и восстановит спокойствие в Риме. Я говорю о досточтимом Марке Крассе, нашем дорогом амфитрионе... Кому неизвестно, что он помог нашему императору взять Рим?

— Правда, правда! — закричали гости и захлопали в ладоши. Молчал только один Цетег.

— Друзья, — выговорил он наконец тихим голосом, — я это знал, но не решался предложить сподвижнику Суллы, который почти отошел от политики, кончить эту постыдную войну... Благородный Марк Красс занят денежными делами и, конечно, не захочет...

— Ошибаешься, дорогой Публий! — поспешно прервал его Красс. — Ради блага отечества я готов на всевозможные жертвы... И, если я получу империй, да будет мне спутницей в боях тень императора!..

— О, если ты согласен, я поставлю этот вопрос в сенате... И ты будешь воевать, Марк Красс, клянусь Марсом, ибо назрела необходимость разгромить разбойничьи шайки и уничтожить Спартака!

Катилина отозвал Цетег в сторону:

— Спартак — знаменитый полководец, и если бы...

— Молчи, не время...

— Почему?

— Рабы грызутся между собою...

— Спартак силен... Ветераны Суллы...

— Ни ты, ни я, ни ветераны — никто не пойдет с невольниками... — И Цетег отошел от Катилины.

Мульвий и Сальвий, пробираясь в Фурий, узнали от рабов, что Спартак находится в окрестностях города, собираясь выступить в поход.

Лагерь спал, когда они, подойдя к его воротам, были остановлены окриком часового:

— Кто такие? Сбежался караул.

— Видеть вождя, — сказал Мульвий. — Мы воины Сертория.

Имя великого популяря гремело по всей Италии, и караульный начальник, старый раб, с лицом, обезображенным шрамом, решил сам отвести пришельцев к вождю.

Спартак не спал. Он задумчиво полулежал на львиной шкуре, и пламя светильни освещало его мужественное лицо, голубые глаза и густую рыжую бороду. Рядом с ним сидела его молодая жена. Она славилась в лагере знанием мантики и предсказывала рабам будущее, дарила камешки, предохранявшие якобы от стрел и ранений.

Караульный легат, — не раб, а римлянин, — полуодернул полу шатра, заменявшую дверь, и выкрикнул:

— Вождь, два серторианца...

— Пусть войдут, — приподнявшись, сказал Спартак и сел на шкуре.

Глядя на старика и юношу, он молчал, ожидая, когда они заговорят первые.

— Слава вождю, да сохранят милостивые боги его жизнь! И слава борцам за свободную жизнь!

— Слава Серторию и его воинам, — отозвался Спартак.

— Вождь! Серторий убит предательской рукой, а войска разгромлены Помпеем... Тысячи погибли, сотни бегут... Бежали и мы... Прими нас в ряды конников или пехотинцев...

— Серторий погиб? — с горечью прошептал Спартак. — А я так надеялся на него... — И, помолчав, спросил: — Какую должность занимали вы в легионах Сертория?

— Вождь, я был префектом конницы, а Сальвий — моим помощником...

— Завтра вы получите такие же должности в отряде фракийской конницы... И да помогут нам боги!..

— Вождь, я римлянин, а сын мой — ибериец...

— В рядах рабов сражаются разные народности: римляне, греки, фракийцы, сирийцы, кельты, германцы... Их объединяет общая цель — свобода, стремление стать людьми...

— Вождь, такие же идеи провозглашал Серторий...

— Ты хочешь сказать, что и нам не устоять? Мульвий молчал, не решаясь спросить, верны ли слухи о раздорах среди восставших.

— Говори! — вскочил Спартак, и его мощная фигура заняла, как показалось Мульвию, половину шатра. — Малодушным здесь не место!

— Вождь, ты знаешь: сила — в единении, а в ваших рядах вражда и разногласия...

Спартак опустил голову, но тут же поднял ее.

— Пусть наше единство распалось, но мы скорее умрем, чем покоримся!

В его словах звучала такая твердость, что Мульвий и Сальвий, взволнованные, растроганные, бросились к вождю и, целуя его руки, воскликнули:

— Победа или смерть в бою!

ХII

Сенат приказал претору Крассу подавить мятеж Спартака.

Призвав в войска даже престарелых воинов, претор выступил во главе шести легионов, надеясь при первом столкновении раздавить полчища варваров.

Остановившись на рубеже Пиценума и Кампании, он дожидался Спартака, который шел на юг Италии.

Разведывательный отряд, отправленный накануне во главе с молодым Катонем, возвратился лишь на третьи сутки, захватив юношу. Красс сам допрашивал пленника.

— Отчего Спартак не перешел через Альпы?

— Не знаю, господин!

— Говори, иначе прикажу пытаться, — спокойно сказал полководец и повелел Катону позвать палача.

Вошел волосатый галл с двумя подручными — они несли железные орудия, длинные иглы, веревки.

— Скажешь?..

Побледнев, юноша упал на колени.

— Господин мой, точно я не знаю... Но в лагере говорили, что богатые земледельцы не хотели поддержать сто...

— Земледельцы Циспаданской Галлии?

— Они.

— Куда идет Спартак?

— На юг, господин мой, чтобы переправиться в Сицилию...

— И там поднять мятеж?

— Не знаю... Говорили, что оттуда он вывезет рабов на родину...

Красс рассмеялся.

— Могилой их будет Италия, — резко сказал он, — Взять его, — указал он на пленника, — отрубить голову!..

Спартак подошел ночью. Фракийская конница Мульвия, поддержанная отрядами сирийцев и греков, разбив передовой легион римлян, расчистила путь рабам, и Спартак устремился в Луканию, двигаясь большими переходами.

Разъяренный Красс, повелев децемвировать легион, потерпевший поражение (было казнено палками, по жребию, около четырех тысяч воинов), последовал за рабами. Он гнался за ними, не давая отдыха своим войскам, и, настигнув отходящие легионы, разбил их. Завязались мелкие стычки с переменным успехом для обеих сторон. Сальвий тревожил римлян внезапными налетами: то отобьет обоз с продовольствием, то угонит лошадей и быков, то снимет ночью часовых, перебьет дозоры...

Жаркое лето проходило в бесплодном затягивании войны. Красс негодовал. Сенат беспокоил полководца приказаниями кончать войну, удивляясь, что претор не в состоянии усмирить полчища варваров. Красс упал духом. Угнетенный, сомневаясь в своих силах, он послал гонцов в Испанию, умоляя Помпея помочь ему. Но вскоре пожалел об этом. «Если он придет мне на помощь, то победу несомненно присвоит себе», — думал Красс, проклиная свою поспешность. — Нет, я должен победить Спартака до прибытия Помпея!»

Он двинулся в поход и, ведя стремительные налеты на разных участках, уничтожил около двенадцати тысяч рабов и оттеснил Спартака в Бруттию, к Регийскому полуострову.

Здесь римский претор остановился и приказал легионариям рыть от моря и до моря

огромный ров, длиною в триста стадиев, шириною и глубиной в десять локтей, воздвигать высокую стену и сооружать вал, чтобы не допустить возвращения мятежников на север.

Попытка Спартака переправиться с войсками в Сицилию потерпела неудачу: киликийские пираты, получив от него подарки, поспешили уплыть и не прислали обещанных кораблей, — вождь рабов очутился в тяжелом положении. Переговоры с Крассом были неудачны: римский полководец заявил, что не было еще случая от основания Города, чтобы римляне вели переговоры с бунтовщиками-рабами. Наконец, в лагере Спартака началось брожение, и часть войск отделилась.

Напрасно Мульвий, Сальвий и сам вождь заклинали их богами не губить общего дела — разъяренные военачальники кричали, что не они, а Спартак виноват в неудачах.

— Мы могли взять Рим и были бы уже господами Италии! Мы поработили бы богачей и сами стали бы богачами!.. А ты... Зачем ты нас водишь по Италии, дожидаясь, когда нас разобьют и уничтожат? Ты обещал нам лучшую жизнь, а мы терпим голод... Ты обещал возвращение на родину, а мы заперты, как в мышеловке...

— Братья, не я виноват, а вы!.. Разногласиями и раздорами вы нарушили единство наших рядов, грабежами и насилиями развратили войска! Никогда не обещал я господства над Италией и порабощения нобилей — вы это знаете! Так зачем же вы возбуждаете войска против меня?..

Снег шел целый день. Вечером Спартак приказал готовиться к походу на Брундизий.

Впереди был широкий и глубокий ров, за ним — высокая каменная стена, и дальше — вал, за которым находились римские караулы.

Ночь выдалась темносерая. Выл снежный буран, и в двух шагах ничего не было видно.

Повелев забросать ров в менее глубоком месте деревьями и трупами лошадей, Спартак вывел часть своего войска (Ганник и Каст не последовали за ним со своими легионами), стремительным налетом опрокинул легионы Красса и двинулся по равнинам Лукании.

Приведя помятые легионы в порядок, Красс собрал военачальников в своем шатре и, ругаясь, бил по щекам центурионов и трибунов, угрожая им децемвированием.

Вбежавший гонец прервал его грозные выкрики:

— Радуйся, полководец! Помпей Великий шлет тебе эпистолау!

Отпустив военачальников, Красс схватил письмо, сломал печать.

«Гней Помпей Великий, полководец — претору Марку Лицинию Крассу.

Милостью богов Серторий и Перпекнв побеждены, популяры рассеяны, Испания умиротворена. Бессмертные мне помогли, а тебя забыли; очевидно, потому, что ты скуп на жертвоприношения. Эпистолау твою получил и спешу к тебе на помощь. Прощай».

Красс заскрежетал зубами, швырнул навощенные дощечки на столик, кликнул Катона.

— Твой совет? — вымолвил он, задыхаясь.

— Не слышу, вождь, говори громче, — сказал Катон (голова его была обвязана, и

кровь просачивалась сквозь тонкое испанское полотно).

Красс вспомнил, что Катон был ранен накануне камнем из пращи, ударившим в ухо, и громко повторил вопрос.

— Победить рабов прежде, чем прибудет Помпей...

— Ты высказываешь мою мысль... Да, да... Иначе Великий, — злобно выговорил он, — отнимет у меня победу... Прикажи военачальникам, — прокричал он, — преследовать рабов... Слышал? Ступай, да не медли...

ХIII

Настигнув Ганника и Каста у Луканского озера, Красс дал им решительную битву. Рабы потерпели жестокое поражение и рассеялись, спасаясь от преследования разъяренных легионариев.

Затем полководец двинулся по пятам за Спартаком.

«Подлые варвары, — думал он, стегая бичом разгоряченного скакуна, — не уйти вам от мести Марса и Беллоны! Клянусь Олимпом, я должен раздавить полчища разбойников и уничтожить их вождя, иначе мне нельзя будет появиться на улицах Рима!»

Он догнал Спартака на рассвете и, дав легионам кратковременный отдых, бросил их на рабов.

Битва была кровопролитная. Все усилия Спартака отбросить неприятеля наталкивались на железную несокрушимость римских легионов. Красс сражался рядом с Катонем, жертвуя своей жизнью. В голове его была одна мысль: «Победить». Он видел Спартака, яростно работавшего мечом, и пытался пробиться к нему, чтобы лично поразить его, но Катон, не желая подвергать вождя опасности, заслонял его отрядами.

Спартак тоже стремился пробиться к Крассу, но количество сражавшихся всё увеличивалось: он видел гибель друзей, видел раненого Мульвия, который, истекая кровью, продолжал рубиться, сидя на коне, видел издали Сальвия, отступавшего под натиском римских всадников, и понял, что победа невозможна. Бывало, он, сражаясь в первых рядах, без труда обращал в бегство большие скопления неприятеля, но теперь, когда от него отделились Каст и Ганник и войско поредело, только случайность могла вывести из отчаянного положения.

Мульвий упал. Испуганная лошадь, почувствовав свободу, ринулась вперед, опрокидывая людей, и скрылась. Спартак бросился к другу, отбиваясь от легионариев.

Мульвий лежал не шевелясь: седобородое лицо его было спокойно, глаза полуоткрыты. Спартак приложил руку к его груди — сердце не билось. Вскочил — в плечо вонзилась стрела. Его окружали римляне...

«О, боги, — пронеслось в голове, — неужели все погибло?..» . - Он отбивался с яростью, удваивавшей силы; прикрываясь щитом, отражал удары и сыпал их с такой быстротой, что вскоре перед ним возвышалась груда трупов. Но легионарии напирали. Иные метились в него копьями, пускали стрелы. Спартак был ранен. Силы покидали его.

Пошатнувшись, он опустился на колени и, прикрываясь щитом, продолжал сражаться. И вдруг мягко свалился на бок — подкравшийся легионарий нанес ему страшный удар в спину: копье выскочило из груди...

Сжимая меч холодеющей ладонью, Спартак не шевелился. Центурионы и трибуны, столпившись, смотрели с суеверным страхом на поверженного героя-гладиатора и с

восхищением говорили о его доблести.

Подошел Красс.

— Спартак? — отрывисто спросил он, указывая на распростертого вождя. — Убит? — И, не дождавшись ответа (лица всех были суровы, а глаза — угрюмы): — Римляне, — сказал он, — я видел, как он рубился, и молю бессмертных даровать такую же прекрасную смерть каждому, сражающемуся за отечество!..

И вдруг встрепенулся.

— По местам! — яростно закричал он. — Бить, ловить, преследовать бунтовщиков! Где Катон? Скрофа? Другие? Вперед!

Вскочил на коня и, размахивая окровавленным мечом, помчался к легионам, которые шагали по дороге на Брундизий, в то время как Катон и Скрофа шли во главе войск к горам, чтобы выловить скрывшихся там рабов.

XIV

Остатки разгромленных войск Спартака рассеялись: часть бежала в горы, а несколько тысяч устремились к северу под предводительством Сальвия. Верхами и в повозках, захватываемых в придорожных виллах, а то и бегом, двигались они день и ночь, думая о планах Спартака. Запоздалые воспоминания! Люди рвались на родину, готовые на всевозможные лишения, лишь бы выбраться из проклятой богами Италии, где Гнет и Насилие казались близнецами, вскормленными яростной Волчицей.

Сальвий гнал коня. На сердце лежала тяжесть, — мучило, что Мульвий не погребен. «Его душа, — думал он, — блуждая, ищет покоя, но не находит, ибо тело лежит под открытым небом и птицы и звери терзают его...»

По пути к ним присоединялись толпы беглых невольников, и войско Сальвия увеличивалось.

Однажды ночью поднялась тревога — пылал лагерь. У ворот слышался лязг оружия, вопли раненых, крики военачальников... Никто не знал, кто напал и с какими силами. Одни кричали, что это войска Красса, другие — что небольшой разведывательный отряд римлян. Рабы держались до утра, а когда Сальвий увидел знакомую с детства испанскую конницу и услышал ее боевой клич, страшная догадка мелькнула в голове: «Уж не Помпей ли?»

Да, это был Помпей. Двигаясь на помощь Крассу, он узнал от высланной вперед разведки о бегстве мятежных полчищ и напал на них.

— Вперед, вперед! — кричал Сальвий, бросившись наперерез разбитой коннице. — Братя, победа наша., вперед!..

Но его не слушали. В ужасе бежали пехотинцы и обозники, мчались конники. Стоны раненых, вопли убиваемых, ржание лошадей и рев быков, звуки труб, военные кличи и приказания начальников — всё это слилось в единый гул, устрашающий людей и животных.

Догоняя нескольких конников, Сальвий вылетел, как на крыльях, на резвом коне на поле. Ужасная картина возникла перед глазами: римские когорты преследуют разрозненные отряды рабов, кое-где невольники еще держатся с отчаянием погибающих, а впереди римлян храбро сражается плечистый муж, без шлема: ветер развеивает его волосы, меч сверкает, как секира мясника, который трудится над тушей быка... А конница, конница... смятая, опрокинутая, она мчится, куда глаза глядят, но ее окружают, безжалостно рубят. Всё погибло!..

— Легионы Помпея? — спросил Сальвий испанского конника, отбившегося от

римского войска.

Воин кивнул.

И вдруг так горестно, так страшно стало Сальвию, что, упав на колени, он воскликнул:

— Боги, за что эти несчастья? За что?.. Серторий убит, мать погибла, отец пал в бою, Спартак изрублен, вожди... Никого не осталось! Куда я пойду, куда денусь?..

Вечером полководец сидел в своем шатре и диктовал вольноотпущеннику Демитрию:

«Помпей Великий, император — сенату и римскому народу.

Боги захотели, чтоб еще одна победа украсила римские легионы бессмертной славой, а оружие — неувядаемыми лаврами. Остатки полчищ Спартака разгромлены, — пало пять тысяч мятежников. Красс победил Спартака, а я вырвал корни этой войны, — она не возобновится больше. Рим может быть спокоен: Помпей Великий стоит на страже республики».

XV

Избранный понтификом на место своего дяди Гая Аврелия Котты, умершего в Галлии, Цезарь окончательно порвал с Серторием и марианцами, хотя популяры открыто нападали на законы Суллы.

Сервилия, вышедшая замуж за Децима Юния Силана, принимала у себя передовую молодежь знатных фамилий, настроенную демократически. Не означала ли эта перемена в общественном мнении сдвига в пользу плебса? И как ему, Цезарю, держать себя? С одной стороны он — популяр, а с другой — возводит свой род до самой богини Венеры, следовательно, он выше патриция, даже царя, по знатности происхождения. Кто же искренно поверит, что он жаждет бороться за благо народа? Правда, старый Марий приходился ему дядей, но какое значение могло это иметь в бурное время козней одного сословия против другого, когда мужи не щадили друг друга во имя личных выгод? Его мучили честолюбивые мечты, он не спал по ночам, думая о борьбе Помпея с популярами в Испании и Лукулла — с азийскими царями... Знал, что с Лукуллом отправились молодые сыновья нобилей и он, Цезарь, тоже мог бы присоединиться к ним, а ведь уклонился, сославшись на припадки падучей. Находясь на камрийском побережье и работая на Лукулла, он все же колебался: сенат был против Сертория, плебеи и пролетарии, вступая в войска, шли на своих братьев, Цезарь — не плебей и не пролетарий, хотя и популяр.

«Сейчас сенат в силе, — думал он, — и было бы глупо вступать с ним в борьбу!» Чувствовал, что шел по верному пути...

«Пусть Лукулл пожертвовал своей честью, подружился с Цетегом и получил проконсульство в Киликии! Пусть он разбогатеет, как Красс, если угодно богам, и соблазняет, как Красс и Катилина, весталок — буду ждать... Боги научат, что делать, а Венера, моя покровительница, подскажет, чем покорять жен и какую пользу можно извлечь из их любви».

Просыпаясь чуть свет, он выходил в сад и, по обычаю предков, громко рассказывал, обращаясь к небу и земле, о своих неудачах и несчастьях. Так было и в этот день.

— Слышите, как живет племянник Мария Старшего?.. Я добиваюсь первенства в Риме, — я задался этой целью еще в юности, — и неужели боги превратят мои стремления в ничто? Всё в этом мире зиждется на даграх, как сказал мудрый Гесиод:

«Дары убеждают богов, убеждают царей досточтимых».

Да, убеждают, что неправый, одаряющий сильного, прав и что правый, если он беден, всегда неправ...

Вошел в атриум. Было время приема клиентов, и острый глаз его сразу оценил толпу: бездельники, любопытные и ремесленники. «Одни пришли просить денег займы, другие — содействия в аренде земли и освобождения от военной службы».

Ласково беседуя, он медленно обходил людей, и вдруг остановился перед смуглым юношей с мрачными глазами.

— Откуда ты и почему боги послали тебя ко мне?

— Я Сальвий, верный слуга Сертория... Глаза Цезаря сверкнули. Серторий? Притворился ревностным почитателем погибшего мариайца:

— Слава ему! — громко сказал он, подняв руку. — Это был величайший вождь популяров...

— Говорят, господин, ты сам популар и смело ратуешь за плебс... Мать моя погибла, защищая вождя... Отец был изрублен, сражаясь на стороне Спартака, и завещал мне... борьбу!..

Цезарь задумчиво смотрел на него.

— Прекрасное слово, — вымолвил он. — Цель моей жизни — продолжать дело Гракхов и Фульвия Флакка, дело Сатурнина... дело погибших популяров! — крикнул он. — И я принимаю тебя, верный слуга Сертория, и обещаю свою поддержку! Сейчас я отправляюсь на форум... Будешь мне сопутствовать?

«Нужно попросить у Красса займы, чтобы помочь всем этим клиентам и ремесленникам. Они в будущем пригодятся», — думал Цезарь, рассеянно отвечая на приветствия встречаемых. Его останавливали плебеи, и он узнавал людей (память у него была великолепная), которых видел хотя бы один раз. Здесь были избиратели, отдававшие свои голоса за деньги или мелкие выгоды, соглядатаи среди народа, узнававшие количество голосов противника, агитаторы во время выборов, наемные рукоплескатели при произнесении Цезарем речей на форуме и убийцы, готовые в свалке поразить врагов господина. Для всех у Цезаря было приветливое слово и щедрое обещание. Он называл их по именам, спрашивал о детях, внуках и редко ошибался. А когда изменяла память, грек-номенклатор, обязанный помнить имена избирателей и их семейное положение, тотчас же подсказывал господину забытое имя.

В этот вечер Цезарь был свободен, — не было обычных приглашений от клиентов ни на свадьбу, ни на семейные праздники, ни на похороны.

Сидя в кругу мелкого обнищавшего люда, он говорил:

— Мой предок Марий боролся за плебс, дружил с Цинной, и я, друзья, тоже популар, буду всю жизнь защищать ваши дела, если вы поддержите меня.

Сальвий слушал, хмурясь. Все это были слова, а он жаждал борьбы! Вспомнил речи клиента, поносившего Цезаря за малую подачку: «Популар, наш сторонник! Ха-ха-ха! Только дурак верит этому! Где он был во время борьбы Брута и Лепида? Почему боролся в Азии против сторонников Сертория? Отчего порицал свободнорожденных, поддерживавших Спартака?»

Когда плебеи разошлись, Сальвий задержался.

— Ты что, друг? — взглянул на него Цезарь. — Разве я не указал тебе, где спать?

— Господин, я хочу тебя спросить...

Не договорил: вошедший раб возвестил:

— Благородный господин Люций Сергей Катилина.

— Катилина? — с удивлением вскричал Цезарь. — Проси. — И тихо прибавил: Что ему у меня нужно?

Вошел патриций. Мрачные блестящие глаза тревожно метнулись по лицу Сальвия, встретились на мгновение с глазами Цезаря, обежали атриум, заглянули в таблинум и остановились на хозяине.

— Ты удивлен, клянусь богами! — вскричал он. — Но бессмертные любят поражать нас неожиданностью, не правда ли? А лишние свидетели неожиданных встреч не всегда бывают терпимы...

Цезарь понял и, повернувшись к Сальвию, сказал:

— Друг, можешь идти. Ложись, завтра утром мы пойдем на форум и дорогою побеседуем...

Сальвию не хотелось уходить: не отрываясь смотрел на Катилину. Всё в нем восхищало Сальвия: и рост, и громовой голос, и решительность, и гордая осанка.

«Вот это вождь! — думал он. — Смелый и могучий, он мог бы повести нас к победам. Но увы! — он, кажется, не популярен — такого имени не произносил ни один клиент!»

Молча вышел. И по мере того как взбирался по крутой лестнице наверх, голоса удалялись.

В маленькой клетушке тускло горела свечка. На одном ложе спал, разметавшись, номенклатор, другое было пусто. Сальвий приготовился лечь, но в это время ясно услышал громкий голос Катилины, доносившийся снизу. Быстро задув свечку, Сальвий лег плашмя на пол, приложив ухо к щели.

— ...зависит от власти, освященной богами. Я давно наблюдаю за тобой, благородный Гай Юлий, и удивляюсь: популярен — и не примкнул к вооруженным популярам, популярен — и снарядил корабли против...

— Молчи, — донесся голос Цезаря. — Выступления популяров были обречены на неудачу. Во главе восстания должен стоять муж разумный, сильный духом и телом, готовый спокойно переносить успехи и неудачи; он должен иметь связь с влиятельными магистратами и опираться на легионы...

— А разве легионов не было? Разве ты не мог бы добиться...

— Молчи. Не время. Нужно ждать... Но скажи, благородный Люций Сергей, какое отношение к этому делу имеешь ты?

— Ха-ха-ха! Я угадываю, что ты думаешь, по твоим глазам: сулланец, злодей, кровосмеситель, братоубийца, пьяница, развратник, — не так ли? Как будто так, да не так. В моей груди бьется сердце римлянина, сердце волчицы, вскормившей Ромула и Рема! Я люблю Рим, люблю квиритов и готов отдать свою жизнь за благоденствие отечества и его сограждан! Скажи, разве патриций не должен заботиться о младших своих братьях — плебеях?

— Давно ли ты так думаешь? — усмехнулся Цезарь.

— С того времени, как узнал, что ветераны Суллы бедствуют... Знаешь, оптиматы прижимают их так же бессовестно, как плебеев. И я пришел тебе сказать: «Популяр, объедини плебс, я готов бороться на твоей стороне...»

— Люций Сергей, я — маленький человек...

— Но ты возвысишься, Цезарь!

— Тогда и начнем борьбу!

— Нет, мы начнем ее раньше, — резко ответил Катилина, — и ждать тебя не

будем... Недовольных много, число их увеличивается, и когда мы завербуем в свои ряды самых влиятельных мужей...

Голоса удалились — собеседники перешли, очевидно, в таблинум.

Сальвий потихоньку встал и лег на ложе.

«Катилина храбр, — думал он, — а Цезарь хитер и осторожен. Вот кому быть вождем — Катилине! А лисья хитрость Цезаря только повредит нашему делу!»

Долго он не спал в ночной тишине. Тревожные мысли бродили в разгоряченной голове. И, когда задремал, приснилось, что Катилина ведет толпы народа в бой на форум.

XVI

Катилина принял Сальвия в таблинуме. Он был не один. Его окружали несколько мужей.

— Сальвий? Это имя — клянусь Вестой! — ничего мне не говорит, — громко засмеялся Катилина, взглянув на оробевшего иберийца. — Но, я вижу, ты — чужестранец, и поэтому — привет страннику, преступившему порог моего скромного жилища!..

— Господин мой, отдаваясь под твою защиту и высокое покровительство, я не хочу скрывать от тебя, кто я...

И он рассказал, ничего не утаивая, о своей жизни и борьбе.

Катилина слушал с загоревшимися глазами и, когда Сальвий кончил, заглянул ему в глаза:

— Не лжешь?

— Клянусь теньями отца и матери! Прибыв в Рим, я обратился к популярам, и они послали меня к Гаю Юлию Цезарю... Но я ушел от него, сказав, что уезжаю из Рима... И если он встретит меня у тебя...

— Почему ты ушел от Цезаря?

— Какой он популярь?! — возмущенно воскликнул Сальвий. — Он больше помышляет о себе, чем о благе плебса...

Катилина с удивлением взглянул на него:

— Почему ты так думаешь?

Сальвий поостерегся сказать о подслушанной беседе.

— Клиенты жалуются, — тихо вымолвил он, — что Цезарь не всегда держит свое слово...

— И только? — перебил Катилина. — Настоящее время, дорогой мой, нельзя сравнивать с тем, что было. Честность стала глупостью, осмеиваемой на всех перекрестках. И всё же каждый нобиль продолжает твердить о честности и похваляться ею, а стоит лишь сказать, что все они — обманщики и негодяи, как начинаются вопли: «Он обвиняет в нечестности весь римский народ!» Но ты наблюдателен, Сальвий, и я хочу послать тебя... Но об этом поговорим завтра...

Повернулся к друзьям:

— Сегодня у меня пиршество, и я надеюсь, что боги обрадуют меня вашим присутствием...

—...и присутствием матрон? — перебил веселый Лентул Сура.

— Не беспокойся. В матронах, флейтистках и плясуньях недостатка не будет... Приходи и ты, Сальвий, прошу тебя.

— Нет, господин мой, я боюсь встретиться с Цезарем...

— Ты осторожен, это хорошо, — кивнул Катилина, — такие люди мне нужны. Пройди на кухню и скажи повару: «Господин приказал накормить и напоить меня по-царски». Ешь и пей, веселись с рабынями...

Стали прибывать гости: Цезарь с женой, пышная, с притворно-лукавой надменностью подрумяненного лица Преция, Цетег, тучная, смуглолицая, с грустными глазами Арсиноя, жена Хризогона. И Аврелия Орестилла, матрона с мужественным лицом и высокой грудью.

Однако пиршество еще не начиналось. Амфитрион ожидал еще гостей.

Корнелий Лентул Сура открыто ухаживал за матронами, а Цетег, Катилина, Аврелия Орестилла и Хризогон беседовали о победах Лукулла.

— Он зимовал в кабирском дворце Митридата, где награбил несметные сокровища, — с завистью говорил Катилина, — взял Аμισ, Афины Понта, а римские воины зажгли и разрушили город...

— Желая спасти творения искусства, — перебил Хризогон, — он, говорят, бросился в толпу воинов и едва не был растерзан...

— Если грабит полководец, — презрительно засмеялась Аврелия Орестилла, — то почему бы не грабить легионам? Лукулл...

— Прости, госпожа, — перебил ее Хризогон, — покойный император высоко ценил его...

Орестилла не успела ответить. Крики и восклицания потрясли атриум — входили толстый Красс и Широкоплечий Помпей. Насколько богач был подвижен, настолько полководец медлителен. Заклятые враги, они недавно помирились, чтобы сообща добиваться консульства (Помпею была необходима поддержка Красса, могущественного сенатора, а Крассу — поддержка Помпея в народном собрании), и это им удалось.

Вернувшись в Рим после уничтожения остатков спартаковцев, слыша на форуме, улицах и в общественных местах нарекания на сулланские законы и порядки, Помпей, не задумываясь, перешел на сторону популяров и обещал народу восстановить власть трибунов, когда станет консулом. Популяреры с радостью согласились поддерживать его, позабыв, что Помпей, будучи сулланцем, подавил восстания Лепида и Сертория, вероломно казнил Юния Брута.

«Враг плебеев притворился овечкой, — думал Красс, искоса поглядывая на него с усмешкой, — это умно. Комиции выбрали нас консулами, легионы нами распущены, теперь остается возратить народным трибунам власть, отнятую Суллой, главным образом право проводить законы без утверждения сената. А тогда...»

Он потер руки и, услышав приветствия мужей, увидев низкие поклоны матрон и девушек, широко улыбнулся подходившему Катилине.

— Привет величайшим полководцам, — сказал хозяин, и глаза его метнулись по их лицам.

— Привет и тебе, счастливейший из смертных! — громко ответил Помпей, взглянув откровенно на вспыхнувшую Аврелию Орестиллу. — Мы, воины, отвыкли в странах варваров от прелестных лиц римлянок и гречанок...

— Но ты не отвык, благородный Гней Помпей, от любезности, и Венера, по-видимому, вновь стала благосклонной к тебе, лишь только нога своя ступила на почву Италии...

— Венера помогает влюбленным, а обо мне едва ли кто думал, кроме моей жены, — с притворным вздохом возразил Помпей.

— Ты очень скромн, — засмеялась Аврелия Орестилла, замахнувшись на него веером, — но я могла бы назвать имена матрон, тосковавших по тебе...

Помпей смущенно обратился к Крассу:

— Гости занимают уже места, и, если ты, коллега, не возражаешь, возляжем вместе.

Но Красс, шепотом беседовавший с Катилиной, не ответил. До слуха Помпея донеслись его слова:

— ...сто тысяч сестерциев... пять с половиной процентов в месяц...

«Торгаш нигде не упускает случая, чтобы извлечь прибыль», — презрительно подумал Помпей и занял место рядом с Юлием Цезарем.

Увлечшись пением кифаристки, он не слушал Цезаря, который, придвинувшись к нему, что-то шептал. А гречанка пела, сопровождая строфы тихими звуками кифары.

Есть в ковеславном Аргосе град знаменитый Эфира.
В оном Сизиф обитал, препрославленный мудростью
смертный...²

— Прости меня, великий Александр, что я мешаю тебе слушать, — льстиво говорил Цезарь, сравнивая Помпея с Александром Македонским, — но я не могу не восторгаться твоими громкими победами! И в Испании, и в Италии ты совершил такие подвиги, что плебс, ожидая твоего возвращения в город Ромула, величал тебя вторым Марием...

Сравнение с Марием не понравилось Помпею, и он, не скрывая своего недовольства, тихо вымолвил:

— Не хотел бы я быть Марием, побежденным Суллою... Но поскольку ты поддерживаешь меня в народном собрании, я спокоен...

— Я маленький человек, — притворно вздохнул Цезарь, — нападая же на сулланцев и на законы диктатора, я расчищаю тебе, благородный Александр, путь к власти...

— Разве ты считаешь меня честолюбивым?

— Каждый муж, а в особенности великий, должен быть почитаем по заслугам... Только, конечно, не Лукулл: он обогащается, грабя провинции, ведет войны без разрешения сената, который терпит его своеволия и величает на заседаниях Александром Македонским... Бесспорно, подвиги Лукулла блестящи, но если бы ты был на его месте...

Глаза Помпея загорелись, щеки зарумянились. В одно мгновение в голове пролетела мысль: «В Азию, в Азию!» — однако он подавил волнение, вымолвив:

— Грабежи постыдны, и я удивляюсь, что Гай Веррее, сицилийский пропретор, остается безнаказанным... Подумать только — в три года он обратил население цветущей страны в толпу нищих!

— Ты ошибся, Александр! Популяры не молчат... Марк Туллий Цицерон обещал выступить в этом деле по просьбе представителей сицилийских городов... Сегодня я увижусь с ним и поговорю...

Помпей задумался.

— Видишь ли, друг, — сказал он, подняв голову, — Цицерон будет обвинять

² «Илиада», VI, 152 (перевод Гнедича).

Верреса и откажется, по обыкновению, от вознаграждения, а Квинт Гортензий Гортал, конечно, получит сотни тысяч сестерциев... Не находишь ли ты, что Цицерону нужно что-то пообещать?

— Нет, нет, — поспешно возразил Цезарь, — Цицерон — муж бескорыстный, и это оскорбило бы его... Скажу тебе откровенно: он собирается на свой счет отправиться в Сицилию за доказательством виновности Верреса...

Подошел Красс и, возлегая рядом с Помпеем, тихо сказал:

— Амфитрион не дает мне покоя...

— Неужели просит денег? — спросил Помпей.

— Не просит, а требует! И я обещал, потому что — клянусь богами! — никогда не был расчетлив...

Цезарь и Помпей переглянулись. Но Красс, не замечая удивленных взглядов, продолжал:

— Опирайтесь на плебс, поддерживать популяров и ладить с ними — это хорошо, и Катилина, кажется, что-то замышляет... Боюсь только, как бы его действия не вызвали потрясения республики! Впрочем, не так беспокоит меня Катилина, как Цицерон...

— Цицерон? — вскричал Помпей. Красс исподлобья взглянул на него.

— Разве не знаешь, что Цицерон решил обвинять Верреса?..

— Но Веррес... разве он не разорил Сицилии? Красс рассмеялся.

— А ты бы как поступил, Гней Помпей, если бы был на его месте?

Помпей смутился, но его выручил Цезарь:

— Благородный Марк Лициний, очевидно, забыл, что Помпей Великий еще при жизни Суллы управлял некоторое время Сицилией...

— Управлял?.. Когда это было?

— После поражения Карбона.

Помпей перестал слушать ворчливый голос Красса, перебрасывавшегося непонятными полунамекками с Каталиной, и сосредоточил всё свое внимание на Преции: подмигивал ей, бросал в нее хлебными шариками.

И вдруг оглянулся, почувствовав на себе чей-то напряженный взгляд.

Цезарь!

Он не спускал с них насмешливо-прищуренных умных глаз.

«Клянусь Венерой, он надоедлив, как девчонка, впервые познавшая любовь! — подумал Помпей. — Неужели он думает, что, став популяром, я должен работать только на них? И что такое плебс? Средство для достижения власти».

Он отвернулся от Цезаря и протянул Преции фиал.

Со смехом поднесла она к губам чашу:

— Говорят, ты привез из Иберии редкостные вещицы...

— Будь спокойна, — ответил Помпей, поморщившись, — Венера, способствуя любви, ценит красоту во всем.

XVII

Помпей и Красс приступили к исполнению магистратуры. Стараясь задобрить плебс, они раздавали бесплатно хлеб, устраивали празднества, а когда Помпей внес рогацию о возвращении трибунам власти, отнятой у них Суллой, и Красс, пользовавшийся огромным влиянием в сенате, помог провести ее; когда была восстановлена цензура и ряд сулланцев исключен из сената; когда Цезарь своей агитацией в комициях и на конциях добился прощения участникам междоусобных

войн, — плебс стал превозносить трех Популяров, величая их лучшими друзьями народа.

Однако хорошие отношения между Крассом и Помпеем не замедлили испортиться: оба консула подозрительно следили за действиями друг друга, а Цезарь, искусно прикидываясь сторонником обоих, вносил рознь в их отношения.

Помпей мечтал о славе и богатстве. Победы Лукулла тревожили его, а корабли, прибывавшие в Рим с драгоценностями, возбуждали его жадность. Он знал, что, став любимцем народа, может опереться на него и извлечь ряд выгод, и начал с того, что стал подстрекать толпу против сицилийского претора Гая Верреса, а Цицерона уговорил выступить против него с обвинением. Но он меньше всего думал об участии Верреса: не преступление претора и не жалость к ограбленной Сицилии заставляли его выступить, — важно было возбудить народ против сулланца; и он говорил на форуме, что злодеи, подобные Верресу, уже изгнаны из сената, называл даже имена Хризогона и Других враждебных плебсу мужей, намекал, что сенат всё еще привержен Сулле:

— Поэтому, квириды, проявите твердость, присущую римлянам, и осудите своего врага.

И плебеи требовали судебного разбирательства.

Расчеты Помпея оказались верными: Веррес — сулланец, но сулланцы — враги, а так как сенат состоит из сулланцев, то не может быть дружественен плебсу. А разве Лукулл не из этой шайки?

Рассеяв среди народа сотни своих приверженцев, которые возбуждали плебс против Лукулла, Помпей нередко сам появлялся на пристани, когда разгружались корабли, прибывавшие из Азии, и, указывая на богатства, говорил: «Разве Лукулл — не второй Веррес?» Народ негодовал. Однажды послышались возгласы об отозвании Лукулла: «Передать ведение войны Помпею», — кричали плебеи, и консул повеселел, — главное было сделано.

«Комиции за меня, — думал он, — а сенат?.. Красс не откажется поддержать...»

Однако он ошибся. Узнав о домогательствах Помпея, Красс рассвирепел. Он произнес в сенате негодующую речь, обвиняя Помпея в кознях против республики, в заискивании «перед чернью», и, превознося Лукулла (он перечислял его победы над Митридатом), порицал Помпея:

— Ты посягаешь, коллега, на мужа, доблесть которого общеизвестна и признана самим диктатором. Лукулл, расширив римские владения, далеко распространил славу о величии родины и непобедимости наших легионов... После четырех лет трудов и борьбы он уже почти завершил свое дело... А ты хочешь собрать жатву с полей, обработанных им, возвеличить себя, а его унижить. Постыдись! Вспомни нашего отца-диктатора! Тень его будет тебя преследовать и всю жизнь не давать покоя...

— Не я добиваюсь назначения в Азию, — возразил Помпей, — а римский народ, возмущенный преступлениями Верреса. Он требует смещения аристократа, который грабит провинцию, и назначения на его место популяря. Думаю, что сами бессмертные внушили народу эту мысль, Разве отцы государства желают смуты и потрясения устоев республики? Благо отечества, единственно оно — цель наших трудов. И не всё ли равно, кто закончит войну с Митридатом? Лишь бы понтийский царь был побежден.

— Не хитри, Помпей Великий! — резко прервал его Красс. — Верно, ты популярен... Ну, а я?.. Разве я тоже не популярен? И если ты предъявляешь право на Азию, то и я...

Вспыхнув, Помпей перебил его:

— Пусть решат комиции, кому отправиться в Азию. Боги видят» что я радею о величии отечества... Пусть изберут тебя, и я с радостью принесу благодарственную жертву Минерве...

Удивился, услышав резкую речь Красса: теперь консул не стыдил, не уговаривал, а нападал; в его словах звучала скрытая угроза:

— Дело Лукулла — дело сулланцев, а ты, Помпей, перешел на сторону врагов и хитростью склонил меня на это дело. Знаю, ты хочешь присвоить плоды трудов Лукулла. Но этого не будет! — крикнул он так громко, что все вздрогнули. — Скорее лисицу запряжешь в повозку или козла подоишь...

Противодействие Красса испугало Помпея, и он стал распространять слухи, что после окончания консулата намерен возвратиться к частной жизни. Эти речи возбуждали плебс и всадников: оба сословия понимали, что предстоит жестокая борьба с сенатом, — Красс добровольно не уступит.

И всё же пришлось уступить: под нажимом популяров провинция Азия была отнята у Лукулла.

XVIII

Пролетали месяцы.

Видя, что популяры усиливаются, а Помпей борется против него, Красс вернулся в ряды аристократов, чтобы еще упорнее, еще ожесточеннее продолжать борьбу. Он часто виделся с Цезарем, который добивался известности красноречием на форуме и расточительностью. Хвастовство Цезаря, что он потомок царя Анка Марция и богини Венеры, забавляло Красса. Однако богатч пытливо присматривался к Цезарю и давал ему деньги взаймы. «Этот полуцарь-полубог любопытен. Скользкий, как угорь, он способен легко выйти из труднейшего положения, а его лживость, хитрость, развращенность, мотовство, жадность к деньгам, а особенно к славе изумительны».

И однажды, встретившись с Цезарем на форуме, пригласил его к себе.

В один из нефастальных дней, в которые, согласно Фастам, не разрешалось иметь дел с народом, спустя неделю после участия в шествии по городу с салииоками жрецами (одетые в короткие трабеи, они бежали, бряцая лнцилькеким оружием, прыгая и распевая песни в честь Марса Градива), Цезарь шагал по улицам, направляясь к Крассу, который жил в роскошном доме на Палатине.

Идя, Цезарь напевал салийскую песнь:

Марс Градив
Ведет нас
В далекий поход,
А света виновник
Юпитер-Люцетий —
Нам помощь в боях!..
Рубитесь
И бейтесь,
Рубитесь сплеча,
Врагов не щадите,
Бесстрашно сражайтесь
За царственный Рим!

— «Марс и Юпитер, не так уж могущественны, как поют о них салийские жрецы, — думал он, — и не боги, а оружие решает исход войны, возносит или низвергает мужей. А выше всего Предопределение, или Судьба, и никто не в силах

изменить предначертанного».

Красс был в веселом настроении: расхаживая по атриуму и напевая непристойную греческую песенку, он рассматривал драгоценные статуи и вазы, загромождавшие левую часть атриума (они были отняты им у одного публикана за долги), когда раб возвестил о прибытии Цезаря.

Красс оживился и, улыбаясь, пошел гостю навстречу. После взаимных приветствий, он взял Цезаря под-руку и прошел с ним в таблинум.

Кликнув рабыню и приказав принести вина и плодов, он пристально взглянул на Цезаря:

— Скажи, дорогой, не скрывая, что делает Помпей? Гость, застигнутый врасплох коварным вопросом, быстро собрался с мыслями.

— Говорят, он болеет... Но я не бываю в его доме. — Не бываешь?! А накануне салийских торжеств ты получил от него старинный меч.

Об этом Красс знал от соглядатаев, следивших за каждым шагом Цезаря.

— Верно, — согласился гость, почувствовав ловушку, — желая участвовать в салийских торжествах...

— ...как потомок Венеры? Понимаю, — перебил Красс, делая вид, что не замечает краски на лице Цезаря. — Но, " дорогой мой, оружие, с которым прыгают жрецы, хранится в недоступном для нас месте, и только с этим оружием разрешается выступать на празднестве...

— Но ведь я не жрец!.. И не имел бы права...

— Понимаю, — кивнул Красс, — тебя допустили, как потомка Венеры.

И опять в его голосе послышалась насмешка. Цезарь гордо поднял голову: в глазах его был вызов.

— Ты не ошибся. Не только как потомка Венеры, но и как потомка царя Анка Марция...

— Гм... И такой потомок — популярен? Я не хвалюсь родством с царями и богами, а все-таки раньше тебя отошел от популяров...

— Разве Помпей, военачальник Суллы, не на нашей стороне?

— Помпей, Помпей! — побагровев, зарычал Красс — Тщеславная скотина! И если ты с ним заодно, то пасись, прошу тебя, на его поле, а в мое не лезь...

Цезарь засмеялся.

— Ты сердишься, это хорошо, — сказал он, — такой муж способен на подвиг или на великое дело... Говорят, Сулла тебя ценил...

Глаза Красса сверкнули.

— О, император! — вымолвил он со вздохом. — Он заботился о последнем своем ветеране...

— Вспоминая диктатора, — продолжал Цезарь, — я думаю, что муж, идущий к власти, должен брать пример с него...

Красс протянул рабыне кубок, который она наполнила разбавленным вином, и сказал:

— Клянусь Вестой, ты думаешь, что я честолюбив?

— Да. И властолюбив.

— Может быть...

Понизив голос, Цезарь придвинулся к нему: — Оба мы жаждем власти, но я — маленький человек, который добивается квестуры, а ты — муж большой силы, высшей

магистратуры и богач. Ты всё можешь. Но я сильнее тебя волей и духом. Я упрям и не привык отступать перед препятствиями. Трудности, возникающие на пути, заставляют меня напрягать силы, чтобы преодолеть их. — Деньги.. Сколько? — хрипло выговорил Красс.

— Подожди. Знаю, ты их не пожалеешь, хотя тебя и обвиняют в скупости...

Красс пристально смотрел в глаза Цезаря и думал, можно ли ему довериться, а Цезарь, чувствуя, что тот колеблется, поспешил переменить разговор; он спросил, верно ли, что Лукулл одержал новые победы...

Красс, притворяясь, что предложение Цезаря не может иметь цены и важности в жизни такого государственного мужа, каким он считал себя, стал рассказывать о вторжении Лукулла в Армению, о поражении войск Тиграна и осаде Тигранокерты...

— На днях, — заключил он, — сенат получил радостное известие о новом поражении Тиграна и взятии Тигранокерты, а сегодня — о бунте легионов Лукулла, — война надоела, суровость же полководца возбуждает ненависть воинов: вообрази себе — он велит легионариям уважать женщин и не трогать имущества греков.

— Говорят, он стал гордым, как Сулла...

— Говорят, говорят!.. Кто говорит — Помпей? А ты меньше слушай — да поразит его молния Юпитера!

И, помолчав, возобновил прерванную беседу:

— Так ты говоришь — власть? Говоришь — нас двое? Всё это хорошо... Но это дело трудное... Нужно обдумать...

Цезарь слушал, не спуская с него блестящих нетерпеливых глаз, однако сдерживался.

— Денег дам, — продолжал Красс, — что серебро? В Аид его не унесешь — утонет ладья Харона, — засмеялся он, — а слава останется навеки, и я буду жить невидимой тенью среди народов, как Александр Македонский, Сократ, Платон, Аристотель...

— Подожди, — прервал его Цезарь, — мы должны встретиться с мужами, которые нам помогут...

— Кто они? — вскричал Красс. Цезарь молчал.

— Не доверяешь?

— Тебе, Марку Лицинию Крассу, сподвижнику диктатора и сенатору, не доверять?.. Но не рано ли говорить об этом?.. Пока Помпей, вождь популяров, в Риме...

— А разве ты не популар?..

— И я популар. Но популяры бывают разные: такие, как Карбон и Сатурнин — мелки для нашего времени. Нужно уметь быть популяром, когда это выгодно...

— Постой, — перебил Красс — Это не ново. Когда сулланцы переходят на сторону популяров, и один из них, например, Помпей, — преступник перед плебсом, а другой (я говорю о себе), добившись своей цели, перебегает в лагерь аристократов...

Цезарь тонко усмехнулся:

«Он не понял меня, тем лучше, — подумал он, — можно служить двум господам, а потом освободиться от них... Буду ждать, работая, и, ожидая, работать, пока Хронос не приблизит благоприятного часа...»

Он простился с Крассом, сказав ему:

— Получишь от меня эпистола — приходи в мой дом. Там ты встретишься с людьми, которые нам будут полезны.

XIX

Добившись квестуры, Цезарь не прерывал излюбленных занятий астрономией и стратегией: он увлекался Гиппархом, изучал, подобно Сулле, движение войск в походах, ведение наступательных и оборонительных боев Аннибала, Сципионов Старшего и Младшего и в особенности Суллы, который, начальствуя над маленькими силами, сумел разбить азийские полчища Митридата при Херонее и Орхомене.

Увлекаясь эллинским искусством, Цезарь скупал статуи Фидия, Праксителя, Скопаса, Лизиппа, жадно читал Софокла, Эврипида, Платона, Аристотеля и менее знаменитых писателей. Величественная культура Греции вставала перед ним, свежая и прекрасная, как Анадиомена. Он понял, что Цицерон, выдвинувший красноречие Демосфена как образец чистоты языка, был прав: азийская риторика Гортензия Гортала не могла больше соперничать с простыми зажигательным филиппиками греческого оратора и острыми общедоступными речами самого Цицерона.

Но больше всего увлекала его политика: это был мост к власти, вступить на который и пройти его до конца казалось самым трудным делом. Он пристрастился к «Политике» Аристотеля не потому, чтобы она всецело удовлетворяла его, а оттого, что представлялась близкой современности; иной же, «своей политики», он еще не выработал, хотя много размышлял о новых формах правления.

«Если всё должно быть основано на законе, препятствующем вырождению демократии в демагогию, аристократии — в олигархию и монархии — в азийскую деспотию, — думал он, — то лучшая форма власти — союз демократии и аристократии, как учил Аристотель и одобрял Полибий... Поэтому мы, популяры, приняли эту «политику». Но может ли она теперь удовлетворить римское государство? Этот союз вызывает борьбу сословий за власть, подрывает устои республики, разрушает ее... Где же выход?... В диктатуре, в монархии? Неужели прав был Сулла, отбрасывая Рим к временам царей?..»

Вошла рабыня, возвестив, что госпоже хуже: лекарство, приготовленное врачом, не помогает, и она задыхается.

Уже вторую неделю болела Корнелия, и Цезарь каждый раз, входя в кубикулум, где она лежала, разметавшись на ложе, испытывал к ней жалость и чувство нежности. Врачи утверждали, что вылечат ее, но Цезарь был уверен, что какова бы ни была болезнь, она излечима в том случае, если жене предопределено жить, и потому лекарствам не придавал существенного значения.

Когда он входил, Корнелия кашляла; она вспотела — пожелтевшее лицо и полунагое тело, с которого она сбросила одеяло, лоснились, и Цезарь был поражен удобой ее рук и ног.

«Умрет», — подумал он и спросил, не подать ли ей карийских сладостей, чтобы унять кашель, но Корнелия, отрицательно мотнув головой, так сильно закашлялась, схватившись за грудь, что лицо ее побагровело.

Врач-иудей, с длинной седой бородой и умными глазами, подошел к ложу, держа курильницу в руке; он шептал, быстро повторяя: «Адонай, Адонай», и Цезарь с суеверным страхом отодвинулся от него. Запах сгоравшей смолы распространился в кубикулуме, и больная, вдыхая целебный дым, успокоилась.

— Спи, — шепнул Цезарь и сделал движение, чтобы уйти.

— Подожди, Гай, — остановила она его, — чувствую, что скоро сойду в Аид... Нет, нет! — воскликнула она, заметив, что он готов возражать, — я это знаю: мне снился зарубленный легионарными отец и манил окровавленной рукою... На моем

саркофаге сделай надпись: «Корнелия, жена Гая Юлия Цезаря, дочь великого Цинны...»

К вечеру, когда стало ей хуже и врач объявил, что Адонай не продлит жизни благородной госпожи, Цезарь получил известие о внезапной болезни Юлии, вдовы Мария Старшего. Суеверный страх охватил его: «Уж не причина ли их болезни этот старый иудей? Что он шепчет? Каких богов призывает на помощь — добрых или злых?..»

А врач говорил, и слова его медленно шуршали в таблинуме:

— Если позволишь, господин, я взгляну на твою тетку... Может быть, наука в сила отвратить от нее болезнь...

— Нет, нет, — резко возразил Цезарь и приказал кликнуть атриенсиса. — Заплати этому человеку за его труды по-царски... Помощь его больше не нужна...

А сам думал, щупая на груди золотую буллу: «Волшебник, старый волшебник... Слуга Гекаты... Как сверкают его старые глаза! Лишь бы они не накликали на меня болезней!»

Юлия лежала не в кубикулуме, а в таблинуме, где каждый день читала несколько часов «Достопамятности Суллы» и составляла к ним примечания.

Еще утром она почувствовала легкое недомогание, боли в сердце. И вдруг упала. Ее подняли, положили на ложе и привели в чувство.

Она крепилась, не желая беспокоить родных, но, когда к вечеру ей стало хуже, она послала рабов за ними.

Она думала о Сулле, перебирая в памяти встречи, вспоминая каждое слово, сказанное им, и он мелькал перед ней под разными личинами: веселый гуляка, соблазнитель дев, завсегдатай лупанаров, смелый муж, храбрый воин, великий полководец, кровавый диктатор... И эти лики, меняясь, надвигались на нее, а она протягивала руки, чтобы погрузить их в золотое руно его волос...

«Где я найду твою блуждающую тень, Люций? Где встречусь с тобою?»

Родных Цезарь не застал в таблинуме — они ушли за несколько минут до его прибытия. Юлия была одна.

Подойдя к ее ложу, он сел у изголовья и взял ее смуглую исхудалую руку, не зная, что сказать, как утешить.

— Хорошо, Гай, что ты поторопился, — спокойно сказала Юлия, — Мойра уже звенит ножницами, чтобы обрезать нить моей жизни...

— Ты еще поживешь, супруга великого Мария, — тихо ответил Цезарь, опуская глаза.

— Зачем так говоришь? — упрекнула она его. — Ведь сам ты не веришь своим словам!

— Хочешь, я приглашу александрийских врачей?

— Не нужно. Обещай только... довести мое дело до конца... Пусть сcribes перепишут «Достопамятности Суллы» и мои примечания. А потом отдай всё Лукуллу...

— Зачем? — тихо вымолвил он и подумал: — Так это верно, что она любила диктатора!»

— А когда я уйду в другой мир, — не ответив на его вопрос, говорила Юлия, — не забудь...

Вскрикнув, схватилась за сердце: лицо побелело, голова странно покачнулась.

Цезарь вскочил, громко окликнул ее — молчание. На него смотрели широко

раскрытые неподвижные глаза.

Приложил руку к ее сердцу: не билось.

Юлию и Корнелию хоронили одновременно.

В печальном шествии Цезарь нес статую победителя кимбров и тевтонов, и плебс, вспоминая Мария, склонял головы. Множество ремесленников, вольноотпущенников и рабов теснились в узких улицах: одни — чтобы взглянуть на супругу Мария и жену популяра, который нес статую полководца, другие — чтобы проводить их до могилы.

— Какое горе для Цезаря! — шептали плебеи.

А он шел, несколько бледный, опустив глаза, но большого горя не испытывал.

«Разве смерть не обычное явление? Конечно, жаль умирающих, но никто не вечен. А ведь нужно плакать, по обычаю... Но как плакать, когда нет слез?..»

Он произнес речь, восхваляя Мария и Цинну, величая их лучшими вождями популяров, а о себе говорил, что его род ведет начало от царя и богини; упомянул Гракхов, смелых друзей народа, и резко порицал Суллу за жестокость и непримиримость к плебсу, зная, что память о диктаторе ненавистна народу. Величая Юлию и Корнелию «самыми добродетельными матронами Рима», он сказал, что дочь его Юлия будет достойна своего знаменитого деда, и обещал воспитать ее поборницей нужд плебса.

Вечером, когда друзья и знакомые, приглашенные Цезарем, возвращались, чтобы принять участие в похоронном обеде, Цезарь отделился от толпы и задумчиво смотрел на ночные похороны плебея.

При свете факелов несли гроб, и покойника провожали несколько сукновалов и рыдавшая женщина с ребенком на руках.

«Они всегда хоронят ночью — беднота самолюбива, боится дневного света, — думал он, присоединяясь к друзьям. — Зарыв этого плебея на кладбище Эсквилинского поля, они возвратятся в свой домик, чтобы сесть за скудную пищу и глотать ее со слезами... А таких бедняков большинство. Они мечтают о благополучии, и если им обещать...»

Резко отвернулся от похоронного шествия и присоединился к друзьям.

XX

Несколько лет прожила Лициния в вилле Корнелия Лентула Суры на положении племянницы господина, и это время было безмятежно, как тихая дремота на солнечном берегу ручья. Прошлое казалось ей страшным сном, ниспосланным Гекатой, а спасение из каменной ямы — чудесным вмешательством Весты в ее судьбу.

Катилина, отвезший ее подальше от Рима и не преминувший разделить с ней ложе тотчас же по приезде в виллу, оставался недолго, и образ его улетучивался из ее памяти. А Суры она никогда не видела — он не бывал в вилле, довольствуясь теми отчетами о хозяйстве, которые она составляла с вилликом и посылала ему в Рим.

Однажды, когда на птичьем дворе секли нерадивую рабыню, у которой неизвестно каким образом пропала корзина яиц, приготовленных для продажи, Лициния, услышав вопли, вышла из дома.

Навстречу ей бросилась виллика:

— Госпожа моя, — воскликнула она, удерживая Лицинию за край туники, — тебя ждет человек с эпистолой...

— Пусть войдет в атриум, — распорядилась она и спросила, за что наказывают рабыню. Проступок невольницы показался ей незначительным, и она приказала

прекратить истязание.

Посредине атриума стоял смуглый молодой плебей. Она невольно залюбовалась им, а он, поклонившись, подал ей письмо:

— От нашего господина Люция Сергия Катилины. Патриций писал, что вилла Корнелия Лентула Суры продана этрусским обществом публиканов за долги господина, и поручал Сальвию отвезти Лицинию к своему другу Манлию, ветерану Суллы.

— Поедешь со мной? — спросил Сальвий, весело взглянув на нее.

Лициния смущенно опустила глаза.

— Не знаю... в чужой дом... в чужую семью тяжело вступать... — пролепетала она.

Сальвий стал убеждать, что иного выхода нет, и она решила собираться в дорогу.

Весь день Сальвий помогал ей по хозяйству: нужно было сдать расписки в получении денег, взыскать по счетам с должников, отвезти в нундины плоды и овощи на рынок. А когда наступил вечер и они, сидя в атриуме, ужинали, Сальвий сказал:

— Мой господин Катилина послал меня по делам в Этрурию, и мы часто будем видеться. Я скажу Манлию, как приказал господин, что ты — моя жена...

Лициния вспыхнула:

— Зачем? — шепнула она. — Разве Манлий...

— У него на попойках собираются разные люди, а тебя нужно обезопасить. Я скажу Манлию так: «Наш господин Катилина приказал тебе дать приют Лицинии и заботиться о ней, как о родной его дочери...»

Лициния схватила его за руку.

— Да воздадут тебе боги за твою доброту...

Манлий принял их приветливо, а прочитав эпистола Катилины, сказал:

— Будь спокоен. У меня твоя жена никем не будет обижена, иначе...

Он поднял огромный кулак и погрозил им невидимому врагу.

Ночью, когда в доме все заснули, Манлий и Сальвий вышли в поле.

— Господин передает тебе власть над Этрурией, — говорил Сальвий. — Готовь ветеранов к восстанию, вербуй плебеев, набирай рабов...

— Наконец-то! Серебро на это-дело?

— Со мною.

— Что нового в Риме?

— Красс и Помпей грызутся...

— Они грызлись и при жизни императора, — усмехнулся Манлий. — А Цезарь?

— Не люблю его — лисица. Манлий пожал плечами:

— Все хитрят — иначе нельзя. Разве Катилина действует открыто?

Шли межой между колосющихся хлебов. Крупные звезды трепетали на черном пологие неба. Оба молчали.

— А ты, — остановился Манлий, — останешься здесь?

— Господин приказал помогать тебе. И, если позволишь, я объеду всю Этрурию...

— Да воздадут ему боги за его заботы о ветеранах императора! — воскликнул Манлий. — Пусть сопутствует нам и ему тень нашего друга, отца и владыки!..

Сальвий молчал, — его возмущала рабская преданность Сулле, о жестокости которого он много слышал от Мульвия. Привыкши ненавидеть диктатора, он думал: «Вот стоит человек, восхваляющий это чудовище, и я не смею ему прекословить». Понимал, что тесно соединились нужды ветеранов с нуждами плебса под главенством

Катилины, который предостерегал его перед отъездом из Рима: «Не ссорься ни с кем, если нужно — перевозноси перед ветеранами Суллу, перед рабами — Спартака и перед плебеями — Гракхов, Сатурнина и Мария... Помни — необходимо набрать побольше легионариев, чтобы опрокинуть проклятую власть нобилей!»

Возвращаясь домой Манлий твердо сказал:

— Я подыму всю Этрурию и создам крепкие легионы, а ты будешь у меня начальником конницы.

XXI

Моряки, распущенные Митридатом после выдачи Сулле кораблей, стали пиратами, и к ним присоединились тысячи людей, не желавших подчиниться суровому господству Рима: морские разбои охватили не только Архипелаг и моря, омывающие Грецию, но даже берега Италии, — торговые суда не могли свободно плавать, и публиканы терпели огромные убытки. Владея многочисленными Пристанями на берегах Средиземного моря и особенно в Киликии, пираты не скрывали награбленных сокровищ (их корабли были украшены золотом и пурпуром, а весла отделаны серебром); дерзость их с каждым днем возрастала: они проникли в Остию и сожгли римские суда, а когда преступление осталось безнаказанным, отрезали Италию от ее житниц, и подвоз хлеба прекратился. В Риме наступал голод. Народ роптал, требуя прекратить это зло.

Любимец плебса, Помпей добился назначения на эту войну, несмотря на противодействие Красса.

Отправляясь в поход, он сказал полшутя своему другу Варрону:

— Нужно поскорей усмирить пиратов, — иначе Лукулл дойдет до Индии...

Варрон уловил в его словах беспокойство: победы Лукулла удручали Помпея.

Война была кончена в три месяца, и Помпей доносил сенату и римскому народу о своих блестящих победах. Рим ликовал, перевозносился, Помпея. Но Красс, имевший приверженцев в войске консуляра, знал больше: римский полководец заключил постыдный мир с пиратами, «этими врагами, готовыми при первом же случае поднять оружие против Рима, заняться опять морскими разбоями». Однако Красс был слабее Помпея: кроме плебса, полководца поддерживали всадники, получившие наконец возможность свободно вести торговлю.

Помпей втайне преклонялся перед Лукуллом и завидовал ему, испытывая страх, что все царства до рубежей Индии будут завоеваны счастливым соперником и ему, Помпею, не придется прославиться и захватить сокровища азийских царей. Он думал: «Чем скорее стану во главе мятежных легионов (как хорошо я сделал, успев посеять рознь и недовольство среди Лукулловых воинов!), тем быстрее завершу завоевание царств, и тогда слава целиком перейдет ко мне!» Он знал, что суровый и справедливый Лукулл запрещал легионариям грабежи и, насилия; знал также, что подосланные люди, возбуждая воинов и трибунов, говорили: «Помпей Великий будет отдавать вам всё, что вы завоюете: города с сокровищами, рабов, женщин и детей; а имея невольников, вы станете такими же богатыми и знатными, как ветераны Суллы». Получив назначение в Киликию по закону трибуна Манилия, горячо поддержанное Цицероном и Цезарем, Помпей прощался накануне своего отъезда с друзьями и почитателями.

Выдающиеся фамилии Рима заполняли просторный атриум. Были здесь популяры и сенаторы. Казалось, взаимная вражда -сословии была забыта и все объединились вокруг вождя популяров, воодушевленные патриотическим стремлением к благу

отечества.

Прославляя Помпея, гости старались пожать ему руку, сказать хотя бы одно напутственное слово.

А магистраты, матроны и девушки прибывали...

На другой день говорили, что весь Рим побывал у Помпея, — не пришел только один Красс.

XXII

После отъезда Помпея Цезарь стал чаще бывать у Красса. Нередко он приходил, когда хозяина не было дома, и его встречала, вспыхивая от радости, Тертуллия, приземистая, полногрудая матрона с черным пушком на верхней губе. Он обольстил ее не потому, что был влюблен, а оттого, чтобы влиять через нее на несговорчивость Красса.

«Буду мужем многих матрон и женой многих мужей, лишь бы крепко держать магистратов в своих руках, — думал Цезарь, входя в дом Красса и зная через рабов, которые доносили о каждом шаге хозяина, что тот отправился на форум, а Публий, сын его, к ритору. — Если боги помогли Тертуллии и она сумела убедить богача, мы попытаемся...»

В атриум вбежала полуодетая матрона, громко засмеялась, увидев Цезаря, схватила его за руку.

— Иди за мной, — шепнула она, увлекая его за собой и Venereum, потайной уголок, посвященный Венере.

Это была комнатка, увешанная коврами, с мягким ложем возле жертвенника перед статуями Венеры Калл книге и Венеры Перибасии, увитыми лентами с египетскими, иероглифами. Приапы и вакхические амулеты истрепались на каждом шагу, а на стенах красовались libidines — порнографические картины. Цезарь был здесь впервые.

На ложе она твердила о своей любви, и он, торопливо лаская ее, расспрашивал, как относится Красс к союзу с ним на форуме, что думает делать в случае сопротннления сената.

— Марк готов работать с тобой, — говорила Тёртуллия, — хотя боится всецело довериться тебе... Дела твои с Помпеем и Цицероном доводили его до бешенства, но я уверяла, что это твоя политическая хитрость. У него много сторонников в сенате, и если ты умело поведешь дело...

— ZcDJTхаісpGxri,³ — шептал Цезарь, целуя ее. Встал и, одеваясь, сказал:

— Буду дожидаться его в таблинуме... Тертуллия хлопнула в ладоши и приказала невольнице подать вина и внести шипящий кальдарий.

Когда они допивали кальду, разбавленную молоком, рабыня доложила, что идет господин: сейчас он остановился на улице и ругается с публиканом.

— Он не замедлит войти! — с беспокойством воскликнула Тертуллия, сделав знак невольнице убрать чаши и кальдарий: — Не лучше ли, Гай, если ты уйдешь, а потом вернешься?

— Нет, — отказался Цезарь, — я не привык отступать...

Он взял свиток пергамента и развернул его. Это была «Милесиака», сочиненная Аристидом и переведенная Сизенной под Названием «Милетские рассказы».

Цезарь углубился в чтение. Описание симпозиона, ночного пиршества с участием

³ «Жизнь и душа» — в смысле «моя дорогая».

женщин, и беседа о любви отличалась от Платонового симпозиона тем, что здесь было избегнуто метафизическое раскрытие предмета и центр тяжести перенесен на веселую занимательность.

Шутливый возглас вошедшего Красса прервал чтение:

— Клянусь прелестями Каллипиге, сам полубог почтил мой бедный дом своим присутствием!

— Клянусь Уранией, — так же шутливо ответил Цезарь, вставая, — сам Крез приветствует обедневшего полубога!

— Ха-ха-ха! Опять нужны нуммы?

— Когда они Не нужны? Без них, царственный Крез» и солнце не светит, и радость превращается в горе!

— Ха-ха-ха! А о девушках забыл?..

— Девушки — это лакомство, подаваемое на золотом блюде, а так как золота у меня нет...

Красс, улыбаясь, хлопнул в ладоши и приказал рабу подать вина.

— Ты, конечно, по делу... по нашему делу? — спросил он, старательно свертывая папирус.

— Толстяк уехал, — тонко улыбнулся Цезарь, намекая на Помпея, — и мы можем...

— Подожди, — остановил его Красс, — верно ли, что ты женился на прекрасной Помпее, дочери Квинта Помпея Руфа и Корнелии?.. Ловкий ход, клянусь Адонисом! Племянник Мария женился на племяннице Суллы, и я сразу понял твою хитрость; ты как бы говоришь: «Отныне нет больше политической розни, я получу кредит у всадников, дружбу и доверие сенаторов, и сулланцы забудут о моем прошлом».

Цезарь усмехнулся.

— Ты умен, Крез, но я следую завету Аристотеля: только соглашение между аристократией и демократией способно дать счастье отечеству...

— Об этом подумаем. Помоги мне сперва перейти на сторону популяров.

— Ты еще не отказался от мысли завоевать Египет? Красс вспыхнул.

— Разве Александр II не завещал Египет Риму? — сказал он. — Подними комиции... А так как пропретор Катилина возвратился из Африки (его обвиняют в лихоимстве), то он, Пизон и еще несколько человек нас поддержат... По моему настоянию в списки кандидатов, добивающихся консульства, внесены Публий Автроний Цет и Публий Корнелий Сулла, племянник диктатора. Они должны стать консулами, а тогда...

— Ты обдумал каждый шаг? — шепотом спросил Цезарь, и глаза его загорелись.

— Будь спокоен. Меня не остановит самая жестокая борьба. Я должен стать диктатором, а ты, Цезарь, будешь начальником конницы...

— Нужно действовать тайком, но меня смущает: найдем ли мы достаточное число сторонников? Помпеянцы нам не помогут, народ тебе не доверяет, — ведь ты недавно отрекся от сотрудничества с популярами, а один сенат...

Красс пожал плечами.

— Чего ты боишься? — воскликнул он. — Кто наносит удар, тот должен быть готовым получить тоже удар.

— Или отразить его...

— Будь спокоен, — повторил Красс, и глаза его зажглись злобным блеском. — Я отражу его с такой силой, что задрожит весь Олимп...

Рабы подали вино и фрукты. Вошла Тертуллия и возлегла рядом с мужем. О политике больше не говорили; беседа велась о завоеваниях Лукулла, о развратном поведении жены его, о магистратах и о Прении, снова получившей богатые подарки из Азии.

Когда Цезарь уходил, Красс отозвал его в сторону:

— Будь осторожен, — шепнул он. — Если наш замысел не удастся, мы его повторим спустя год или два...

Цезарь был в угнетенном состоянии, — уверенность в неуспехе и какая-то тревога не покидали его до конца дня. И вечером с ним случился жестокий припадок падучей.

XXIII

Шли месяцы.

Как предвидел Цезарь, так и случилось: заговор против республики был открыт, — Сулле и Автронию не удалось захватить власть. Народ и сенат требовали наказать преступных магистратов, но вмешался Красс, опиравшийся на сенаторов, которые были его должниками, и спас заговорщиков.

— Отцы государства, — говорил он в сенате, и голос его звучал глубокой искренностью, обманувшей многих мужей, — злые люди распространяют гадкие сплетни против высокопочитаемых мужей, но кто может поверить им? Ни я, ни ты, ни он... Никто! А между тем злодеи запутали в это дело и меня, и Цезаря, и Суллу, и Автрония! Потеха.

Он смеялся и, продолжая издеваться над легковерием квиритов и магистратов, напомнил о поражении Помпеем пиратов:

— Не так же ль верили вы Помпею, когда он доносил о блестящих победах над разбойниками? А ведь каждая битва, каждая стычка преподносилась нам в виде большого сражения увенчивавшего славою римское оружие... Недалеко время, когда из Азии примчатся гонцы с Донесениями, и вы будете радоваться, как дети, повторяя: «Победа, победа, победа!» А какая может быть еще победа после Лукулла? Всё им завоевано, он трудился и воевал около десяти лет, а Помпею одно остается — захватить Митридата и вывезти сокровища...

Хотя в словах Красса было много правды, однако плебс и оптиматы чувствовали, что за этими речами хитрый богач скрывает иную правду, свою, которая может вылиться в кровавый мятеж или захват власти. Может быть, иной смысл таила эта правда, потому что, прикрывшись ею, Красс, с пеною на губах, требовал замять «клеветническое дело».

И сенат решил никого не преследовать.

Выбранные один эдилом, а другой — цензором, Цезарь и Красс сблизились еще больше: Цезарь, нуждаясь в деньгах для подкупа квиритов (мечтал о претуре и об управлении богатой провинцией) и не имея возможности брать их в долг у публиканов, принужден был обращаться к Крассу, не порывая с Помпеем, а Красс, видя приниженное положение своего соучастника, властвовал над ним, не отказываясь от мысли завоевать Египет.

Возбуждая плебс к завоеванию Египта, Красс и Цезарь заискивали у народа: Красс предложил даровать транспадцицам права гражданства, а Цезарь стал устраивать народные празднества: после *ludi Megalenses* и *ludi Romani* последовали роскошные гладиаторские игры в память его отца, на которых рабы сражались серебряными копьями и пускали серебряные стрелы, а затем — пиры, пиры...

Происки Цезаря вызывали негодование аристократов, но сенат молчал, боясь Красса. А когда Цезарь выставил ночью в Капитолии военные трофеи Мария, поверженные Суллой, и на другой день толпы плебса стали сбегаться, чтобы взглянуть на памятники войны с Югуртой, кимбрами и тевтонами и послушать речь Цезаря о Марии, ненавидевшем нобилей и всю жизнь боровшемся с ними (ветераны Мария плакали, а народ волновался), сенат безмолвствовал, не решаясь выступить против плебса.

Цезарь понимал опасность этого шага: борьба с аристократией! Но он, опираясь на Красса, надеялся на свою счастливую звезду.

Договорившись с народными трибунами, Цезарь внес рогацию о завоевании Египта. Сенат был против: магистраты кричали, что «завещание Александра II подделано»; помпеянцы отказались поддерживать Красса, а всадники, получив отмененные Суллой права, перешли на сторону аристократов; плебс колебался.

«Дуумвиры», как насмешливо величали Цезаря и Красса в Риме, принуждены были взять свое предложение обратно.

Полулежа у Красса в таблиуме, Цезарь говорил:

— Меня возмущает Цицерон своими связями с всадниками, ростовщиками, публиканами, дружбой с Аттиком, на сестре которого женился Квинт, брат Цицерона, а в особенности лицемерной речью «Об империи Гнея Помпея»...

Красс не верил речам Цезаря.

«Лжет», — думал он, исподлобья наблюдая за ним, и вдруг, прервав его, злобно сказал:

— Сенат получил сведения, что Лукулл заявил Помпею:

«Я начал войну и кончу ее. Полководцы перессорились, оскорбляли друг друга. А когда легионы изменили и перешли на сторону Помпея, Лукулл принужден был уехать. Вскоре он будет в Риме — величайший полководец! И я возблагодарю богов от всего сердца, если они доставят мне радость прижать к груди сподвижника нашего императора!

— Что же Помпей? — спросил Цезарь, не любивший душевных излияний Красса.

— Помпей вторгся в Понт, разбил Митридата... А ведь это дело мог бы завершить доблестный Лукулл, равный величием Сулле

— Лишь бы Помпей подольше оставался в Азии! — воскликнул Цезарь и прибавил; — Как думаешь, Крез, не следует ли привлечь на нашу сторону Лукулла?

«Хитрит», — усмехнулся Красс и, кивнув, ответил, точно предложение Цезаря приходило ему не раз в голову:

— Я переговорю с ним, как только он возвратится... Он должен ненавидеть Помпея за несправедливость...

Цезарь встал. Не понимал — притворялся Красс или действительно хотел начать переговоры с Лукуллом.

А Красс думал, посмеиваясь:

«Теперь он раскаивается... Конечно, выгоднее стоять у власти дуумвирам, чем триумвирам. Но я предпочел бы иметь дело с Лукуллом, чем с Помпеем — да поразит его Юпитер в Азии!»

XXIV

Манлий и Сальвий находились постоянно в разъездах, и Лициния скучала в вилле ветерана. Кругом нее суетились рабы и невольницы, занятые по хозяйству, плохо говорившие по-латыни, и не с кем было побеседовать, излить свою душу.

Пролетали недели и месяцы, точно Хронос гнал их при помощи Эола, и эта поспешность радовала Лицинию: скорее вернется Сальвий!

Не заметила, как влюбилась. Дни он стоял перед глазами, а по ночам снился веселый, влюбленный. И она томилась, ожидая, и не спускала глаз с пыльной дороги, пропадавшей за виноградниками. А когда Сальвий приезжал и она робко поглядывала на него, возлежавшего за столом, забывалось одиночество, скучные дни, и жизнь казалась солнечной равниной.

Однажды он приехал ночью. Проснулась от стука в дверь, услышала его громкий голос, ржание коня, уводимого рабом, но не вышла к нему из кубикюлюма. Только приказала невольнице подать в атриум вина, свинины и хлеба.

Утром встретились в саду. Сальвий приветствовал ее низким поклоном, назвал госпожой и спросил, когда приедет из Рима Манлий.

Она ответила, что не знает, и села на скамью, опустив голову.

Сальвий стоял перед ней, не осмеливаясь сесть. Он не спускал с нее глаз, и она, чувствуя его взгляд, боялась поднять голову.

— Госпожа...

Сделала над собой усилие, взглянула: в глазах Сальвия было что-то такое, чего она еще не видела.

— Что скажешь, Сальвий? Молчал. И наконец тихо вымолвил:

— Помнишь, госпожа, день, когда я увозил тебя из той виллы? Тогда я назвал тебя перед Манлием своей женою..,

Вспыхнула. Сердце забилося. Опустила глаза. А он говорил:

— Госпожа моя, я свободнорожденный... Римляне называют иберов варварами; они так же величают и эллинов. Скажи, разве постыдно быть ибером, греком, галлом или германцем? Мы, варвары, умеем бороться за свободу и независимость... Вот ты, госпожа, разве ты не знаешь, над чем трудится наш господин Катилина, Манлий и я?

— Знаю.

— И ты, госпожа... Подняла голову:

— Я с вами. И с тобою, Сальвий...

Сел рядом с нею, взял ее руку, сжал и погладил.

— Дни и ночи ты перед мною, — сказал он, — ты стала моей жизнью... Будь же в самом деле моей женою... Молчишь? О, неужели я тебя обидел, неужели...

Улыбнулась сквозь слезы:

— Нет, Сальвий! Не обидел ты меня... Я тоже... ты тоже стал моей жизнью...

Склонилась к нему, он обнял ее. Не видели подошедшего к ним человека, не слышали его слов. Это был Манлий.

Узнав о приезде Сальвия, он, спешившись, весь в пыли, прошел в сад, чтобы поговорить с ним.

— Очнись! — закричал он, трясая Сальвия за плечо. — С женой успеешь нацеловаться, а у меня важные дела...

Лициния вскочила и быстро скрылась за деревьями. А Манлий, сев на скамью, стал с увлечением говорить о деньгах, привезенных из Рима, о заказанном оружии и о людях, которых ему удалось завербовать. Он был доволен. Глаза его сверкали юношеским блеском. Смех звучал громкими раскатами.

Слушая его, Сальвий тоже увлекся. Впереди была борьба — вспоминал Малу, Мульвия, Сертория, Спартака, и сердце билось сильнее и сильнее. А когда подумал о Лицинии, радость захлестнула душу:

«Будем бороться вместе», — подумал он и пошел в дом вслед за Манлием.

XXV

Возвратившись в Рим, Лукулл занялся распределением несметных сокровищ, вывезенных из Азии, а в особенности золота и серебра в монете и слитках. Весь Рим говорил о бронзовой статуе Феба-Аполлона, вышиною в тридцать локтей, поставленной в Капитолии, о вишневом дереве из Кераза, об ониксовых амфорах, величиной с бочку, о девочках-Невольницах, отправленных в Мизенскую виллу, где некогда жила Корнелия — мать Гракхов, а потом Марий.

— Теперь приют добродетели станет приютом роскоши, удовольствий и телесных наслаждений, — насмехались популяры, нападая на Лукулла: со злорадством они вспоминали его богатства, войны, веденные без разрешения сената, обвиняли в грабежах, а народные трибуны налагали veto, как только сенат ставил вопрос о триумфе полководца.

Лукулл был взбешен. Ярость его увеличилась, когда он узнал, что любимая жена Клавдия была в связи со своим братом Публием Клодием, который возмутил против него полководца, легионы. Он не пожелал видеть ее, не захотел слышать лукавых уверений, плаксивых оправданий и развелся с нею. А однажды, встретившись у Катона с его сестрой Сервилией, он, очарованный ее красотой, умом и изяществом, решил на ней жениться. Катон был польщен выбором патриция и дал согласие.

Став женой Лукулла, Сервилия продолжала вести прежний образ жизни: часто встречалась с Цезарем и принимала в отсутствие мужа развратных юношей.

Так пролетали месяцы. Родив сына, она не изменила своего поведения, и Герон намекнул господину о непотребствах матроны. Лукулл был взбешен. Муть не избив Сервилию, он выгнал ее из дому, а сына отослал к Катону.

Скучно стало в обширном доме. Унылые дни тянулись неторопливой чередой — государственные дела, занятия философией, издание «Достопамятностей» Суллы не могли заполнить гнетущего одиночества. И он думал, как превратить остаток своей жизни в шумный праздник, чтобы видеть постоянно веселых людей, слышать смех женщин и пение под звуки лир и кифар.

Однажды, позвав скрибов, он повелел писать приглашения на пиршество, которое должно было состояться ровно через неделю, многим магистратам, невзирая на то, что некоторых подозревал во вражде, а иные открыто выказывали ему свою неприязнь.

Просторный, атриум, недавно перестроенный и украшенный с восточной роскошью, был залит огнями и заставлен столами, к которым с трех сторон прижимались лежа, покрытые пурпуром. Гостей еще не было, и рабы поспешно скользили между столов, уставляя их посудой и вазами с цветами, а лежа — венками. Потолок, покрытый свисавшими кусками белой ткани, казалось, дышал — то ли от ветра, проникавшего через комплювий, то ли от мехов, искусственно нагнетавших воздух, и длинные языки пламени мигали в светильнях.

Вошел Лукулл в сопровождении Герона, быстрым взглядом окинул атриум, внимательно осмотрел ряд статуй, колонны, увитые плющом и виноградом, амфоры на абаках и на мозаичном полу (здесь они плохо выделялись) и приказал места, где они стояли, покрыть испанским полотном. Затем заглянул в таблиум, где уже сидели флейтистки, кифаристки, арфистки и египтянки с систрами, спросил подбежавшего атриенсиса, накормлены ли они, и направился к распахнувшейся двери: входили претор Мурена, поэт Архий и Котта, разрушитель Гераклеи, названный сенатом

Понтийским и преследуемый популярами. Это были друзья и сподвижники, с которыми Лукулл совершил походы в азийские царства.

— Привет дорогому амфитриону и второму Александру Македонскому! — радостно воскликнул Мурена, обнимая Лукулла и целуя ему руку. — Без тебя, лучший друг диктатора, скучно дома и невесело на улице. До сих пор не могу забыть о смерти Метелла Пия, хотя времени прошло много... Только в твоём доме оживает и весело пляшет сердце.

И, возвысив голос, выговорил нараспев:

Радость мне в сердце с Олимпа слетела воздушной Иридой,
Вестницей ярких щедрот, Зевсом даруемых нам...

— Верю тебе, дорогой Люций, — приветливо ответил Лукулл, зная искренность друга, — я всегда рад тебе, как гонцу, спешащему с радостной вестью о победе...

—...или о разрушении города, — хрипло рассмеявшись, прибавил Котта. — Признайся, дорогой, что в душе ты не очень досадовал на меня...

— Не ты один разграбил Гераклею, тебе значительно помог мой наварх Триарий, — нахмурился Лукулл. — Что говорить? Дело прошлое, но тогда я, действительно, порицал вас обоих. Разве мы разбойники, чтобы грабить города, насиловать женщин и продавать их в рабство?

— Ты совершил большую ошибку, возобновив политику Рутилия Руфа и раздражив публиканов, — перебил Котта, — Ограничение их алчности привело к тому, что они стали строить против тебя козни, сблизилась с Помпеем и могущественными всадниками;..

— Знаю, — махнул рукою Лукулл. — Хотя я и презираю торгашей, но сегодня у меня в гостях будет афинский ростовщик Тит Помпоний Аттик; это муж умный, и с ним приятно побеседовать.

— Корнелий Непот удивляется, что Аттик не имеет еще ни одной виллы, — засмеялся Мурена, — а между тем иметь виллу в деревне или в купальной местности, как, например, в Байях, значит не отставать от обычаев общества...

— Так же, как скупать произведения греческого искусства, — подхватил Котта, — дельфийские столы, коринфские вазы, статуи, картины, чеканные чаши, бронзу...

— Ты прав, — перебил Лукулл, — но я ничего этого не скупаю, потому что имею. А чего не имею, то буду иметь. Я построю роскошный дворец с приемными и гостинными, с библиотекой, палестрой, банями; стены украсу гипсовыми изображениями и живописью... Всякий желающий найдет у меня отдых, развлечение... И Архий, одаренный Фебом-Аполлоном, будет импровизировать свои элегии.

— Нет, лучше я прочту фрагменты из своей эпической поэмы написанной в честь тебя... Описание осады Кизика и битва при Тигранокерте будут сладостны твоему сердцу...

Вошли Аттик, Валерия, вдова, и Фавста, дочь Суллы, а вслед за ними — Тит Лукреций Кар, прославившийся поэмой «De rerum natura».⁴

Аттик, муж пожилой, скупой на слова, с хитростью в глазах, слегка насмешливый, преклонялся, подобно Цицерону, перед умершим недавно Сизенной, которого считал величайшим историком. Он расхваливал, входя в атриум, его последнюю книгу. Лукреций кивал головою, слушая его. Валерия, очень постаревшая, но красивая той

⁴ «О природе вещей».

старческой красотой, которая придает женщине благообразную величавость, беседовала о Фавсте с его сестрой — некрасивой девушкой с длинным носом и чувственными губами.

Получив свою долю наследства в день совершеннолетия, Фавста жила у мачехи, замуж не стремилась и вела самостоятельный образ жизни: у нее были любовники, и брат, посещавший мачеху до отъезда своего в Азию с Помпеем (он обручился с его дочерью), подшучивал над Фавстой: «Удивляюсь, что моя сестра хранит пятно, когда у нее есть сукновал», намекая на двух ее любовников: Макуллу, что по-латыни значит пятно, и Фульвия, сына сукновала.

На беззаботном лице Лукреция была скука, может быть, пресыщение. Эпикурец, он посвятил жизнь удовольствиям, но они надоедали не хуже, чем тетрактида или пентаграмма пифагорейцев («Если основа бытия в числе, как учил Пифагор, — думал Лукреций, — то основа любви в поле»); чревоугодие было возведено в наслаждение утонченными яствами: мышление — в созерцательность.

Подойдя к Лукуллу, он приветствовал его, похвалил роскошь атриума и, повернувшись к гостям, сказал, указывая на Аттика, со смехом в голосе:

— Если друг и почитатель знаменитого историографа и переводчика басен Аристида не забудет маленького поэта Тита Лукреция Кара, то, несомненно, упомянет о нем в своей переписке с Цицероном, иначе стрела Сребролукого поразит тебя в самое уязвимое место...

— Увы, — вздохнул Атик, — не мне упоминать о тебе, знаменитом поэте. Мое имя поглотит Лета, хотя Цицерон и Варрон предсказывают противное... О, если бы ты захотел назвать мое имя в своей новой поэме, я стал бы бессмертным! Но — клянусь Зевсом Ксением! — не будем утруждать амфитриона скучными беседами...

Однако Лукулл, улыбнувшись, вымолвил:

— Вы забываете, друзья, о бессмертном труде нашего богоравного императора: его «Достопамятности» переживут тысячелетия, а слава о его подвигах и величественное имя будут сиять, как яркие звезды...

— Ты прав! — вскричал Мурена. — Имя его увековечено, и мы...

Слова его потонули в шуме голосов: вошли ученый и писатель Парфений, гистрионьг Эзоп и всадник Квинт Росций, историк Корнелий Непот и молодой поэт Катулл, сопровождавший Клодию, в которую был безумно влюблен и от которой не отходил ни на шаг.

Красавица Клодия, дочь Аппия Клавдия Пульхра, сестра жены Лукулла и супруга Метелла Целера, славилась на весь Рим необузданным распутством, и Цицерон, называя ее «волоокой Герой», «Медеей Палатинских садов», «Клитемнестрой», намекал на ее кровосмесительную близость с братом и с женой Лукулла, которую она совратила с добродетельного пути матроны. И эта женщина осмелилась явиться в его, Лукулла, дом! Не хватало еще, чтобы она привела с собой изгнанную Клавдию!

Лукулл негодовал, но выпроводить супругу Метелла Целера было бы невежливо, и он сдержался.

«Теперь времена не те, — думал он, — свобода и равенство отравили души матрон; у Клодии — десятки любовников... И, конечно, прав был Цицерон, назвав ее «квадрантарией».

Вспомнил, что во время судебного разбирательства, которым закончилась связь ее с оратором Целием Руфом, обе стороны бесчестили друг друга оскорбительными обвинениями, и Целий кричал на весь форум о ее корыстолюбии...

Одетая в прозрачную ткань, сквозь которую просвечивал пленительный изгиб бедер, а из разреза, как из лопнувшей почки, выглядывало юное тело, похожее на раскрывшийся цветок, с грудью Дианы, Клодия казалась богиней, и сам Лукулл невольно залюбовался ею. Вспомнил Клавдию, ее наряды, щегольство, уход за телом — употребляла пемзу с Эольских островов для сглаживания пушка на лице, чистила зубы порошком, приготовленным из мелосской и низиросской пемзы: белила щеки родосскими свинцовыми белилами, притирала хийской или самосской землею... «Прежде она не была такою! Подлая развратница растлила ее душу...»

Старый Росций и Эзоп спорили с молодым Парфением о бессмертии души. Парфений утверждал, что с Платоном можно согласиться уже потому, что Сократ, учитель божественного философа, познал самого себя путем внутреннего созерцания, а Платон углубил это познание до возможного предела.

— А еще раньше, — прибавил он, — мудрый Пифагор развил учение о метапсихозе и вечном возвращении в мир... Мы жили уже много раз, иногда проблески воспоминаний о предыдущих существованиях пролетают в нашей душе, часто мы слышим некогда слышанное, видим некогда виденное, и душа содрогается от удивления и трепета. А то, чему мы учимся, не есть изучение, а повторение того, что мы знали и что замерло в душе тысячелетия назад...

— Неужели ты пифагореец? — спросил подошедший Лукулл.

— Нет, — задумался Парфений, — но я готов принять эту великую мудрость, которой внимаю с затаенным трепетом.

— Удивительно, — перебил его Росций, — что после Демокрита возможна еще вера в сверхъестественное. Неужели тебе не известно учение мудреца из Абдеры, который отрицал богов и таинственные силы?

— Истинные мудрецы вырождаются — Демокрит жеу превозносимый тобою, заблуждался, и вихрь атомов, созданный им, унес его в подземное царство Аида, где он даст ответ...

Мурена и Котта, перешептываясь, отошли от них. Но Лукулл остался. Подобно Сулле, он любил «умственные удовольствия», и рассуждения Парфения тронули в его душе неведомую струну, о существовании которой он даже не подозревал.

— Кто же тебя поучает всем этим премудростям? — спросил он и не удивился, услышав ответ:

— Публий Нигидий Фигул.

Имя сенатора-писателя, пифагорейца и волшебника, было широко известно в Риме: оптиматы считали его наделенным сверхъестественной силой, а плебеи — посредником между патрициями и богами.

«Я посажу их рядом с собою, — подумал Лукулл о Парфении и Фигуле, — и их беседа будет, несомненно, приятнее глупых самовосхвалений пьяных гостей».

Взглянул в глубину атриума: прислонившись к колонне, Катулл с жаром беседовал с Клодией, — на детски-невинном лице красавицы покоилась мечтательная улыбка, в глазах вспыхивал затаенный смех. Катулл убеждал ее в чем-то, а она отрицательно покачивала головою.

— Взгляни, дорогой амфитрион, как влюбленный поэт соблазняет развратницу, которая прикидывается девственницей, — сказал Аттик, указывая на них глазами. — Клянусь Афродитой Пандемос, я не видывал такого бесстыдства даже в афинских диктерионах!..

Лукулл пожал плечами.

— Надеюсь, ты не считаешь моего дома одним из диктерионов, которые ты привык посещать? Атик вспыхнул, побледнел, растерялся.

— Клянусь Адонисом, я не хотел... Язык мой выговорил глупость, прежде чем разум успел остановить его...

Лукулл отвернулся и поспешил навстречу входившим гостям. Это были Преция и Цетег, молодые Антоний и Курион, оратор Квинт Гортензий Гортал — соперник Цицерона, ученые Марк Теренций Варрон, тучный, безбородый, и Публий Нигидий Фигул, муж бородатый, мрачный, сосредоточенный.

Атриенсис возгласил:

— Просим снять обувь!

Это означало, что гости могут занимать места за столом. Все бросились к пурпуровым ложам.

Блюда сменялись блюдами, — их было так много, что предусмотрительный хозяин приказал положить возле каждого прибора рвотный порошок.

После острой закуски, состоявшей из морских ежей, спондил, устриц, дроздов со спаржей, ракушек, морских жолудей, дичи, запеченной в муке и оленьего жаркого приступили к обеду. Сначала была подана свиная грудинка, вареные утки и чирки, жареные гуси, куры, цыплята, журавли, фригийские рябчики, самосские павлины, амбракийские ягнята, затем — пессинунтская рыба, халкедонские скумбрии, гадитанские мурены, родосские осетры, киликийские скаты и тарентские устрицы.

Атриум гудел от голосов, смех и восклицания нарушали говор.

После нескольких часов непрерывной еды мужи вставали и направлялись в комнату, где курились на треножниках благовония, чтобы принять порошок или сесть на золотой горшок, услужливо придвигаемый невольником; женщины быстро скрывались за занавесом, разделявшим комнату на две половины.

Звуки кифар и арф, резкий звон систров, хоровые песни юношей и девушек — все это заглушало голоса собеседников; а с потолка медленно сыпались лепестки роз, ложась на жареных павлинов и троянских свиней, на окорока, колбасы, рыб и десятки иных яств.

Когда началась пирушка и рабы, убрав со столов блюда, расставили кубки, усыпанные драгоценными камнями, и подали сыры, мед, пирожные, понтийское печенье, яблоки, груши, виноград, вишни, тазосские орехи, египетские финики и испанские желуди; когда вино полилось из амфор в фиалы, и атриум зашумел возбужденными голосами, провозглашавшими здравицы, — Лукулл обратился к Нигидию Фигулу и, указывая на сцену, где плясали в глубине раздвинувшейся стены полунагие девушки, сказал:

— Взгляни, мудрейший из мужей, на этих прелестниц и похвали их.

— Скажу словами Гомера:

«Легкость сверкающих ног замечал Одиссей и дивился...»⁵

— Прекрасно! — воскликнул Лукулл, — твоя ученость всем известна, а о чудесах, которые ты способен совершать, говорит весь Рим. Не скрой же от нас, что знаешь о гидромантии, леканомантии, предсказаниях и магии?

Нигидий Фигул усмехнулся:

— Я удивляюсь, что теперь, когда падает вера даже в богов, — пожал он плечами, — находятся римляне, которые верят способности магов вызывать дождь,

⁵ «Одиссея», VIII, 265.

град, грозу и засуху. По законам XII таблиц должно строго преследовать лжепророков и уличных предсказателей по Сйбиллиным книгам, а между тем толпы этих обманщиков пользуются легковерием плебеев и морочат им головы... Я не особенно доверяю чудесам тосканских гаруспиков и совершенно не верю фессалийским колдуньям, которые якобы могут посредством магических песен заставить луну сойти с неба. Но в астрологию, а отсюда — в предсказание будущего, верю... Верю также в Фатум, или предопределение. Даже пытался вместе с Варроном вызывать умерших... Но об этом после... Ты спрашиваешь, благородный Люций Лициний, о гидромантии и леканомантии? Ну, так слушай. Гидромантия — это ворожба на воде, способная вызвать изображение лиц богов... Я употреблял глиняный сосуд, опускал в него камень ампелит: блестящий, он, очевидно, придавал остроту зрению, и я однажды увидел Юпитера...

— Возможно ли? — вскричал с недоверием Лукреций Кар, возлежавший против Лукулла, и толкнул локтем Парфения.

— Леканомантия, — продолжал Нигидий Фигул, не обращая внимания на восклицание Лукреция, — это ворожба при помощи воды. Наполнив цистерну водой, я бросил туда золотые и серебряные дощечки, чашу, щит, лезвие меча, и вскоре появлялись предметы и фигуры, о которых я долго думал; я даже слышал ответы вызванных существ.

— Удивительно, — сказал Лукулл, задумавшись. — Но скажи, благородный мудрец, верно ли то, что утверждает Парфений? А говорит он, что Варрон, подобно персидским магам, употребляет зеркала, чтобы вызвать сон, а ты пользуешься заколдованными детьми.

— ...усыпленными, — поправил Нигидий Фигул.

— ...пусть усыпленными, — согласился Лукулл, — и их вопрошаешь о будущем...

— Это верно, Я спросил о судьбе Митридатской войны;..

Лукулл нахмурился, но тртчае же, улыбнувшись, воскликнул:

— Разве судьба ее не была известна Риму до моего возвращения из Азии? Ты напрасно потерял, благородный Публий Нигидий, дорогое время...

Фигул пожал плечами.

— Говорят, ты излечиваешь меланхолию при помощи музыки, — вмешался Лукреций, — но нашел ли ты средство против эпилепсии? Этой болезнью страдает Юлий Цезарь, и, говорят, врачи предписали ему есть собачье мясо, сваренное с разными травами, вином и миррой...

— Но эпилепсия — сумасшествие, — заметил Лукулл, — следовательно, Цезарь — сумасшедший...

Нигидий Фигул рассмеялся.

— Нет, он не сумасшедший, ибо не одержим ларвами... *поп est larvatus*, — повторил он, — но близок к помешательству, — и, омочив губы в чаше с вином, переменял разговор. — Будущее скрыто во тьме, и трудно предсказывать предначертанное Фортуною. Однако нам помогает астрология, и я, сблизившись с халдеями, вкусил от их премудрости. Я вынул гороскоп младенцу Октавию, племяннику Цезаря, и предсказал ему славную будущность...

— Ты назвал его императором! — вскричал Парфений.

— Так оно и будет, если лучи звезд не отвратятся от него.

Помолчали.

— Над чем ты теперь работаешь? — рассеянно спросил Лукулл, прислушиваясь к

откровенной беседе Катулла с Клодией.

— Пишу книгу о мудрости и учености халдеев.

— Увы! — вздохнул Лукреций. — Я не настолько учен, как ты, и потому люблю прославлять только доблестных мужей.

Гремели кроталлы, арфы, веселая греческая песня, нарастая, ширилась.

Лукулл встал с ложа и пошел между столов; он подходил к собеседникам, спрашивая, всем ли они довольны и не желают ли еще- чего-нибудь. Гости громко благодарили, восхваляя его за радушие, доброжелательство и дружбу.

Проходя мимо Катулла и Клодии, Лукулл остановился: красавица делала поэту знак языком и губами, но Катулл растерянно смотрел на нее, не понимая. Глаза его беспомощно мигали.

Лукулл с негодованием отвернулся.

XXVI

Помпей между тем гнал Митридата, совершая большие переходы, и, настигнув его на берегах Евфрата, завязал битву ночью. Увидев, что понтийцы дрогнули под яростным напором римлян, царь в отчаянии прорвался с несколькими сотнями воинов сквозь ряды неприятеля и погнал коня, стараясь уйти от бешеной погони. Но в пути отряд рассеялся, и Митридат скакал во главе нескольких человек рядом с своей смелой наложницей Гипсикратией. В широких персидских штанах и военном плаще, она, одетая по-мужски, мало была похожа на женщину: выдавали только смугло-розовые щеки, улыбка и черные маслянистые глаза. На привалах она ухаживала за царем и его лошадью, развлекала повелителя рассказами о жизни наложниц старого Тиграна. Но Митридат был не весел.

- В крепости Синорах, где он остановился ненадолго, царь дал приближенным яду — спасительное средство, чтобы не попасть в руки неприятеля.

— А теперь к Тиграну, — шепнул он, но Гипсикратия покачала головой. — Что? Ты сомневаешься в нем? Разве Тигран не друг и родственник?

— По слухам, царь, — осторожно вымолвила наложница, зная его вспыльчивость, — твоя голова оценена Тиграном в сто талантов...

Лицо Митридата исказилось.

— Кто говорит? — вскрикнул он, едва владея собою. — Назови имя, и я прикажу содрать со злодея шкуру и бросить его в раскаленную печь...

— Прежде чем ты это сделаешь, царь, пошли к Тиграну приближенного с просьбой о гостеприимстве...

Недолго ждал Митридат Ответа — слухи подтвердились: посланец, прибывший от Тиграна с отказом, был в ужасном состоянии: с отрезанными ушами и носом, с отрубленными руками, привязанный к лошади, Голодный, он долго не мог вымолвить ни слова. И наконец объявил страшную весть. Митридат захохотал.

— Боги, слышите? Ты, Зевс, и ты, Митра, испепелите вероломного царя, подлого клятвопреступника, связанного со мной узами родства! Да не будет ему покоя в жизни и после смерти, пусть злые духи терзают его днем и ночью, пусть жены изменят ему с его сыном, а наложницы — с рабами! И пусть кинжал сына погрузится в сердце отца и трижды повернется в нем! О Зевс, о Митра!..

Проклятья успокоили его — верил в их силу. Вышел из шатра и, вскочив на коня, крикнул:

— В путь!

Он решил бежать в Колхиду, а оттуда пробраться в Пантикапею.

«Новую, новую войну я начну с проклятым Римом... Подыму скифов, пэонцев и весь Восток, вторгнусь в Италию, подобно Аннибалу... А тогда...»

Он захохотал и стегнул коня бичом, оставив позади себя Гипсикретию.

Старый Тигран, потерпев несколько поражений, понял, что борьба с Римом немислима, если даже Митридат не в состоянии дать отпор железным легионам противника. Надеясь на милосердие римского полководца, он окончательно порвал с Митридатом и объявил, что спасение Армении зависит от перемирия с неприятелем. Молодой сын его был против решения отца, но царедворцы поддержали старика, и пришлось, скрепя сердце, покориться. Однако, желая предупредить события, молодой Тигран восстал против отца и послал гонцов к Помпею, приглашая его вступить в Армению. Он надеялся, что римлянин отнимет престол у старого царя и передаст ему, царевичу, но старик, вздумав предупредить его, сам выехал ночью в лагерь Помпея.

Войдя в шатер полководца, он увидел сына и — побледнел, Сорвав с головы своей китару, он нагнулся, чтобы положить ее к ногам Помпея и упасть перед ним на колени, но полководец приветливо взял его за руку и посадил рядом с собою, а царевичу указал место по другую сторону.

— Царь, клянусь богами, не я виноват в твоих несчастьях, а ты сам и Лукулл: ты поддерживал врага римлян Митридата, а Лукулл отнял у тебя Сирию, Финикию, Галатию и Софену... Если желаешь владеть этими землями — владей, но ты должен быть наказан за враждебные действия против Рима; поэтому заплати мне шесть тысяч талантов и передай трон Софены своему сыну.

— Да будет благословенно богами твое справедливое решение! — радостно вскричал старик.

На надменном лице Фавста Суллы мелькнула улыбка; он пригладил рукой непослушные вихры рыжих волос и, толкнув незаметно Помпея, указал глазами на царевича. Помпей пожал плечами и, поднявшись, вымолвил:

— Поздравляю тебя, Тигран, царем Армении, а тебя, царевич, повелителем Софены.

— Боги слышат твои слова, величайший полководец, — ответил старик, — и я молю их, чтоб они исполнили мои пожелания о награждении тебя и доблестных твоих легионов воем, что вы помыслите. А я сверх шести тысяч талантов, которые ты назначил, выдам твоим воинам по полумине, центурионам — по десяти мин, а военным трибунам по одному таланту...

— Объявляю тебя другом и союзником римского народа, — сказал Помпей и повернулся к Деметрию: — Позаботься, чтобы обед, на который я приглашаю царя и царевича, был вполне приличен их высокому положению...

Царевич встал, глаза его злобно сверкали.

— Благодарю тебя, римлянин, за кость, которую ты мне бросил, как собаке! — засмеялся он, не глядя на отца.

— Что? — вспыхнул Помпей. — Про какую кость лепечешь ты, глупый щенок?

— Про Софену. Царствуй в ней сам, а я поищу себе более справедливого судью.

Помпей побледнел.

— Взять его, связать... — выговорил он трясущимися губами. — Зорко стеречь... Он пойдет за моей колесницей во время триумфа... Слышишь, Фавст Корнелий Сулла?

Оставив легата своего Афравия поддерживать порядок в Армении, Помпей

двинулся на Кавказ. Легионы проходили по местам, памятным подвигами Язона и аргонавтов, жизнью Медеи... Разбив албанцев и иберийцев, он переправился через Кирн и вступил в Гирканию. Но не Гиркания соблазняла Помпея, — он мечтал о покорении Сирии и Аравии и о дальнейшем походе до Красного моря.

— Разве, воюя в Африке и Испании, я не дошел до Атлантического океана? Разве не могу достичь Тирканского моря? Я должен увидеть воды Красного моря и стать победителем на берегах Океана, окружающего всю землю.

Покоряя заветные земли, он послал гонца в Рим с напыщенным, хвастливым донесением.

«Гней Помпей Великий, император — сенату и римскому народу.

Милостью богов доблестные легионы совершили нечеловеческие подвиги и украсили бессмертными победами римское оружие, внушив ужас побежденным. В Талавре я захватил сокровища бежавшего Митридата, а в одной из крепостей — пергаменты с описанием способов приготовления ядов, а также непристойную любовную переписку царя с Монимой... Сирия, не имевшая законной царской династии, объявлена римской провинцией, Счастливая Аравия покорена, и город эремов Петра открыл нам свои ворота. Также покорена Иудея, и Аристокл, сдав Иерусалим, припал к нашим ногам, моля о пощаде. Только кучка изуверов, засев на крутой скале, где стоит храм, воздвигнутый иудейским царем Соломоном, защищалась три месяца. Узнав от соглядатаев, что в субботний день иудеям воспрещена всякая работа, я двинул войска на приступ и овладел святыней. Я не пощадил ни одного варвара из двенадцати тысяч: кто не пал от меча, тот попал в руки ликторов. Я вошел в святое святых, куда имеет право входить верховный жрец один только раз в год, и не тронул драгоценностей святыни. Должен упомянуть, что больше всех отличился при взятии Иерусалима сын великого диктатора Фавст Корнелий Сулла, который первым взошел на городскую стену — вечная слава храбрецам, достойным своих отцов!..

Но самое главное, чем могу порадовать Рим, заключается в радостном известии, привезенном гонцами с берегов Понта. Еще издали по копьям их, увитым лаврами, я узнал, что боги с нами: Митридат Звпатор, непримиримый враг наш, кончил жизнь самоубийством в Пантикапее, вследствие измены своего сына Фарнака.

Слава бессмертным! Враг, боровшийся с нами полвека, мертв!.. Теперь, когда рубеж римского государства про*,а ходит по ту сторону Низибиды; когда Тигран укрощен, а Фарнаку отдана часть Понтийского царства, расположенного на берегах Понта Эвкеинского и названа Боспорским царством, а другая часть обращена в римскую провинцию, — я могу окончательно закрепить мир на Востоке и способствовать процветанию городов, земель и благосостоянию народов, которые ликуют и восхваляют богов, получив таких честных, справедливых и могущественных владык».

Кончая эпистолу, Помпей едва сдерживал насмешливую улыбку: много лжи и самовосхваления было в его донесении, но так было лучше.

«Разве я не строю городов, не объявляю их свободными? — думал он, прохаживаясь по шатру. — Разве не решаю споров между ними и царями? Слава о моем могуществе, нравственных качествах и человеколюбии гремит по всей Азии... Но зачем я прикрываю алчность, насилие и разврат друзей? Не следовало ли бы обуздать их железной рукой, заставить стать римлянами?.. Ах, Деметрий, Деметрий! Что он делает!.. Не успел я еще вернуться в Италию, как он купил уже в Риме роскошные дома и лучшие места для прогулок... А вчера похваляйся, что нанял у

Красса садовников, чтобы к моему приезду были готовы «Деметриевы» сады... О боги! Он воспользовался моим увлечением и с лихвой получил плату... за тело своей жены...»

Кликнул Деметрия.

Вольноотпущенник вошел, пошатываясь, и, не дожидаясь приглашения, нагло разлегся на ложе.

— Я пришел. Что тебе, Великий? — спросил он пьяным голосом..

— Сейчас отправляется гонец в Рим, — оказал Помпей, плохо скрывая свое раздражение, — не пошлешь ли родным эпистолы?

Деметрий расхохотался.

— Родным? Скажи лучше — жене! Но теперь она едва ли будет спать с тобою... теперь...

Помпей побагровел.

— Молчи, — сдавленным топотом вымолвил он, — не доводи меня до бешенства...

— А ты щадил меня? Но я, раб, должен был подчиняться, теперь... Ну, не раб, а вольноотпущенник, — не всё ли равно? Ты взял у меня жену, а потом...

— Молчи, — повторил Помпей, едва сдерживаясь.

— Ты награл в городах сотни тысяч талантов, ты получил от Тиграна...

Лицо Помпея исказилось — бросился к ложу и ударил Деметрия по лицу с такой силой, что тот, обливаясь кровью, свалился на пол.

Вольноотпущенник лежал не шевелясь. Помпей растерянно смотрел на него. И вдруг хлопнул в ладоши.

— Отлить водой, — приказал он взбежавшим рабам, — отнести в шатер и позвать лекаря.

Через час врач, римский вольноотпущенник, доложил Помпею, что у Деметрия выбиты два передних зуба и глубоко рассечена губа.

— Ничего, — засмеялся Помпей, — зубы вставит в Риме, — золота у него много, а губа заживет.

XXVII

Если первый заговор против республики кончился неудачей и замешанных в нем мужей спае Красс, то вторая попытка, после тщательной подготовки, могла удасться. Так думал Цезарь, договариваясь, года два спустя, с Крассом. Теперь богач почти не хитрил и смело стал на его сторону.

В Риме считали, что мысли Красса сосредоточены на способах обогащения, однако золото и серебро были средством для достижения власти. Железное упорство; с которым Красс шел к цели, удивляло Цезаря: казалось, ничто не могло остановить богача: где бессильно было золото, там решали лести, хитрость и заманчивые обещания магистратур, а если и это не помогало — оставался удар кинжалом в темноте. Поэтому, когда Цезарь сообщил ему однажды, что Катилина готов выступить, глаза Красса засверкали:

— Пусть он станет во главе движения, — сказал он, — а мы будем руководить издали... Скажи ему, что средств на это дело я не жалел, не пожалею и впредь. Пусть он торопится, пока Помпей в Азии...

— А устоим ли мы против Помпея, если заговор удасться?

— Помпей опьянен на Востоке царскими почестями, и мы укротим его прежде, чем

он высадится в Италии. Но не это меня беспокоит, — боюсь выборов. Если консулами не изберут верных нам мужей, борьба станет трудной и опасной...

— Нужно поддержать Катилину...

— Верно ли, что на его знамени написана анархия? Цезарь пожал плечами:

— Он готов бороться за плебс и, борясь, опираться на него.

— Неужели он популярен?

— Он ратует за неимущих и положит за них голову на жертвенник Беллоны...

Хочешь увидеться с ним?..

Красс задумался.

— Сначала сам поговори с ним, а я появлюсь в нужную минуту...

«Хитрит, — подумал Цезарь, мельком взглянув на упитанное лицо сенатора, — но и я не дурак... Посмотрим, кто кого перехитрит».

Простившись с Крассом, он вышел на улицу. Было уже поздно — проходила третья стража. Рабы, освещавшие факелами дорогу, держали наготове мечи, опасаясь нападения из-за угла (случаи ночных убийств были нередки). Женщины избегали появляться по ночам на улицах, а мужи окружали себя вооруженной стражей.

Несколько домов на Палатине были еще освещены, и из одного из них доносились звуки кифар и флейт, разгульные песни женщин, пьяные голоса мужей.

Цезарь остановился: «Не зайти ли к Катилине? Если он пьян — незаметно уйду, а если трезв — узнаю его замыслы». И, оттолкнув раба, стоявшего у двери, заглянул в атриум. Амфитрион дремал на ложе, и Аврелия Орестилла, матрона с мужественным лицом и большими зеленоватыми глазами, пыталась разбудить его легкими ударами веера по голове.

«Завтра», — решил Цезарь и поспешно зашагал по улице.

Задумавшись, Цезарь полулежал в таблинуме. Светильни догорали, но он не замечал полусумрака, обволакивавшего предметы. Приказав рабам не беспокоить себя; он размышлял о Римской республике, потрясаемой борьбой сословий, и видел, что истинных аристократов уже не осталось, а все преимущества, которыми они пользовались, отошли в вечность; теперь каждый квирит мог добиваться любой магистратуры, «если он был богат, то и получить ее. Место прежних аристократов, заняли хищники, старавшиеся захватить доходы и сокровища республики. Что с того, что сыновья бедняков поступали на военную службу, обогащались в походах, а затем занимались торговлей, покупали себе виллу и рабов? Они не становились состоятельнее нескольких золотых мешков, подобных Крассу, но могли получить подряды на общественные работы или военные поставки, переселиться в провинции, добиться в Риме трибуната, эдилата или квестуры. А против них стояли пролетарии — нищие, обреченные на скудную помощь республики: одни продавали голоса, другие становились клиентами, иные — соглядатаями, работавшими на аристократов и демократов. Подкуп и раздача милостыни праздной толпе стали законом: от власти грубых и скупых волопущенников-ростовщиков зависели плебей, торговец и сенатор, и можно ли было оздоровить общество, влить в его жилы свежую кровь, примирить сословия, когда зажиточные фамилии переходили на сторону аристократии, а популяры искали точек опоры в среде италийского плебса и мелких торговцев?»

Он видел закат республики уже при Цинне, а когда пришел Сулла, страшный распад охватил государство и перевернул жизнь. Борьба кредиторов и заимодавцев увеличила число недовольных, и Катилина кричал: «Аграрный закон, уничтожение долгов, отнятие у полководцев награбленной добычи, помощь охлосу хотя бы путем

насилия!..» А оптиматы совещались о государственном перевороте и полном захвате власти: учреждение олигархии казалось единственным выходом из положения. Светильни потухли, но Цезарь не замечал темноты. — Красс будет добиваться избрания консулов, которые нас поддержат, — шептал он, — из сем<и кандидатов я твердо уверен в Гибриде потому, что он запутался в долгах и заложил имения...

«А популярь Цицерон хитрит, обещая поддержку Катилине и готовясь перебежать к аристократам. И, если он изменит нам, аристократы напрягут все силы, чтобы поддержать своего сторонника... Но — слава богам! — у нас есть Красс, муж хитроумный и всесильный, который обещает бросить на форум всех своих клиентов, вольноотпущенников и разорившихся откупщиков; есть у нас также Лабие и Рулл, которые бредят трибуналом...»

Встал, и лишь теперь обнаружил, что в таблиуме темно. Хлопнул в ладоши, — вошел раб и зажег светильню.

— Убери свиток пергамента, — приказал Цезарь, — а я прилягу. Разбуди меня чуть свет.

— Господин, до рассвета остался, только один час.

— Хорошо. Сделаешь, как сказано. И Цезарь направился в кубикулум.

XXVIII

Шли месяцы. Как рассчитывал Цезарь, так и случилось — Цицерон перешел на сторону аристократов, а Каталина, кандидат популяров, добивавшийся консульства, не был избран. Консулат получили Цицерон и Антоний Гибрида.

Неудача не сломила упорства Цезаря и Красса.

«Остаются народные трибуны, — думал Цезарь, наблюдая за волнениями в Риме, — и, если власть будет наша, попытаемся опрокинуть олигархию».

Избрание Рулла и Лабиена было толчком для ротаций.

Публий Сервий Рулл появлялся на форуме как беднейший пролетарий; босиком, с нечесанными волосами, растрепанной бородой и в грязных лохмотьях, он произносил зажигательные речи, упоминая, что со времени диктатуры Суллы никто не смел говорить об аграрном законе.

— Квириды, — кричал он, надрываясь, — кровавые времена прошли, и не пора ли беднякам получить, наконец, то, чего они были безбожно и незаконно лишены? Цицерон предлагает нам, народным трибунам, свою помощь, но можем ли мы принять ее от мужа, который был с нами и перебежал из-за личной выгоды в лагерь аристократов? Нет, квириды! Мы отказались от поддержки человека, не понимающего, что будущее в руках народа, а не презренной кучки оптиматов.

И он прочитал закон, устанавливавший избрание децемвиров семнадцатью трибами, сроком на пять лет, с чрезвычайной властью.

— Эти мужи, ни в чем не зависящие от народных трибунов, смогут продавать в Италии и за ее пределами виллы, попавшие в число общественных земель с 666 года от основания Рима и утвержденные к продаже сенатом в 675 году; они составят опись добычи всех полководцев, кроме Помпея, которому мы доверяем, потому что он популярь; они потребуют возвращения захваченных богатств, чтобы приобрести земли для беднейших квиритов...

Народ рукоплескал. Аристократы поглядывали на сухощавого длинноносого Цицерона, который, опустив голову, ехидно улыбался.

«Конечно, Рулл подкуплен Крассом, — думал Цицерон, — и стоит только пройти аграрному закону, как децемвиры, в число которых попадут несомненно Красс и Цезарь, возбудят вопрос об Египте: имущество Птолемеев, завещанное Александром II вместе с Египтом, стало после 666 года частной собственностью, следовательно; это имущество нужно взять, а чтобы взять, следует объявить войну Египту. Красс умен. Народ тем более поддержит его, если он пообещает купить земли для плебса».

Цицерон видел, что его сторонники испуганы: нобили боялись децемвирата, который считали скрытой диктатурой популяров; полководцы — посягательств на богатства, захваченные в недавних войнах, а публиканы, взявшие на откуп общественные земли в Вифинии и Понте, — продажи их.

Еще накануне были распущены слухи, что аграрный закон уничтожит государственную и частную собственность — и все общественные земли Эллады и Азии, завоеванные Суллой после 666 года, и имения, отнятые у проскриптов. И всадники, во главе с Атикком, требовали от сената принять решительные меры.

Выступил Цицерон — он произнес две блестящие речи «Об аграрном законе», восхваляя Гракхов и превознося их земельные законы, но тут же заявил, что несвоевременная рогация Рулла только ухудшит положение бедняков.

Напрасно Красс и Цезарь разжигали страсти подкупом, угрозами, обещаниями благ, а народный трибун Лабиен, горой стоявший за Цезаря, обвинил старого сенатора Рабирия, тридцать семь лет назад осудившего Сатурнина без провокации, — всё было напрасно: Рабирия защитил Цицерон, а отмена долгов не прошла.

XXIX

Пользуясь огромной популярностью среди недовольных, вождь угнетенной голи, как величали Катилину его враги, имел сторонников не только в столице, но и во многих муниципиях: ветераны и колонисты Суллы, во главе с Гаем Манлием, обнищавшая знать, к которой примкнули Публий Лентул Сура, Гай Цетег, и, наконец, толпы голодных пролетариев, готовых на всё, лишь бы сбросить со своих плеч вековые унижения и нищету.

С обеих сторон ненависть переходила в едва сдерживаемую ярость. Катилина возбуждал толпы пролетариев, а оптиматы кричали на форуме, что республике угрожает заговор промотавшихся гуляк, и шопотом называли имя Красса, поддерживавшего их деньгами.

Катилина совещался с Цезарем и Крассом.

— Подлая собака Цицерон угрожает мне судом, — говорил он, бегая по атриуму, — но я — клянусь Олимпом! — разрушу замыслы этого шута, лизоблюда и льстеца!

— Не доверяй Целию и Квинту Курию, — сказал Красс. — Фульвия, любовница Курия, часто видится с Цицероном, а твои речи известны всему Риму. Зачем ты сказал избирателям: «Несчастливые не могут рассчитывать на богатых для улучшения своей участи»? Зачем Манлий смеялся над рогацией о долгах, говоря, что «должники могут освободиться только при помощи мечей»? Вошли Гай Манлий и Сальвий.

— Вот они, надежда угнетенных! — вскричал Катилина, подбегая к ним и пожимая руки. — Как дела, коллеги? Готовы ли жители Транспаданской Галлии нас поддержать? А ремесленники Рима? Хорошо, я так и думал. Оставайтесь же в Риме до выборов.

— Вождь, со мной приехала моя любимая жена, — возвестил Сальвий, — и она

сумеет склонить жен знатных плебеев на нашу сторону.

— А мы не пожалеем своих голов для блага республики, — оказал Катилина. — Только военная диктатура способна установить порядок в Риме!

— У нас есть мечи, — подхватил Манлий, — есть копья, сила в мышцах и мужество в сердцах. И, если мы дружно ударим, сам Марс содрогнется на ложе Венеры!..

Он засмеялся и прибавил:

— Цицерон стремится помирить всадников с сенатом. Он распространяет слухи, обвиняя нас в заговоре против республики. Но, если этот длинный гадкий червь начнет нам вредить действиями, мы безжалостно растопчем его...

Августовские выборы кончились/неудачей для Каталины. Консульство получили Люций Лициний Мурена и Децим Юний Силан. Цезарь был избран претором, а Метелл и Катон — трибунами.

Катилина был взбешен неуспехом. Посылая в Этрурию Манлия и Сальвия, он говорил:

— Увеличьте войско отверженными людьми, призовите под наши знамена беглых рабов и ждите моей эпистолы. Да помогут вам боги!

А Цицерон, не имея доказательств виновности Каталины и желая ладить с народом, не знал, что делать. Аристократы требовали ввести военное положение, а он колебался.

Прошло два месяца, и Цицерон, побуждаемый нобилями, вынужден был созвать сенат.

— Знаю все, — говорил он, и, хотя утверждал, что имеет доказательства виновности Каталины, — это была ложь: он действовал на основании слухов и сведений, доставляемых Фульвией, любовницей Курия. Но можно ли было верить легкомысленной женщине, которая заявляла, что Катилина замышляет убийство сенаторов?

Объявление военного положения вызвало волнения в Риме. Граждане ожидали, что консул призовет к оружию сенаторов и всадников, как это было во времена Гракхов и Сатурнина, но этого не случилось: не те были времена и нравы!

В городе были расставлены караулы, и Катилина, вызванный консулом оправдаться, отвечал дерзко, высокомерно и насмешливо. Одни сенаторы утверждали, что Цицерон солгал, чтобы возвыситься; другие — что он опасался принять чрезвычайные меры по праву консула, боясь навлечь на себя ненависть черни. А Красса и Цезаря почти не было видно: привыкшие действовать исподтишка, они притаились, выжидая, готовые вмешаться, если успех будет на стороне заговорщиков.

XXX

Ночью, после третьей стражи, Цезарь постучал в дверь дома Красса и приказал рабу тотчас же разбудить господина.

— Важные вести, — оказал он, переступая порог таблинума: — Манлий взялся за оружие. Фезулы восстали... Сенат постановил отправить легионы в Пиценум, Этрурию и Кампанию. Друзья отвернулись от Катилины. Цицерон находится в нерешительности, хотя ему известно, что Катилина приказал поднять всю Италию и убить консула.

Красс, протирая заспанные глаза, молчал.

— Твой совет? — наконец вымолвил он.

— Ты, конечно, был на вчерашнем заседании сената, — сказал Цезарь, избегая ответа на заданный вопрос, — и слышал великолепную речь Цицерона против Катилины. Она была образцом ораторского искусства, и я хочу припомнить ее слово в слово, потому что боги одарили меня острой памятью... — И он стал говорить: — «Точно наяву встает передо мной наша столица, краса вселенной, защита народов, встает истребленная вспыхнувшим морем огня; мне грезятся груды непогребенных трупов ее несчастных граждан, лежащих на могиле своей родины, чудится зверское лицо Цетега, ценой вашей крови торжествующего свою победу; а когда я представляю себе Лентула в царских одеждах, Лентула, надеявшегося, по собственному признанию, достичь верховной власти, негодяя Габиния, одетого в пурпуровую мантию, и Катилину, приближающегося во главе своих полчищ, — ужас объемлет меня при мысли о рыданиях матерей семейств, бегстве девушек и мальчиков, наглom оскорблении весталок...»

— Довольно, — прервал Красс. — Дальше ты, конечно, повторишь слова Катилины: «В государстве есть два тела: одно — слабое, с бессильной головой, а другое сильное, но без головы. И, если второе меня поддержит, оно не останется без головы». Зачем мы говорим об этом? Я знаю, что Катилина, оскорбляя Цицерона и угрожая ему, удалился из курии и вечером уехал из Рима с многочисленными приверженцами. Известно мне также, что он отправился в Этрурию... К счастью, многие сенаторы утверждают, что Цицерон оклеветал *его*... Поэтому умерь свои речи и дай ответ на мой вопрос.

— Ты спрашиваешь, что делать? Отречься от Кати — Красс побагровел, вскочил, забегал по таблинуму. — Отречься, отречься? — шептал он, не веря своим ушам. — Но это... понимаешь?.. Это демагогия... Римлянин ли ты?.. Нет, римлянин не может так сказать. Цезарь нагло захохотал. — А может сенатор стать негоциатором, поджигать дома, захватывать виллы у дев Весты, а самих дев заживо замуровывать в гробах?

— Я не хочу подражать продажному Целию, ученику Цицерона: предательством,, я еще не запятнал себя, а ты... ты советуешь...

— Не хитри, прошу тебя, Марк Лициний! Разве ты не передал Цицерону нескольких подметных эпистол, уличающих Катилину?..

— Это была хитрость с моей стороны... Цицерон — великий соглядатай..

— Мы должны отречься от Катилины, чтобы спастись... Иначе погибнем. Катилина обречен, его сброд будет уничтожен, а сторонники несомненно попадутся и выдадут нас...

Красс презрительно усмехнулся:

— Ну, сторонники! — вымолвил он, пожав плечами.

— Ты, я вижу, не знаешь распоряжений Катилины! Восстание плебса и рабов в столице, поджоги зданий и домов, когда он подойдет к Риму, убийство Цицерона...

— Ха-ха-ха! Неужели ты веришь этим слухам?.. Месяц спустя Цезарь опять шептался с Крассом:

— Они погубили себя, подумай, Марк Лициний! Они обратились за помощью к послам аллоброгов, злоумышляя против отечества! Но варвары оказались честнее Лентула и Цетега и донесли на них сенату...

— Знаю, — кивнул Красс. — Рим в ужасе, народ ищет помощи у аристократов, и вожди популяров потеряют вскоре сторонников... А ты, Цезарь, еще не перебежал к олигархам, по примеру Цицерона?

Цезарь нахмурился.

— Аристократы ненавидят меня, — сказал он, — и стараются уничтожить; они пытались вырвать у заговорщиков признание, что и я замешан в этом деле, а некто даже заявил в сенате, что ты, Красс, был душою заговора...

— Ха-ха-ха! Меня не посмеют обвинить, не посмеют тронуть...

— Что же Цицерон?

— Теперь он не будет молчать! — вскричал Красс — Иначе обвинение обратится против него...

XXXI

Муж неискренний, хитрый, честолюбивый, демагог по натуре и государственным соображениям, Цезарь любил выказывать бесстрашие и готовность жертвовать своей жизнью ради благополучия и спасения друзей, но редко кто догадывался, что это - была - лазейка к влиянию на плебс.

Отрекшись с Крассом от Катилины, когда тот должен был идти на Рим; возмущая по пути рабов и пролетариев, Цезарь шел по форуму среди взволнованной толпы, встречаемый рукоплесканиями, — решил защититься сторонников Катилины.

В курии он сурово осуждал преступников и требовал не смертной казни, которую предложил Силан, а вечного Заключение в одной из муниципий.

— Смертная казнь, — говорил он, — является мерой противозаконной и опасной; нужно обезвредить злоумышленников, а для этого достаточно тюрьмы. Когда мир будет восстановлен, отцы государства решат, как поступить с преступниками.

Его речь поколебала многих сенаторов. Сам Цицерон готов был присоединиться к мнению Цезаря. Но, когда выступил Катон с настоятельным требованием смерти, казнь была утверждена.

Весь вечер Цезарь волновался, ожидая народных трибуной. Они должны были известить его о действиях Цицерона.

Лишь поздно ночью явился запыхавшийся Лабие и возвестил: — «Они жили», — так сказал Цицерон.

Это означало, что приговор приведен в исполнение.

Лабие рассказывал о том, как Цицерона сопровождали аристократы до самой Мамертинской тюрьмы, как приказано было палачам задушить мятежников и как жены нобилей и всадников светили из дверей и с крыш домов мрачному -шествию исполнителей закона и порядка. Но Цезарь не слушал.

«Катилина мог бы опрокинуть сенат и установить власть военной диктатуры, — думал он, — но Италия едва ли поддержит его: восстания всем надоели. А мирным путем такие дела не решаются. Охлос мог бы перебить аристократов и освободить узников, а между тем не посмел. Неподготовленность пролетариев решила исход борьбы в столице. А победить вне Рима Катилина не сможет. И, когда он проиграет, всадники отвернутся окончательно от популяров...

XXXII

С замираньем сердца следил Сальвий за движением войск Манлия. Окрестное население приветствовало свободоносные легионы, продвигавшиеся к Риму, снабжая их одеждой и продовольствием. А когда прибыл Катилина и с дикой решимостью объявил, что он скорее погибнет, чем отступит, перед войсками преступных олигархов, — Сальвий упросил Манлия, чтобы тот разрешил присоединиться к нему

со своей турмой.

Прощаясь с Лицинией, переехавшей в Фезулы, где она вербовала беглых рабынь в свой отряд, Сальвий сказал:....

— Слушай, жена! В случае победы оставайся на месте, не подпускай разбитые части противника укрыться, за городскими стенами. Если же Марс нанесет нам удар, распусти женщин и отправляйся в Рим.

— В Риме нет у меня никого...

— В Риме есть популяры. Обратись к Юлию Цезарю...

— К Цезарю?!

В голосе ее послышалось сомнение, и Сальвий, задумавшись, опустил голову: «Она слышала о Цезаре от меня и Манлия, но Цезарь — популярен. Лучше обратиться к нему, чем к Цицерону или Катону...»

— Да, жена, к Цезарю. Он борется за плебс.

Присоединившись к легионам Катилины, Сальвий подошел к Пистории в то время, когда Петрей готовился дать бой мятежникам, Катилина, и Манлий объезжали выстроенные легионы при радостных криках воинов. Остановив коня, Катилина воскликнул:

— Воины, час битвы, наступил. Разбейте легионы нобилей, рассейте их, как пыль, как песок, и я отдам вам Рим с его богатствами, дома жадных негоциаторов, оптиматов и публиканов, чтобы вы стали людьми! Разве мы скот, каким они нас считают? Пусть Юпитер Статор поможет тому, на чьей стороне справедливость, и пусть Марс Минерва, Беллона и все боги будут с нами!..

— Да здравствует вождь!

— Воины, перебежчики доносят, что легионами управляет Петрей, легат Антония Гибриды, подлый согдыатай, приставленный сенатом следить за действиями нашего друга, единомышленника и вождя легионов...

Убейте Петрея в начале боя, и легионы перейдут на вашу сторону...

— Убьем, убьем! — загремели голоса воинов. Катилина отъехал, взмахнув мечом. Заиграли трубы, и легионы, на крылах которых находилась этрусская конница, двинулись вперед. Но Петрей, сосредоточив на правом крыле своего войска мощную конницу охватил левое крыло Катилины и обрушился всей пехотой на его легионы.

Среди замешательства, криков и бегства послышался твердый голос Манлия:

— Воины, враг отступает! Вперед!

Это была хитрость, примененная Манлием, чтобы вернуть разбегавшихся воинов. Действительно, многие возвращались и тотчас же бросались в бой.

Манлий видел: правое крыло смято, центр едва держится, только на левом крыле доблестно сражаются воины, и впереди них — Катилина с Аврелией Орестиллой, верной своей подругой.

Решил ввести в бой конный отряд Сальвия, находившийся в засаде за холмом. Храбро налетели конники на рижскую турму и, отбросив ее, погнались к центру, противника. Сальвий мчался, впереди, яростно срубая мечом головы, ободряя воинов громкими кличами.

Вдруг лошадь под ним споткнулась, упала на всем скаку на передние ноги. Сальвий не удержался и, перелетев через ее голову, грохнулся в запорошенную снегом лужу.

Вскочил, бросился к лошади. Пронзенная копьем в живот, она лежала издыхая: тяжелый хрип, мутные глаза, пена на ощеренных зубах.

«Кончено», — подумал Сальвий и побежал к легионам. Но его увидели неприятельские всадники и помчались, понукая коней.

«Настигнут... убьют... Погибну без пользы...»

Ближе и ближе всадники. Но разве можно устоять одному, сбить их с коней? Лег плашмя на землю, приготовил копьё и длинный охотничий нож.

Лошади замедлили бег.

— Сдавайся, бунтовщик!

Не ответил.

Всадник наехал на него. Лошадь, увидев человека, взвилась на дыбы; Сальвий прыгнул; как зверь, и быстрым ударом, ножа распорол ей брюхо. И тут же пронзил всадника копьём.

— О горе! Он поразил декуриона! — зазвенел юношеский голос, и молодой всадник, стегнув коня, стал объезжать Сальвия. — Сдавайся, злодей! — кричал он. — Сдавайся!

Сальвий метнул в него копьё. Юноша пошатнулся (воплъ вырвался из его груди) и свалился с коня. Всадники мчались к нему на помощь. Не теряя времени, Сальвий ухватил лошадь под уздцы, вскочил на нее и направился к легионам Катилины.

Слышал позади топот погони, но не боялся, — знал, что уйдет, и, сжимая в руке длинный нож, думал, где раздобыть себе еще меч и копьё.

Он попал в гущу рукопашного боя. С обеих сторон войны резались с остервенением. Манлий, окруженный врагами, рубился с диким мужеством, а его воины гибли, но не сдавались.

— О боги, спасите вождя, о боги, боги, — шептал Сальвий, пробиваясь к левому крылу; центра и правого крыла уже не существовало, — всюду шла жестокая бойня. Катилина бешено защищал пораженную в грудь Аврелию Орестиллу. Бледная, окровавленная, она повисла на его руке, а его меч отражал удары, рубил, повергая воинов на землю.

Сальвий подоспел к нему на помощь.

— Вождь, держись! Мы не отдадим госпожи подлым разбойникам!..

Лицо Катилины просветлело.

— Друг Сальвий, поддержи ее... Я должен отомстить...

Меч Катилины сверкал с такой быстротой, что Сальвию, отбивавшему удары легионариев, казалось, что сверкает серебряная молния. А впереди срубленные головы, отсеченные руки, пронзенные тела громоздились в обгавленную кровью кучу, вступая на которую воины гибли.

Катилина подбежал к Сильвию.

— Аврелий? — шепнул он.

Но она уже не дышала, и Сальвий, отражая удары, увидел побледневшее лицо вождя. Мгновение Катилина смотрел на Орестиллу тяжелым взглядом.

— Конец жизни! — воскликнул он и бросился в гущу напиравших на него легионариев. Рубился яростно, с отчаянием, удесятерившим силы, и воины, закаленные в боях, отступали, думая, что в тело этого патриция вселился Марс, а душа преисполнена доблести Геркулеса.

Катилина пал, пораженный копьями, изрубленный мечами.

Сальвий, пробиваясь сквозь неприятельские ряды, видел, что спасения нет, всюду яростные лица легионариев; обгавленные кровью мечи, всюду жестокая сеча. Внезапно он упал ничком на трупы, решив притвориться мертвым. Кучка рабов, окруженная со

всех сторон, рублилась с мужеством отчаяния.

Сумерки сгущались. В отдалении труба играла сбор легионов. Поле опустело. Наступала ночь.

Сальвий лежал, не шевелясь. Суеверный, он с ужасом наблюдал за тенями, пробиравшимися между трупов. Сначала он думал, что это злые духи, затем решил, что это собаки или волки, вышедшие на добычу, и, когда тени приблизились, он тихо вынул охотничий нож.

«Не псы и не волки, а воры», — шевельнулась мысль, и он, вглядываясь, видел, как люди грабили мертвецов.

Шепот, похожий на шорох, стлался по полю: воры перекликались.

Сальвий не заметил, как сзади подкрался к нему человек. Замер, увидев бородатое лицо, тусклые глаза. Вскочил и ударил. Выдернув охотничий, нож из шеи злодея, Сальвий притаился. А потом, двигаясь ползком за грабителями, он настигал их и безжалостно убивал.

XXXIII

Спустя несколько недель зимою Рим взволнованно зашумел; Цезарь, возвращавшийся от Красса, знал о поражении и смерти Катилины; в его ушах звенели слова Красса, в которых слышалось запоздалое раскаяние: «Жаль его, Цезарь! Доблестный был муж!» — «Ты не пошел бы с ним до конца, потому что победа охлоса лишила бы тебя богатств...» — «Так же, как тебя, потомок Венеры, надежды на верховную власть», — пошутил Красс, не подозревая, что своими словами задел сокровенную тайну Цезаря.

Рассеянно шел узенькими улицами, запорошенными ночным инеем, и думал: «Теперь Катон постарается раздавить популяров, Красс не пойдет с нами, останусь один я».

Он решил образовать боевой отряд охлоса, привлечь на свою сторону ремесленников, лавочников, разносчиков, нищих, преступников, вольноотпущенников, клиентов, рабов со всех концов Италии, и на другой день принялся за дело. Ему помогали Лабие и Рулл. Объединяя в коллегии каменщиков, горшечников, ткачей, сапожников, сукновалов, поваров, садовников, флейтистов, Цезарь посылал к ним своих людей, вооружал толпы недовольных, но сам не появлялся среди них. Он был осторожен, думая, что предстоящая борьба завершится осуществлением его замыслов.

Вызвав Лабие и Рулла, он сказал:

— Нужно иметь соглядатаев во всех слоях общества, знать каждый шаг сенатора и всадника, их жен, сыновей и дочерей..., Примите меры, и привлечите... (он замаялся, подумал, тряхнул головою)... наемных убийц... Следите за продажей голосов в комициях, за воровством магистратов, за развратом матрон...

к сам, не мешкая, предложил народному трибуну, своему стороннику, внести предложение о вызове в Италию Помпея с его войсками.

— Квириты, — надрывно вопил народный трибун, — мы зависим от кучки нобилей, которые издеваются над нами! Мы не можем быть спокойны в завтрашнем дне} Мы должны оградить римских граждан от незаконных казней! Все вы знаете, как были осуждены катилинианцы! Пусть же возвратится Помпей для охраны Рима от внутреннего врага!..

Обсуждение закона в комициях проходило бурно. Народ неистовствовал, проклиная нобилей, призывая кары богов на их головы. Испуганные аристократы,

поглядывая с надеждой на народного трибуна Катона, ждали от него помощи. И, действительно, выступивший Катон наложил па закон veto.

Крики бешенства потрясли форум.

— Квириты! — закричал Цезарь. — Тиберий Гракх повелел народного трибуна, продавшегося нобилиям, силою стащить с ораторских подмостков. А чем Катон лучше Октавии? Это враг! Гоните его прочь.

Загремели крики, полетели камни.

— Бейте его!

— Прочь! Прочь!

— Предатель!

Катон бежал, а за ним бросились врассыпную аристократы.

Цезарь торжествовал, но недолго. Вскоре нобили появились во главе клиентов и вольноотпущенников. Их было так много, что о сопротивлении нечего было и думать.

— Квириты, голосование сорвано, — возгласил Цезарь, — и мы, не желая кровопролития, оставляем на совести отцов государства это страшное беззаконие, оскорбляющее богов насилием! — И, лицемерно воздев руки, прибавил, устремив глаза на Капитолий: — Было ли у нас в республике такое издевательство над плебсом?..

Выступил народный трибун:

— Квириты! Удаляясь из Рима за помощью к Помпею Великому, я призываю месть злых божеств на головы наших врагов! Лучше иметь дело с дикими варварами, чем с проклятым богами римским сенатом!

Яростные крики, грубые оскорбления.

— Квириты, — завопил Катон, — мужи, способствующие беспорядкам в столице, не могут заслуживать доверия сенатами я предлагаю отрешить Цезаря от должности...

Цезарь обратился к разъяренной толпе:

— Слышите, квириты, речи вашего врага? Он ненавидит нас, популяров, и старается уничтожить. Взгляните на этого, глупца, который, подражая простоте нравов древности, ходит босиком, не носит туники, а ночью напивается! Хитрый лицемер! Чего он хочет? Верный пес оптиматов, он охраняет их и готов искушать честных граждан!

Сенаторы зашумели.

Цезарь движением руки подозвал Лабиена;

— Подними плебс, двинь против нобилей!..

Толпа еще больше заволновалась. Цезарь оглядел ряды разъяренных людей, и легкая улыбка приподняла уголки его губ.

— Не позволим трогать Цезаря! — зашумели голоса. — Долой, Катона, долой Катула, долой нобилей!

Шум нарастал. Крики переходили в визг, в грохот: топали ноги по каменным плитам, летели камни в аристократов. Толпа надвигалась, злобная, угрожающая. Цезарь видел искаженные лица, ощеренные зубы, поднятые палки.

— Не дадим в обиду Цезаря!

— Да здравствует вождь популяров!

Выступил Катон. Черные глаза его сверкали ненавистью.

— Квириты! Предложение об отрешении Цезаря беру обратно. Ратуя за плебс и желая спокойствия в республике, я, народный трибун, а не предатель, как кричит Цезарь, внесу в сенат предложение увеличить раздачи хлеба народу и пополнить списки новыми лицами, нуждающимися в хлебе!.. И отцы государства удовлетворят,

без сомнения, мое предложение, ибо сенат радеет больше, квириды, о ваших нуждах, чем Юлий Цезарь, который много обещает, а дать вам что-нибудь не в силах!

XXXIV

Рим волновался, ожидая возвращения Помпея. Сенат был в ужасе, опасаясь, что новый римский царь, как величали Помпея на Востоке, не распустит легионов, а, опираясь на них, пойдет на Рим, чтобы провозгласить себя диктатором. Популярны смущенно спрашивали друг друга, что будет с республикой, если их вождь посягнёт на её целостность. Только Цезарь был спокоен.

«Если Помпей не сделает этого, — думал он, — сделаю я... Медлительность и нерешительность губят мужей, облеченных властью... А так как Помпей не обладает упорством Красса и твердостью Лукулла, то ему, изнеженному азийскому царьку, не быть римским властелином...»

Честолюбие Помпея, казалось, было удовлетворено, — добившись могущества и власти, он думал с презрением о римской демагогии, а интриги Красса и прелюбодеяние Муции вызывали в нем отвращение. Побывав на Родосе, чтобы побеседовать с историком-философом Посейдонием, Помпей возвратился в Эфес, где его ожидали войска и корабли.

Покидая Азию в середине года, он щедро вознаграждал легионариюв, выдав каждому по шести тысяч сестерциев, трибунам — почти вдвое, а военачальникам — по два с половиной миллиона.

Остановившись в Афинах, он слушал софистов и философов и обдумывал, как поступить с Муцией.

«Послать ей разводную или закрыть глаза на ее измену? Ведь она мать моих детей, и было бы нехорошо прогнать ее... Но весь Рим, говорят, насмехается над ней и ее любовниками... Нет, пошлю разводную и вновь женюсь, чтобы упрочить мир с аристократией».

Высадившись в Брундизии с легионами, Помпей тотчас же распустил их, взяв с воинов обещание, что они будут участвовать в его триумфе, и поехал в сопровождении друзей по Via Appia, направляясь в Рим. Была зима, конец декабря. В полях белели узенькие полоски снега, но солнце пригревало, и они таяли, образуя небольшие лужицы. Лошади путников были забрызганы грязью до самого брюха.

Дорогою Помпей узнал о волнении римского общества, оскорбленного святотатством женоподобного Клодия, любовника Помпей, супруги Цезаря: бесстыдный и развращенный, соблазнитель своих сестер, он пробрался в дом, Цезаря, переодевшись в женскую одежду, когда матроны собирались праздновать мистерии в честь *Vona dea*,⁶ был узнан рабыней и изгнан с позором.

Слушая рассказ Деметрия, Помпей посмеивался. Однако, сопоставление измены Муции с изменой Помпей вызвало в глубине сердца стыд и гнев. «Развратные самки, — думал он, стегая бичом коня, — им мало супругов и они ищут, любовников, чтобы удовлетворять свою постыдную похоть... Неужели правда, как утверждает Деметрий, что Муцию испортила Клодия в своём саду на берегу Тибра, где она наблюдает исподтишка за молодыми купальщиками? Пусть поглотит Тартар неверных жен!»

Прибыв в Рим, Помпей делал вид, что колеблется, на чью сторону, и на

⁶ Добрая богиня.

предложения популяров и аристана тов.отвечал двусмысленно. Но всем было понятно, что он благоволит к аристократии. Он виделся с Цезарем, собиравшимся в Испанию дальнюю, чтобы грабежами поправить свои дела, и хлопотавшим через Крссса перед кредиторами, которые не желали, отпустить его из Италии.

— Нобили мстят мне, — говорил Цезарь Помпею, — они научили кредиторов представить ко взысканию мои неоплаченные синграфы. Мне грозят Печальные календы;⁷ я видел связки синграф, загромождавших столы в базилике ^видел,, как сcribes трудились над начислением процентов...

— Публиканы, не выпустят тебя, — вздохнул Помпей, не подозревая, что Красс обещал поручиться за четвертую часть долга Цезаря, т. е. за восемьсот тридцать, талантов.

— Посмотрим, — пожал плечами Цезарь. — Но меня удерживает не это. Ты, конечно, слышал' о, подозрении, возведенном на мою жену... Клодий привлечен к суду...

— Он будет осужден! — вскричал Помпей. — Пора наконец обуздать развратную молодежь!

— Боги одни ведают, чем кончится это дело. Плебс взял Клодия под свою защиту. А я развелся с Помпеей, не желая, чтобы заподозренная жена делила со мной ложе.

Помпей с удивлением взглянул на него.

— Разве вина ее не доказана? Разве Клодий не пытался привлечь на свою сторону Цицерона, соблазняя его своей сестрой, женой Целера? Цицерон колебался — Клодия ему нравилась, но сварливая Теренция, желая отомстить, требует, чтобы он выступил против Клодия. И я уверен, что развратник будет осужден.

Цезарь равнодушно пожал плечами.

— Хотя ты находился в Азии, — осторожно начал он, — ты, конечно, слышал, что аристократы умертвили в тюрьме каталинианцев. Плебс никогда не простит Цицерону этого убийства и, если ты увидишься с оратором; передай ему, чтобы он поостерёгся раздражать плебс своими выступлениями.

— Цицерон — муж древнеримской доблести добродетели.

Цезарь рассмеялся.

— Его добродетель подтверждается соглашением с Антонием, которого бьют дарданцы и который не присылает ни асса...

— Чего ты хочешь? — удивился Помпей. — Всякий муж не гнушается приношениями, да и, ты, Цезарь, не отказался бы от серебра и золота...

— Ха-ха-ха! «Отец отечества» не есть ли «человек, который все знает»? — издевайся Цезарь. — Плебс кричит, что суд над Цетегом и иными гражданами не был судом, а простым убийством. Где провокации осужденных? Комиции разгорались бы в этом деле... Знаешь, даже аристократы сомневались в верности утверждений Цицерона, Говорит, он подкупил аллоброгов, чтобы прославиться и уничтожить Катилину...

Помпей нахмурился.

— Все это ложь, распространяемая его врагами. Я не защищаю Цицерона, но я уважаю его, как великого оратора и истинного римлянина. Какое мне дело, что он породнился с негоциатором Аттиком, и дружит с безумным Лукрецием Каром?

— Лукреций Кар — великий поэт, — с убеждением возразил Цезарь, — и я люблю

⁷ Срок платежей по векселям.

его, потому что он преклоняется перед Эпикуром, который учил созерцать бесконечность...

— Ты преклонялся перед Аристотелем, поучавшим примирению демократии с аристократией...

— Аристотель... Аристотель... Но поговорим лучше об Эпикуре. Лукреций Кар, его ученик, призывает свергнуть богов и завоевать усилием мысли владычество над природой.

— Безбожие и софизмы! — презрительно усмехнулся Помпей. — Я беседовал на Родосе с Посейдонием, который помнит хорошо Мария, и слышал от него много любопытных истин... если и они не софизмы, — прибавил он, пожав плечами. — Посейдоний, говорил, что Марий мечтал об охлократии, о торжестве плебса...

Цезарь молчал, чувствуя, что Помпей вызывает его на откровенность, но не хотел раскрывать перед ним своих замыслов. «Пусть думает обо мне, что хочет... А я подожду говорить. Не лучше ли действовать?»

Он простился с Помпеем и отправился к Крассу.

XXXV

Двум мужам помогло золото Красса — Клодию и Цезарю: один был оправдан, несмотря на речь Цицерона, доказывавшего, что за три часа до святотатства обвиняемый был у него в доме, хотя тот утверждал, что находился вне Рима (популярные торжествовали, глумясь, над аристократами); другой отправился в Испанию, — поручительство богача-сенатора успокоило назойливых кредиторов.

Однажды в таблинум, где Красс подсчитывал со скрибами доходы с домов и имений, вошел усталый, запыленный гонец и, протягивая эпистолу, сказал:

— Привет из далекой Испании охраняемому богами великому господину!

Красс отложил в сторону связку синграф И, протянув руку, сломал печать.

«Тай Юлий Цезарь, полководец — Марку, Лицинию Крассу; сенатору.

Недаром астрологи предсказали мне счастливую будущность: разгромив лузитанцев, против которых я отправился во главе тридцати когорт, я погнал их до самого Океана/Возвращаясь в Испанию, я вспомнил о мудром предложении Катилины и всюду уменьшал проценты должникам, а небольшие долги прощал вовсе. Благодарные города восхваляют величие и милосердие Рима...»

Красс рассмеялся, подумав: «Разграбив Лузитанию, ты сумел получить еще приношения от проклинающих тебя городов... Слава богам! Кредиторы получают свои восемьсот тридцать талантов, за которые я поручился».

Читал дальше:

«Следи за деятельностью Помпея и Цицерона, а также Катона и Лукулла. Не выказывай себя врагом популярных, — они тебе пригодятся. Две наши попытки не удались, повторим третью, как только я возвращусь в Рим. На этот раз успех должен быть обеспечен. Эпистолу уничтожь. Да пребудут с тобой боги и отец богов — всемогущее Золото! Прощай».

Через несколько дней, гонец, возвращавшийся в Испанию, зашел к Крассу за эпистолой. Господин сам писал ее, опасаясь болтливости скрибов.

«Марк Лициний Красс, сенатор — Таю Юлию Цезарю, полководцу.

Эпистолу твою прочитал с удовольствием. Кредиторы ждут от тебя платежей по синграфам. Даже Атик и Помпей беспокоят меня

напоминаниями. Атик предлагает, чтобы я заплатил за тебя, а ты возвратишь мне эти деньги. Но я не сделал этого по той причине, что знаю твою гуманность и милосердие, которые не принесут тебе в Испании ни одного леса. Не правда ли, ты, потомок царей и богов, не захочешь брать постыдные приношения с городов и грабить бедных варваров? Будучи уверен, что ты вернешься без золота, я не захотел снабжать своим золотом Атика, отвратительного негоциатора.

В конце сентября Помпей праздновал триумф. На двух громадных таблицах были перечислены подати завоеванных им провинций, достигающие восьмидесяти миллионов драхм. Я видел мулов, обремененных золотыми слитками и монетами, удивительно-чудесные геммы Митридата, игровой стол, состоящий из двух огромных драгоценных камней, соединенных снизу золотыми полосами, ложе из литого золота, жемчужные повязки; колоссальные золотые статуи Марса; Минервы и Аполлона, постель Дария, сына Гистаспа, трон и скипетр Митридата, серебряную статую Фарнака, статую Помпея работы восточного ваятеля и растения, из которых всеобщее изумление вызывало черное дерево. А также много других предметов, но перечислить их невозможно.

Я видел пленников всех стран, шедших без цепей, и среди них эрембов и иудеев; видел царьков и заложниц ков, вождей пиратов, сына Тиграна, семерых сыновей Митридата, Аристобула с детьми, иберийских и албанских военачальников; видел картины, изображавшие бегство Тиграна, смерть Митридата. А триумфатор ехал на украшенной жемчугом колеснице, одетый в тунику Александра Македонского; за ним следовали пешие и конные легаты и трибуны. Но что удивило меня больше всего и, без сомнения, изумит также тебя, это — поступок Помпея: по окончании триумфа он снял одежду Александра Великого и возвратился в отцовский дом не как полководец, а как простой квирит. Такая скромность честолюбивого мужа заслуживает величайшей похвалы, и хотя я не люблю этого гордеца, готов преклонить перед ним свою голову.

Наблюдение за мужами, о которых ты писал, поручено людям, заслуживающим, полного доверия. Нового в Риме мало, если не считать, что на будущий год избраны консулами Люций Африаний, военачальник Помпея, и Квинт Метёлл Целер, супруг развратной Клодии. Прощай».

XXXVI

Возвратившись в следующем году из Испании, Цезарь был избран консулом на 695 год от основания Рима, а его коллегой — гордый нобиль Марк Кальпурний Бибул, шурин Катона, вождя аристократов.

Первым делом. Цезарь решил объединить умеренных демократов и примирить Красса, Помпея и Цицерона.

Пригласив их к себе, кроме Цицерона, на которого он со своей обычной дальновидностью мало рассчитывал и с которым враждовал Красс, Цезарь говорил:

— Ты, Помпей Великий, нуждаешься в утверждении твоих распоряжений и

обещаний на Востоке, а ты, Марк Лициний, желаешь обогатиться в Египте. Но разве ты не сказал нам во время предыдущего свидания, что Птолемей Авлет даст шесть тысяч талантов, если мы восстановим его на египетском престоле? Следовательно, не Египет тебе нужен, а царские таланты,.. Что же касается плебса, то он негодует на тебя за измену Катилине... Красс побагровел.

— Вы помирились, — продолжал Цезарь, поглядывая на Красса и Помпея, — и я не жалею о затраченном на это дело времени. Но сохраним все в тайне. Цицерон колеблется... -

— Может быть, он колеблется оттого, что не доверяет тебе? — перебил Красс — Ты, Гай Юлий, обещал заплатить по синграфам Аттику и иным кредиторам, а почему-то медлишь... Деньги же у тебя есть...

— Ты и мне должен! — вскричал Помпей. — Я тебе дал займы, на честное слово, а ты, потомок царей и Венеры...

Цезарь побледнел от бешенства; губы его дрожали так сильно, что он не мог вымолвить ни слова.

— Друзья, — сказал он, наконец, сдавленным голосом, — ваши шутки очень забавны, но я должен заявить вам, что платить кредиторам теперь не буду.

— Почему? — удивился Красс.

— А потому, что деньги нужно употребить для пользы отечества. Вы спросите, друзья, когда, я намерен платить? Не раньше, чем мы поделим таланты Птолемея Авлета...

— Хорошо. Но почему ты молчишь о сделке с публиканами? Ты обещал им добиться уменьшения откупного взноса азийских налогов...

— Да, обещал, — невозмутимо согласился Цезарь.

— А обещав, забыл нам сказать, что публиканы дают тебе много *partes*...⁸

— Да, забыл.

— А забыв, — продолжал Красс, посмеиваясь, — не предложил поделиться с нами...

В глазах Цезаря засверкали искорки.

— Таланты и *partes* будут разделены на три равные части, и ты не потеряешь, друг, ни одного асса...

Помпей пожал плечами.

— Какую выгоду можно извлечь из *partes*, которые сегодня не имеют почти никакой цены?

— *Partes* азийских налогов, — возразил Цезарь, — должны повиситься, как только мы укрепим свой триумвират, станем истинными владыками Римской республики. Тогда нас поддержат все слои общества, кроме, конечно, аристократов.

Красс и Помпей переглянулись.

— А так как мы должны опираться на плебс, то я, популяр, заботаюсь о нуждах народа, возымел мысль ввести ежедневные ведомости, римского народа — *Acta diurna populi Romani*, — повторил он, — составление которых поручено видному магистрату... Вы видели, друзья, надписи на белых стенах домов, видели плебеев, которые толпятся... Я думал так: «Если оптиматам разносят на дом ведомости о событиях в республике, переписанные рабами-, то плебей,, будучи римским квиритом, имеет такое же право знать, что делается в Италии, в азийских и иных государствах».

— Ты Цезарь, изобретателен, — шутливо воскликнул Красс, — но остерегайся Аттика, который держит много скрибов для издания в свет различных произведений и, конечно, в первую очередь, речей своего друга Цицерона. Смотри, чтобы он не взял на откуп публикации отчетов сенатских заседаний и ежегодных городских ведомостей. Помпей захохотал.

— Может быть, он выпустит partes твоих плебейских известий, — сказал он, захлебываясь от смеха и сверкая крупными белыми зубами, а смуглое расплывшееся лицо его выражало лукавую радость школьника, совершившего проделку. — О, тогда триумвиры охотно поделят их между собою, не правда ли, благородный Марк Лициний? Твоя прибыль увеличится, и ты сможешь купить не одну албанскую виллу...

Крассу не понравилась шутка Помпея, и он, нахмурившись, возразил:

— Мы с радостью уступим тебе эти partes,.. И ты сможешь, Помпей Великий, приобрести на них не только поместья, но и тучных невольниц...

Помпей вспыхнул. Предвидя неминуемую ссору между недавними врагами, которых он помирил с таким трудом, Цезарь засмеялся:

— Мы предоставим Аттику выжать из этих partes прибыли, а сами обратим свои взоры на partes азийских налогов. Не так ли, - дорогой Марк Лициний? Ты же, Помпей Великий, не торопись доить быка, от которого, даже с помощью богов, не получишь ни капли молока!

Получив консульство; Цезарь, опираясь на плебс, предложил аграрный закон: все остатки общественных земель, — кроме воле Кампании, должны быть распределены между ветеранами и бедняками, а на деньги из добычи Помпея куплены земли для плебса.

Как и следовало ожидать, Цезарь встретил яростное сопротивление сената, который большинством голосов добился оторочки рассмотрения закона.

Время шло, а сенат уклонялся от обсуждения рогации под разными предлогами. Тогда Цезарь объявил, что поставит закон на обсуждение комиций.

Ночью Красс и Помпей пришли к Цезарю.

— Разбуди господина, — приказал Красс рабу, открывшему им дверь, — а мы подождем в таблинуме.

Пока невольник зажигал светильни, Красс говорил Помпею по-гречески:

— Проклятый Бибул! Я замечал не раз: чем ничтожнее человек, тем вреднее. А Катон, преисполненный змеиной злобы, вертит Бибулом, как игрушкой...

— Я думаю — сказал Помпей, склоняясь над трагедией Цезаря «Эдип», которая лежала на столе, — что Цезарь, занятый любовными делами, вовсе не думает о Бибуле... Эта Сервилия, которой он подарил жемчуга стоимостью в шесть миллионов сестерциев...

Замолчал, увидев в дверях Цезаря.

— Вот и вы, — друзья! — вскричал хозяин. — Какие добрые боги привели вас ко мне? А я спал и видел странный сон: будто Катон и Бибул ехали на ослах, сидя задом наперед, а мы, триумвиры, стояли у базилики и бросали в них камнями...

— Твой тон, Цезарь, предвещает поражение противников! — вскричал Красс — И мы желаем обсудить, как обуздать их общими силами!

— Будьте утром ни форуме и, когда я обращусь к вам, поддержите меня. Первый удар, который мы нанесем сенату, удивит весь Рим...

Время- до утра они провели в таблинуме, беседуя о борьбе с аристократией.

— В наших руках все, — говорил Цезарь, — и магистратуры, и войска, и посольства, и эрарий Сатурна. Мы не должны допускать никаких государственных мероприятий, неугодных кому-либо из триумвиров.

— Мысль хороша, — согласился Помпей, — но всадники, к которым принадлежу и я, не должны быть обижены. Если нам удастся распределить богатства аристократии, то положение сословий изменится..

— Этот вопрос мы обсудим, — уклончиво ответил Цезарь, — но не прежде, чем разделим между тобой власть и получим в управление провинции.

Красс встал.

— Я распоряжусь, Гай Юлий, созвать сенат и народ, от твоего имени. И тогда увидим, — угрожающе прибавил он, — осмелятся ли отцы государства противостоять нам?

Рим был охвачен ужасом. Три мужа, которых все считали врагами, примирились и, действуя сообща, вынудили сенат уступить силе: аграрный закон был принят с оговоркой, что сенаторы дадут клятву верно соблюдать его.

А затем посыпались, как из рога изобилия, новые законы: об управлении Цезарем Цизальпинской Галлией и Иллирией в течение пяти лет (он получал три легиона); о признании египетского царя Птолемея Авлета другом римского, народа (шесть тысяч талантов триумвиры поделили между собою); об уменьшении откупов, просимом публиканами; об утверждении распоряжений Помпея, сделанных в бытность его в Азии.

Красс был доволен: partes азийских налогов поднялись, и можно было рассчитывать на большую прибыль. Целые дни хлопотал он в базиликах, бегал по городу, встречался с негоциаторами, и сделки следовали одна за другою.

Решив закрепить союз с Помпеем, Цезарь предложил ему в жены свою дочь Юлию, двадцатитрехлетнюю красавицу, которая была обручена с Сервилием Цепионом. Юлия и Цепион любили друг друга и мечтали о счастливой жизни, но Цезарь, идя к власти, пренебрегал сердечными влечениями, как своими, так и дочерними; родство же с Помпеем должно было усилить влияние Цезаря среди всадников и на Востоке.

После свадьбы дочери он выступил со вторым аграрным законом об ассигнации кампанских земель между бедными гражданами, обремененными большими семьями.,

— Я наношу беспощадные удары сенату, — говорил он Крассу, обедая у него. — Государство, получавшее доходы с Кампании, обеднеет, и аристократы, которые пользовались этими деньгами для своих личных целей не смогут черпать их из эрария.

Когда беседа коснулась Помпея, Цезарь сказал, притворно вздохнув:

— Как жаль, что я не могу породниться и с тобой, дорогой Марк!

Красс положил ему руку на плечо:

— Мы, Цезарь, породнились душами, а это важнее телесных уз. Конечно, отношения твои с Помпеем должны быть сердечнее, чем со мной, но помни, Цезарь, что я истинно к тебе расположен, несмотря на злые слухи, распространяемые в обществе о твоих отношениях к моей жене.

— Это ложь! — вскричал Цезарь — Враги не Щадят нас: разве они не называют меня женой Помпея?..

— Знаю. И потому я не верю грязным сплетням, распространяемым подлецами.

XXXVII

В доме Цицерона собирались друзья и аристократы: Лукулл, Варрон, Фигул, Скавр,

пасынок Суллы, Корнелий Непот, Лукреций Кар и Теренция, Жена Цицерона. Беседа о смерти Росция вызвала грусть на лицах гостей. Цицерон повторял с волнением, которое тщетно пытался скрыть.

— Гиспфион с величайшим изяществом.

— Да, — кивнул Ибрнелий Непот, — но скажи, Марк Туллий, не жалел ли бы ты так же своего старого учителя, строгого чудака и ворчуна?

Воспоминание об Орбилии Пуппиле вызвало улыбку на лице Цицерона:

— Когда я был мальчиком, — заговорил он, — мне очень доставалось от него. Старик сухой, придирчивый, он бил нас линейкой по ладоням, Драл за уши, ставил на колени, подсыпав гороху и еловых шишек... Я не знаю, жив ли он, но если жив, ему более ста лет... Счастливый старик! Он Помнит Гракхов, Сципиона Эмилиаиау, Но разве можно сравнивать Росция с Пуппиллом?

— Ты прав! — вскричал Варрон. — Разные люди и теперь владеют нашими умами! Я говорю о триумвирах, которые искусной демагогией привлекают пролетариев на свою сторону. Цезарь пренебрегает созывом сената, появляется всюду как господин Рима. Что с того, что Бибул обнародывает эдикты против триумвиров и толпы теснятся на углах улиц, читая их? Это трехглавое чудовище злобно лает, как Кербер, и плюет на нас!..

— Цезарь — соучастник Катилины, грязный любовник Помпея, — сказал Публий Нигидий Фигул, — и вместе с тем муж, не лишенный способностей...

— ...способностей развратничать, — едко заметил Марк Эмилий Скавр, — мой отчим, — великий Сулла, посмеивался, когда Цезарь жил у Никомеда...

— С Никомедом! — перебил Лукулл, — Сластолюбивый и похотливый старик отсыпал ему так много золота, как ни одна из знаменитых гетер не получала никогда!..

— А Помпей, этот знаменитый победитель в войнах без сражений? — не унимался Варрон. — Как нужно низко пасть, чтобы жениться, на дочери любовника своей

Но Корнелий Непот, с недовольством слушавший злословия, возразил:

— А всё же Помпей счастливый полководец. И польза, принесенная им Риму, очевидна! Конечно, он завершил дело благородного: Лукулла, но нельзя, отнимать у него побед, возвеличивших Рим!

— Ты неправ, историограф! — шутливо перебил Скавр. — Не сделай же ошибки, описывая подвиги, которых не было...

— Яне согласен с тобой! — воскликнул Фигул. — Пусть разрешит наш спор беспристрастный судья, участник войн с Митридатом, сам Люций Лициний Лукулл!

Взоры всех обратились на Лукулла.

— Друзья, я отдаю должное способностям Помпея, которого высоко ценил трижды величайший Сулла, хвалю его за подвиги, которых он совершил немало, но должен сказать, что большинство моих побед он бесстыдно присвоил...

— Не говорил ли я? — вскричал Корнелий Непот. Варрон привстал; глаза его сверкали:

— Если два мужа, о которых шла речь, составляют две части трехглавого чудовища, то третий муж дополняет целое, называемое Кербером. Я говорю о мерзком ростовщике Крассе, который продавал свой голос при всех сенаторах и прятал за деньги злодеев в своем доме...

— А разве Красс не способствовал взятию Суллой Рима? — прервал Корнелий Непот. — Разве он не победил Спартака? За ним, друзья, числятся заслуги, которые республика обязана помнить...

Атриенсис возвестил, что обед готов. Гости заняли места на ложах. Цицерон, стараясь скрыть дурное настроение, что плохо ему удавалось, шутил, забавляя гостей. Он был озабочен лестью Цезаря и Помпея, которая вызывала отвращение и страх: «Чего они хотят?»

Распахнулась дверь, вошли Катон и Бибул. На этот раз Катон был в обуви, а не босиком, как обычно; глаза его мрачно сверкали.

— Дурные вести, — сказал он ворчливым голосом. — Красс покровительствует Клодию, а Цезарь — подумайте, друзья, Цезарь, жену которого Клодий соблазнил! — помогает ему стать плебеем. Патриций отказывается от знатности, чтобы поступить в услужение к демагогу!

— Клодий добивается народного трибуната, — вздохнул тучный, с тупым лицом Бибул, — а так как господином Рима является Цезарь, то кандидатура Клодия обеспечена... Боюсь, что этот наглец не остановится ни перед чем!

Теренция, возлежавшая возле Цицерона, испуганно шепнула:

— Если это случится, Клодий погубит тебя, муж мой!

— И всех нас! — вскричал Бибул, обладавший тонким слухом. — Помпей, говорят, боится моих нападков и сожалеет, что связался с Цезарем.

Цицерон вспомнил уверения Помпея, что Клодий ничего дурного ему не сделает, и нахмурился; поняв, что Помпей хитрил.

— Но почему аристократия безропотно склонилась перед тиранией демагога? — говорил Лукреций Кар. — Неужели нельзя было объявить триумвиров врагами отечества?

Лукулл рассмеялся.

— Чудовище, захватившее власть, всесильно, — возразил он, — я пытался противодействовать тиранам, но Цезарь, встретившись со мной на форуме, сказал: «Клянусь богами, если ты не прекратишь своих нападков, я принужден буду привлечь тебя к суду по поводу добычи, вывезенной тобой из Азии». Они соединились, конечно, для того, чтобы управлять внутренними и внешними делами республики, распределять магистратуры и проводить законы...

Катон, тугой на ухо, спрашивал соседей, о чем говорит Лукулл, и часто оттопыривал ухо, чтобы лучше слышать!

— Правда ли, что Цезарь собирается жениться на Кальпурнии, дочери Пизона? — спросила Теренция, проглатывая устрицу. — Говорят, он обручился с нею, чтобы привязать к себе старого нобиля.

— Верно, — кивнул Лукулл, — но не это страшно. Страшнее всех и всего — Клодий.

Цицерон молчал, прислушиваясь к словам Катона, который ворчал, едва сдерживаясь от бешенства:

— Клодий — пьяница, завсегдатад лупанаров, друг воров, бродяг и подонков охлоса. Он готов делать всё, что прикажет Цезарь, не остановится даже перед преступлением.

— Что? — закричал он, оттопыривая ухо. — Ты не согласен, Варрон?

— Я ничего не сказал.

— Что? Что он говорит? — волновался Катон. — Не слышу. Громче!

Ему повторили ответ Варрона, и он успокоился.

Цицерон вздохнул.

— Я устал, друзья, от поездки в Кампанию, и политика раздражает меня...

Дожидаюсь Аттика, который должен уладить мое дело...

Он был подавлен, и Теренция, сварливая матрона, не, упуская случая придраться к мужу по ничтожному поводу, ощутила, взглянув на него, нечто вроде раскаяния. Гости также смотрели на оратора с участием, близким к состраданию, но он не замечал их взглядов, — думал.

Вызванный Цицероном, Атик поторопился приехать в Рим. Не только эписстола Цицерона заставила его бросить на время денежные дела, но и жажда увидиться с Клодией, своей любовницей, от которой он был без ума.

— Клодий — брат твоей подруги, — мягко сказал Цицерон, целуясь с ним, — и тебе нетрудно будет узнать о намерениях его. Он зол на меня за то, что я, обвиняя его в святотатстве, требовал строгого наказания. Но он молод и глуп, и если бы не Цезарь, который возбуждает его...

— Цезарь и Помпей к тебе расположены, — перебил Атик, — ты опять пользуешься тем же влиянием, как во время борьбы с Катилиной. Говорят, твой дом осаждают аристократы и молодежь...

— Всё это так, да не так, — нахмурился Цицерон. — Разве для тебя неясно, Тит, почему Цезарь подкупил Клодия? Заметь: Клодий — друг черни, а опираться на нищих, ремесленников и вольноотпущенников, чтобы располагать большинством а комициях — это цель Цезаря; и он поможет Клодию стать народным трибуналом, а тот будет его избирательным помощником и вербовщиком сторонников.

Атик задумчиво смотрел на Цицерона.

— Я навещу Клодию и поговорю с нею. Если она имеет влияние на брата...

— Ты сомневаешься? — вскричал Цицерон. — Весь Рим говорит о преступных отношениях Пестры к брату...

— Ложь! — побледнев, вымолвил Атик и поспешил уйти.

На другой день он известил Цицерона, что намерения Клодия сестре неизвестны.

Цицерон был подавлен. Деятельность Цезаря пугала его: могущественный консул настоял в сенате на даровании Ариовисту, царю свебов, титула друга и союзника римского народа и готовил рогации, с которыми должен был выступить народный трибун Ватиний, о злоупотреблениях правителей провинций и о выводе в Комо пяти тысяч колонистов, пользовавшихся правами гражданства.

«Кто одобряет предложенный триумвират? — Думал, Цицерон. — Два-три сенатора, которые сидят в пустующей курии, да толпы оборванцев Клодия! Никогда ещё Рим не доходил до такого позора!»

Все дни он продолжал беспокоиться: октябрьские выборы, на которых консульство получили сторонники триумвират Пизон и Габиний; народный трибунал — Клодий, претору — несколько аристократов, усугубили его дурное настроение. Но, когда сенат, под нажимом Красса и Помпея, отдал Цезарю в управление Нарбоннскую Галлию с одним легионом, Цицерон понял, что проконсульство Цезаря обеспечено.

Видел, как Цезарь, укрепляя свою власть на форуме, заискивал перед толпой, часто виделся с Клодием, а как только Рим заговорил о роганиях народного трибуна, Цицерон пренебрег всякой осторожностью — потерял, казалось, голову.

— Цезарь требует бесплатной раздачи хлеба бедному населению, — возмущался он — собраний народа и утверждения законов в фастальные дни, свободы римских союзов ремесленников! Что это? Заговор или начало анархии?

Оратор хотел выступить против рогаций, которые считал вредными для отечества, но Клодий подошел к нему на форуме и сказал:

— Если ты не будешь мне мешать, я не стану тебя преследовать...
Цицерон скрепя сердце согласился.

XXXVIII

После разгрома Каталины Сальвий поселился в Риме. Лициния, распустив свой фезульский отряд, последовала за мужем.

Первые годы Сальвий работал с популярными Цезаря, но, хитрость и коварные поступки вождя, его дружба с Крассом возмущали его. А когда Цезарь образовал триумвират и, породнившись с Помпеем, стал добиваться главенства на форуме, выдвинув в народные трибуны Клодия, — Сальвий долго не раздумывая иперешел на его сторону, Путь народного трибуна был прямее того извилистого пути, по которому шел Цезарь, и Сальвий с радостью принялся за работу.

Он видел, как Клодий деятельно готовился к борьбе, и помогал ему.

В бедном атриуме своего клиента Клодий составлял списки бедняков, имевших право на бесплатное получение хлеба, и слушал Отчет Сальвия, которому было поручено создать в каждом квартале столицы общества ремесленников-избирателей.

— Ты, конечно, разделил их на декурии и декурионами назначил самых способных квиритов, — говорил Клодий, передавая Сальвию табличку с именами бедняков. — Скажи, скоро ли кончится это дело? Плебс должен стать сплоченным телом, чтобы не легко было его побороть.

— Вождь, приказание твое исполнено, — ответил Сальвий. — Я поручил своей жене наблюдать за деятельностью лиц, выделенных для работы в кварталах... Жену мою ты видел! Она предана всем сердцем нашему делу.

На румяном лице Клодия сверкнула мимолетная улыбка.

— Твоя жена, Сальвий, не похожа на плебеянку, — сказал он, — , и я склонен думать, что она из зажиточного. рода плебеев, а может быть и патрициев. Она умеет хорошо говорить,; не лишена вкуса в нарядах, держит в чистоте ногти...

Вождь, она была вилликой у Манлия;.. Там я женился на ней.

— Завтра начнешь объединять вольноотпущенников и рабов; они должны будут подавать голоса за Цезаря по первому моему повелению, и, конечно, за Красса «и Помпея, если я прикажу. Эти толпы должны состоять! на службе клиентелы триумвиров и получать хлеб по спискам.

Сальвий задумался.

— Что молчишь? Разве ты не согласишься с моим распоряжением?

— Вождь, оно хорошо, но меня беспокоит, где мы возьмем средства на закупку хлеба?

— Средства... средства?.. Ты прав. Нужно подумать. Эй, друг, — обратился Клодий к клиенту, — работы еще много?.. Что же ты молчал? Призови скрибов. Или нет!., я напишу Крассу, чтобы он прислал целую декурию... Мало? Тогда две или три!

— Вождь, хватит и двух декуррий, — сказал клиент. — Но если Красс может помогать нам скрибами, то отчего бы ему не помочь нам и деньгами?..

— Ха-ха-ха! Красс не так глуп, чтобы бросаться золотом!

— По-твоему...

— Молчи, — перебил Клодий. — Я посоветуюсь с друзьями.

И он вышел, приказав Сальвию дожидаться его. , Вскоре прибыл» скрибы, присланные Крассом. В темных рабских одеждах, с навощенными табличками и стилами в руках» они вошли в атриум, топая и переговариваясь между собою.

Большинство были александрийцы, два-три понтийца, несколько эллинов, смуглый иудей и рослый краснощекий белокурый германец.

Клиент принялся диктовать имена плебеев по списку, набросанному наспех Клодием, и десятки стилосов быстро выводили на дощечках римские письма.

Клодий вернулся лишь к вечеру, Лицо его сияло.

— Клянусь Юпитером Статором! — вскричал он с порога. — Выход найден. Я предложу комедиям закон о присоединении Кипра и отнятии царских сокровищ... — Но кипрский царь...

— Молчи, Сальвий! Царь помогает пиратам и за это должен быть наказан!

И шепотом прибавил:

— А потом мы примемся за подлого убийцу вождей народа, за этого красноречивого шута и «отца отечества», который «все знает»! Ха-ха-ха!.. Тень Каталины требует возмездия, и она получит его — клянусь Геркулесом! — если бы даже мне пришлось погибнуть!

Клодий стал всемогущим мужем Рима. Даже триумвиры не могли обуздать его. Решив осудить Цицерона, он хитрил, уверяя Цезаря, что хочет только испугать оратора, но Цезарь, знавший хорошо Клодия, решил, уезжая с Лабием и Мамуррой в Галлию, взять с собой и Цицерона в качестве легата. Но тот колебался, побаиваясь Цезаря.

Мечтая поразить громкими победами Рим, Цезарь, малоопытный в военном деле (набеги на Лузитанию и осада Митилены были «незначительными подвигами»), возлагал надежды на лиц, побывавших на войне, и на старых центурионов.

Цезарь был уже за пределами города, когда Сальвий объединил избирательные союзы и Клодий выступил со своим законом.

Глашатаи кричали на форуме и перекрестках:

— Слушайте, квириды, справедливый закон народного трибуна Клодия: «Кто осудил или осудит на смерть римского гражданина, лишив его провокации, тот подлежит изгнанию из Рима!» Слушайте, квириды...

Преконы трубили и трижды выкрикивали суровые слова закона. Цицерон, возвращавшийся от Аттика, которому он передал для опубликования свои речи против Каталины, остановился на Палатине. Явственно доносились слова глашатая, и оратор, пораженный в самое сердце, бледный и растерянный, неподвижно стоял, не замечая злорадных лиц сторонников Клодия.

Подошел Публий Нигидий Фигул.

— Марк, этот закон касается тебя... Клодий обманул...

— Катилина, — пробормотал Цицерон, подразумевая под этим словом цель закона, и слезы ярости и бессилия выступили у него на глазах.

— Мы соберем сенаторов и всадников и пошлем их к консулам с просьбой о вмешательстве... Пизон, Помпей и Красс могли бы легко обуздать Клодия...

— Они все заодно, — глухо вымолвил Цицерон, — но мы должны... мы обязаны не уступать этому сброду... Катилина злоумышлял против республики, и я, консул, принужден был...

Он не договорил и, закрыв полой тоги лицо, удалился по направлению к дому.

Триумвиры, не желая вступать в борьбу с Клодием, избегали вмешиваться, и Цицерон, вне себя от гори, покинул Рим, чтобы отправиться в изгнание. Вслед за ним, согласно тому же закону, уезжал на Кипр Катон, вождь аристократов, со своим племянником Марком Брутом, безумно влюбленным в плясунью Киферу. Катон

уводил его с собой, чтобы «спасти от пагубной страсти и склонить к ученым занятиям», как сказал Сервилий, прощаясь с нею.

Клодий торжествовал.

— Презренные псы изгнаны из Италии! — кричал он на форуме. — Они погубили, квириды, вашего вождя Катилину, казнили без суда и следствия его друзей. Пусть Фурии отомстят злодеям за кровавые дела в Мамертинской тюрьме!..

И, повернувшись к Сальвию, возгласил:

— Поручаю тебе разрушить дома и виллы Цицерона! Кто желает нам помочь, пусть идет с Сальвием, захватив с собой зажженный факел!

Книга вторая

I

Сальвий ожесточался, видя, как трудно бороться с нобилиями. Проводя дни и ночи на улицах Рима, он поднимал плебеев и пролетариев и нередко сам, во главе полуголодных людей, предпринимал налеты на оптиматов и, разгоняя рабов, охранявших матрон, опрокидывал лектики.

Он вербовал людей в самом людном месте города, у Аврелиевых ступеней, а затем вел их на форум, где толпились дикие пастухи, вызванные сенатом из Галлии и Пиценума. Сальвий пытался склонить их на свою сторону, но волосатые дикари принимались метать камни, натягивали луки. В яростных стычках уничтожались инсигнии консулов, убивались неугодные трибуны, — Сальвий был беспощаден.

В этот день по улицам двигались с песнями и угрозами декурии полунищих вольноотпущенников, центурии беглых рабов и гладиаторов, а когда появился Клодий, толпы окружили его с радостными криками и пошли за ним к храму Кастора, где находилась главная квартира их вождя и хранилось оружие.

У храма к Клодию присоединился Сальвий во главе отчаянных гладиаторов.

— Вождь, позволь оповестить тебя о положении в городе...

На аполлоноподобном лице Клодия лежало утомление, глаза слипались от бессонных ночей, но голос любимого помощника оживил его.

— Говори.

— Нобили укрепляют свои дома, возводят рвы и насыпи, вооружают рабов и клиентов...

— Боятся нас? Ха-ха-ха!

Толпа подхватила хохот вождя, и форум загрохотал, как налетевшая буря; загремели радостные крики, замелькали сотни кулаков. А когда наступила тишина, Сальвий продолжал громким голосом:

— Они выходят из домов под охраной гладиаторов и при встрече с нашими декуриями шарахаются, как трусливые зайцы. Я велел осадить дома Бибула, Марцелла и их сторонников, а если злодеи не сдадутся или не откупятся, прикажу дома поджечь...

Одобрительные крики не утихали, перерастая в вопли ненависти:

— Смерть нобилиям!

— Смерть сторонникам Катона и Цицерона!

— Долой сенат!

Клодий поднял руку, — наступила тишина.

— Квириды! Вы одобрили мое предложение об изгнании Цицерона, подлого убийцы Катилины, вы решали не давать ни воды, ни огня, ни крова на расстоянии

четырёхсот миль от берега Италии преступному консулу, а я возымел счастливую мысль, ниспосланную мне в сновидении самим Юпитером Мстителем, сжечь его виллы в Тускулуме и Формиях и дом на Палапине, а на месте дома построить храм Свободы. Хвала богам! Все это сделано, хотя времени понадобилось много.

И, обратившись к Сальвию, спросил:

— Что же Помпей? Сальвий усмехнулся:

— Трусит. Заперся в своем доме, не выходит на улицу.

— Недавно в сенате, куда он принужден был пойти под большой охраной, он поддерживал предложение олигархов о возвращении Цицерона из ссылки...

— Долой, долой! — загрохотал форум.

— ...и я, квириды, — возвысил голос Клодий, стараясь перекричать народ. — воспротивился. «Пусть злодей издохнет в Фессалонике! — заявил я. — Его отчаянные письма к друзьям не тронут нас!» Сенаторы кричали, что скоро год, как он изгнан, говорила, что нельзя решать такого дела без согласия народа... Ха-ха-ха! Попробовали бы они вернуть его вопреки нашей воле!.. А знаете, квириды, что во время спора отцы государства уподобились свиньям, дерьму и падали (ругаясь, так они поносили друг друга)? Они плевали один другому в лицо, вырывали волосы и бороды. И это, квириды, римский сенат! Разве не нужно очистить республику от этой грязи?

— Да здравствует Клодий! — единодушно закричала толпа и бросилась к своему вождю.

Его подняли и понесли. Видел, как на улицах бегут к нему толпами ремесленники, как вольноотпущенники закрывают наспех свои лавочки, чтобы присоединиться к победоносному шествию, и думал, с трудом скрывая самодовольную улыбку:

«Да, я господин Рима! Красс и Помпей мне подвластны и не решатся тронуть... Разве я не способствовал бегству сына Тиграпа? А оскорбленный Помпей смолчал! Разве я не распределяю царства, жречества, магистратуры во всей республике? И пусть лают псы сената и ревут ослы Цицерона, что я обогащаюсь! Да, я получаю деньги, но они идут на дело борьбы, а не на разврат и попойки!.. Остается Цезарь, наш главный вождь-популяр, и мы будем поддерживать его...»

Знал, что, как только трибунал его кончится в начале декабря и он, Клодий, станет частным человеком, враги не преминут ему отомстить, и думал, как укрепить власть; форум принадлежал ему, но разве возможно частному человеку управлять Римом?.. Он пригрозил убить Помпея и сжечь его дом, но Помпей действовал исподтишка: привлек на свою сторону консула Габиния и повелел ему бороться с Клодием, а ведь Клодия поддерживал консул Пизон, сторонник Цезаря... Красс ненавидел Помпея, Помпей не доверял Крассу, а Цезарь им обоим.

Его несли мимо дома Помпея. Увидел на мгновение в дверях атриума полководца, главу Рима, с гордым лицом и величественной осанкой, и толпы вооруженных сателлитов: «Кто отнял у него власть? Оптиматы? Нет, отняли мы, популяры, и нас поддержали плебейские эдилы. Войск в столице нет, следовательно, господами являются те, кого больше».

На Марсовом поле к нему протиснулся Сальвий.

— Вождь, наш соглядатай, живущий в ломе Помпея, сообщил мне, что триумвир послал гонца к Цезарю...

— Зачем? — спросил Клодий, и беспокойство слышалось в его голосе.

— По вопросу о возвращении в Рим Цицерона. Помпей просит согласия Цезаря...

Клодий нахмурился.

— Подлый конгуляр еще не утомился в Фессалонике — ха-ха-ха! Но горе ему, если он возвратится, — рука Немезиды будет на нем!

Когда трибунат Клодия кончился, Помпей предложил в сенате рассмотреть вопрос о возвращении Цицерона и добился от комиций, несмотря на противодействие популяров, утверждения его. На форуме произошла ожесточенная схватка между сторонниками Клодия и народного трибуна Милона, знатного честолюбца. Кровь обгаряла широкие каменные плиты, и трупы пришлось увозить на телегах, а форум мыть губками.

Помпей торжествовал — к Цицерону был послан гонец с приглашением вернуться в Рим.

После отъезда Цезаря в Галлию Помпей находился в угнетенном состоянии (опасался Красса, Клодия, завидовал Цезарю, побеждавшему варваров), которое не могла рассеять даже любимая жена его Юлия. Он видел, что триумвират не пользуется популярностью: даже мелкие собственники, презиравшие демократов, враждебно относились к действиям трех мужей. Помпей, получивший Испанию, оставался в Риме, откуда управлял ею при помощи своих легатов; Красс, зорко следя за Помпеем, был занят сделками по увеличению своих огромных богатств, а Цезарь воевал в Галлии. Что же могли дать триумвиры народу, возлагавшему на них надежды? И, когда Клодий, став во главе пролетариев, начал борьбу, Помпей, понял, что господином Рима стал народный трибун.

Он почувствовал себя в силе с окончанием срока трибуната Клодия и выступлением наглого Милона во главе гладиаторов. Однако успехи Цезаря не давали ему покоя, а возвращение в Рим Цицерона вызвало мысль приложить все усилия, чтобы сблизиться с оратором.

II

В таверне «Под палицей Геркулеса» сидели на грубых скамьях, в обществе пьяных простибул, три молодых человека и яростно спорили. Это были Целий, Долабелла и Курион, известные Риму гуляки и развратники.

— Клянусь бедрами Девы! — кричал тучный Долабелла, вытирая ладонью пот с багрового лица. — Ты был неправ, Целий, оскорбляя Клодию кличкой квадрантарии. Разве не дала она тебе всего, что может дать женщина?

— Ты уподобился Цицерону, который добывался ее расположения и получил по носу, — подхватил Курион, — все знают, что только поэтому оратор начал ей мстить... Но ты, ты...

— Молчать! — стукнул Целий кулаком по столу, и кружки запрыгали, расплескивая вино. — Кто желал бы иметь женщину, которая ласкает, а исподтишка подмешивает в вино отраву?

— Однако она не отравила Катутлла, — возразил Курион.

— Катутлла?! Этого глупого провинциала, который пришел в неистовство, созерцая ее впервые под видом Каллипиге или Перибасии!

— Но Кагулл — большой поэт, — заметил Долабелла, — и он вовсе не так глуп...

— Только глупая страсть может довести мужа до невменяемости, — не унимался Целий. — Потная женщина опрыскивается духами, чтобы соблазнять, а когда из любовника нечего уже выжать, она покушается на его жизнь...

— Ложь! — крикнул Курион. — Клодию я знаю...

— Кто ее не знает? — перебил Целий.

—...и она неспособна на преступление.

— Метелл Целер умер в полном расцвете сил, а отчего? — проворчал Целий. — Она отравила его, чтобы избавиться... Пей! — закричал он пьяной девочке-подростку, которая сидела рядом с ним, и, обхватив ее за плечи, принялся насильно поить из оловянной кружки. — Пей, пей! Я возьму тебя с собою на Палатин, и ты будешь жить у меня столько дней, пока я не отниму у тебя остатков твоей отрепанной юности...

Девочка подняла на него блестящие глаза и смотрела, не понимая.

— Нашел девственницу! — презрительно сказал Курион. — Мой вольноотпущенник, владелец лупанара в Субурре, уверяет, что сегодня вечером он получает от общества лубликанов, взявших на откуп лупанары столицы, стадо юных рабынь из Сирии и Иудеи.

— Что юность? — пожал плечами Целий.

— Однако Катилина предпочел Аврелию Орестиллу девам Весты.

— Катилина! — вскричал Целий. — Это богоравный муж, а его подруга не чета женщине за четверть асса!..

— Верно ли, что ты, Целий, поддерживал Катилину в его посягательстве на республику?

Оттолкнув девочку, Целий схватил кубок с вином и плеснул в Куриона.

— Вот мой ответ, коллега! — яростно крикнул он и с хохотом смотрел, как Курион утирал ладонями залитое лицо и тогу.

— Проклятый катилинианец, — хрипло вымолвил Курион, плюнув ему в лицо. — Ты изменил своему вождю и продался Цицерону...

— Еще слово и — убью! — свирепо шепнул Целий, выхватив кинжал, но Долабелла резким движением вырвал у него оружие.

— Друг, успокойся, — тихо сказал он, — Катилина погиб, но дело его не умерло... Докажи же Куриону, и не только ему, а многим, что если ты перешел от Цицерона к Катилине и обратно, что если ты дружил с Клодием, когда был любовником его сестры, то это были юношеские заблуждения.

— Замолчи, болтун! — отмахнулся от него Целий. — Пусть плебс справляет ежегодно поминки по Катилине и усыпает его могилу цветами! Но это запоздалое обоготворение меня не обманет: чернь хочет бездельничать, кормиться за счет республики и мечтает отнять у оптиматов присвоенное ими общественное имущество. Не поэтому ли популяры обещают плебсу отменить долговые записи? О, если бы Катилина...

— Продолжай его дело, — шепнул Долабелла. Целий возмутился.

— Теперь, когда у власти стоят триумвиры, каждый шаг чреват опасностями. Цезарь поручил Клодию превратить местные религиозные коллегии в постоянные политические, создать сеть временных коллегий, куда набирались бы люди по их местожительству, — и это уже Сделано; разделенные на декурии и центурии, с вождями во главе, они принуждены шествовать военным строем, чтобы подавать голоса. Разве не тайна, что находящийся при них секвестор, получив деньги от кандидатов, распределяет их после голосования между декуриями и центуриями? Подкуп, подкуп! — вот основа власти! Вот причина, почему Цезарь одерживал победы на форуме.

Вошел Тирон, любимый вольноотпущенник Цицерона; Verna⁹ от рождения,

⁹ Раб, рожденный в доме господина.

образованный, он, будучи отпущен на свободу, не ушел от господина, хотя и купил себе небольшое поле (в шутку его величали римский земледельцем); он помогал Цицерону писать сочинения, вел его денежные дела, сносился с менялами, управлял имениями, следил за постройками и садами. Вид у него был утомленный: под впавшими глазами залегли преждевременные морщинки, на щеках горел лихорадочный румянец. Слабый здоровьем, Тирон переутомлялся, но Цицерону не приходило в голову дать ему отдых: он не мог обойтись без любимца и относился к нему, как к сыну.

— Господин ищет вас троих, — сказал Тирон, оглядывая возбужденных друзей. — Сегодня вечером собираются у нас знаменитые мужи, и было бы ошибкою с вашей стороны не придти на пиршество.

— Было бы безрассудством отказаться от приглашение! — засмеялся Долабелла, наливая вино в кружку полногрудой простибулы. — А скажи, дорогой Тирон, будут ли там женщины?

— Ты шутишь! — вскричал Курион. — Какой пир без матрон?

Целий поднял голову.

— Не пойти ли нам лучше, Курион, к твоему любимому лено... к поставщику живого товара? Ха-ха-ха! Где будет веселее, в лупанаре или в доме консуляра?

Тирон вспыхнул.

— Если ты, благородный Целий, сравниваешь дом моего господина с лупанаром, то не лучше ли тебе вовсе не ходить на пиршество?

Целий вскочил.

— Что? Молчи, раб! Не тебе делать замечания римлянину!

Тирон побледнел.

— Прости, росл один, я не раб, — возразил он — Некогда я не был невольником своих страстей на потеху табернариев и простибул!

Это была дерзость. Друзья переглянулись. Целий, Курион и Долабелла одновременно подумали, как поступить с Тироном. Избить и выбросить за дверь? Облить вином? Или напоить силою? Нет, так поступать значило бы оскорбить Цицерона, и Долабелла, захохотав, захлопал в ладоши:

— Ты прав, Тирон, клянусь пупом Венеры! Мы приползем на пиршество даже на четвереньках, если ноги бессильны будут удержать наши жадные туловища! Что? Ты возмущен? Молчишь? Но разве Цицерон не принимал нас в таком виде?

— Пусть господин не забудет, — нахмурившись, вымолвил Тирон, — что на пиршестве будут Теренция и Туллия, и всякое непотребство вызовет отвращение матрон...

— Тирон, Тирон! — со смехом воскликнул Целий. — Ты непоправим, друг мой! Ты женоненавистник, ты не любишь вина, не любишь ничего, кроме литературы и повседневных обязанностей по отношению к своему господину! А не лучше ли сесть с нами, выпить вина, посадить на колени девочку и наслаждаться щедротами Венеры, Вакха и Аполлона, пока оградный Сон не коснется своими перстами твоих векд?..

Тирон улыбнулся, покачал головой и молча вышел на улицу.

III

Расстояние от Рима до берегов Родана Цезарь проехал в неделю — он любил ездить быстро, почти не останавливаясь в пути. Лабнен и Мамурра, всадник из Формк«и, сопровождавшие его, сетовали на утомительный путь, скудное питание,

неудобные повозки и верховых лошадей, которых нужно было часто менять.

Всю дорогу Лабиеи говорил о походах и сражениях, а Мамурра рассказывал случаи из жизни формийских матрон, сопоставляя свои любовные похождения с похождениями оставшихся в Риме коллег, и каждый раз у него находилось удачное по остроте сравнение женских тел, едкая насмешка над любовью и над ухищрениями матрон, обманывавших своих мужей. Цезарь слушал, посмеиваясь, писал эпистолы Крассу, Помпею, Клодию и Оппию: Крассу — о богатой Парфии и многочисленных сокровищах арсака; Помпею — о Цицероне, восхваляя его и советуя с ним помириться; Клодию — о плебейх и римской голи, которую требовал поднять не только в столице, но и в италийских муниципиях, а Оппию — о подкупе влиятельных магистратов, сенаторов и всадников.

Лабиеи и Мамурра, удивляясь непрерывной переписке Цезаря с друзьями (он пользовался шифром, заменяя четвертую букву алфавита первой по порядку), спрашивали, что может дать эпистола мужу, отправившемуся воевать, и неизменно слышали, краткий ответ: «Полководец и политик должны знать, что делается в неприятельской стране и в республике». Однако Галлию он знал плохо, а население ее хуже, но, желая разбогатеть и прославиться, решил не отступать перед трудностями и подражать в ведении войны Лукуллу и Помпею.

— Ты будешь начальником конницы, — сказал он Лабиеи, — а ты, Мамурра, начальником над военными мастеровыми — *praefectus fabrorum*, — повторил он, — и, надеюсь, оба справитесь со своими обязанностями.

Имея один легион в Нарбоннской Галлии и три под Аквилеей, Цезарь, получив сведения еще в Риме от Дивитиака, посла эдучев, о движении гельветов в Галлию, чтобы образовать галльскую империю, отказал им в переходе через Провинцию, а сам решил укрепиться в горах.

Ночью пришло известие, что гельветы, под предводительством старика Дивикона, проникли в область секванов и двинулись к реке Арару.

Задумавшись, Цезарь сидел в шатре, греясь у большого глиняного горшка с горящими угольями. С одной стороны, пугало нашествие гельветов, с другой — козни эдучев и владычество Ариовиста над галльскими племенами.

Вошел Лабиеи и доложил, что разведчики вернулись с важными сведениями: борьба между эдучами не прекратилась, хотя Ариовист с германцами, вызванный на помощь арвернами и секванами, перешел через Рен, разбил эдучев и утвердился в Галлии; племена объединились в союз, чтобы освободиться от германцев, но Ариовист укротил мятежников железом (эдучи платят ему дань) и притесняет секванов. своих союзников.

Цезарь поднял голову.

— Угроза германского владычества?

Лабиеи продолжал говорить об ожесточенной борьбе между богатыми и бедными во всех галльских республиках.

— Понимаю, — кивнул Цезарь, — эдучийская аристократия рассчитывает на нашу помощь, и Дивитиак, глава романофилов, не напрасно добивался в сенате...

— Божественный Юлий, ты введен в заблуждение; уже давно эдучийские популяры добились выступления гельветов против свебов, но романофилы кричали о гельветской опасности, распространяя ложные слухи...

Цезарь привстал.

— Разве гельветы не стремятся к владычеству над Галлией?

Лабием рассмеялся и стал уверять, что Дивитиак обманул римский сенат, а его брат Думнориг, вождь популяров, мог бы помочь Цезарю, если бы тот вошел с ним в соглашение...

Цезарь молчал, обдумывая. Чью принять сторону — Дивитиака или Думнорига? Эдуев или гельветов? Или вступить в союз с Ариовистом против Галлии?

«Нет, с кимбрами и тевтонами, которых бил Марий, не может быть соглашения... Ариовист, усилившись, выгонит меня из Галлии... Я его знаю — это вождь гордый и каменнотвердый... Но кто сильнее, способнее и предприимчивее всех?»

Оставшись одни, Цезарь развернул свиток пергамента, на котором были нанесены галльские города и реки, и долго смотрел на области, занятые племенами.

«Скудные сведения! Разве у них два-три города? Два-три реки? Здесь Нарбонская Галлия, там Альпы... О, Цезарь, Цезарь, куда ты пошел, в какую сеть завлекла тебя Фортуна? И где выход из этого сложного клубка противоречий?»

Не спал всю ночь. А наутро твердое решение созрело в голове: «Только извилистыми тропами и потаенными путями идет муж к власти, богатству, славе и могуществу. Не Сципионам Эмилианам с их честностью и сознанием долга быть первыми в Риме! Победит тот, кто отбросит всякую брезгливость и употребит все средства к достижению намеченной цели!»

Созвав военачальников, он приказал Лабиему остаться для защиты Родана, а сам спешно выехал в Цизальпинскую Галлию, о намерении набрать в ней два легиона, вызвать три из Аквилея и двинуться через город Куларон к северному рубежу Провинции.

«Возле Лугдуна ко мне присоединится Лабием со своим легионом, и я, во главе шести легионов и вспомогательных войск, поддержанных эдуйской конницей, двинусь по левому берегу Арара».

О своих намерениях он не сказал никому, точно опасался осуждения военачальников, но Лабием, очевидно, что-то подозревал, потому что, когда Цезарь, сев на коня прощался с ним, спросил:

— Вождь, каковы твои намерения? Что задумал? Как должен я держать себя с Дивитиаком и Думноригом?

— Осторожно, Лабием, осторожно.

И Цезарь поскакал, оставив друга в полном недоумении.

Преследование Цезарем гельветов озлобило галльские племена. Разбитый Дивиконом, римский полководец не отказался от мысли преследовать варваров, но, когда гельветы стали просить мира, он с радостью согласился, приказав аллоброгам снабдить их хлебом, а эдуям — уступить им часть своих земель.

Насильственная политика Цезаря вызывала всеобщую ненависть. Даже римские военачальники не одобрили преследования гельветов, которые поддерживали популяра Думнорига, женатого на гельветке, родственнице Оргеторига, вождя гельветских популяров. Разве Думнориг и Оргеториг не боролись за объединение галльских племен против Ариовиста? Но они не желали римского владычества, а Дивитиак, даже в Таллин, где положение было для всех ясно, продолжал кричать о гельветской опасности.

Цезарь вспомнил, что еще Метелл Целер склонялся к ангигельветской политике, и это было их общей ошибкой: Галлия ненавидела и презирала Цезаря и Дивитиака, популяры кричали об измене и продажности романофилов.

Желая восстановить утраченное положение. Цезарь распространил слухи, что Рим не посягает на целостность Галлии, а стремится освободить угнетенные племена из-под германского ярма.

Галлия поверила — и как было не верить, когда он созвал на совещание (concilium totius Galliae) представителей племен и обещал помощь?

Заняв Бесонтион, столицу сенванов, он назначил начальником конницы Публия Красса, сына триумвира, и, подавив бунт легионов, считавших вероломством войну с другом и союзником римского народа, выступил против конунга Ариовиста с одним X легионом.

— Я должен разбить германцев, — говорил Цезарь Публию Крассу накануне битвы с войсками Ариовиста, — и надеюсь, Публий, больше на тебя, чем на самого себя. Ты храбр и отчаянен. Да помогут тебе Марс и Беллона, которым ты воздвиг жертвенники в Бесонтионе!

После победы над Ариовистом Цезарь всю ночь писал эпистолы друзьям и на рассвете отправил гонцов в Рим.

«Гай Юлий Цезарь, полководец — Марку Лицинию Крассу, мужу консулярному и сенатору, — привет и добрые пожелания.

Благоприятно настроенная Фортуна способствует моим успехам. Вчера я разбил Ариовиста, конунга свебов. В начале битвы правое крыло, над которым я начальствовал, сломило ряды неприятеля, но левое, не выдержав натиска германцев, пришло в замешательство. Положение спас доблестный начальник конницы, твой сын Публий: он поспешил на помощь и способствовал общей победе. Хвала ему! Ариовист бежал за Рен. Впервые римские мечи отразились в зеленых волнах этой полноводной реки. Владычество Ариовиста над Галлией сломлено навсегда. Прощай».

А Помпею написал:

«Успехи мои велики, победы — громкогласны. Теперь Рим господствует над племенами, живущими между Нарбоинской провинцией, Гарумией, верхним Реном и Секваной. Зная, что у галлов нет политического единства, а только единство веры, я обдумываю, чем привлечь на свою сторону друидов, под влиянием которых находятся Галлия и кельтская Британия. Соглядатаи доносят, что в руках друидов находятся школы и воспитание детей до юношеского возраста, что эти жрецы занимаются теологией и посвящают в ее тайны избранных; не гнушаются приносить человеческие жертвы, а судебная власть друидов и влияние на политику племен огромны.

Завтра отправляю легионы под начальствованием Лабiena в область секванов на зимние квартиры, а сам еду в Цизальпинскую Галлию.

Как живешь с моей дочерью? Довольны ли вы браком и не раскаивается ли Юлия в моем выборе? Буду рад и возблагодарю богов, если все у вас благополучно. Прощай».

IV

Рим радовался известиям из Галлии; победа над белгами, жившими между Реном, Секваной и Океаном, и над нервиями, одержанная с помощью Лабиена, продажа в рабство более пятидесяти тысяч адуатуков, — все это поразило Рим. Но когда Цезарь объявил римской провинцией всю Трансальпийскую Галлию и потребовал, чтобы сенат прислал децемвинов для принятия новой провинции и управления ею, — всеобщее ликование охватило столицу.

Посылая к Цезарю с поздравлением сенаторов, отцы государства возвестили народу о пятнадцатидневных благодарственных молебствиях богам, охраняющим Рим.

Цицерон сомневался, что Галлия завоевана, однако не предполагал, что обман Цезаря зашел так далеко. Только Красс, извещенный сыном, находившимся с одним легионом в Западной Галлии, знал больше всех. Он посмеивался над одураченными сенаторами, нобилиями и всадниками, удивляясь в то же время наглости Цезаря, совершившего такой шаг, и ждал, чем кончится этот неслыханный обман. Он не сомневался, что объявление Галлии римской провинцией вызовет страшный мятеж свобододлюбивых племен, и опасался за жизнь сына, которого горячо любил.

В этот день Красс получил от Цицерона пригласительную эпистола на пиршество; уверенный, что там будет Помпей, он решил отказаться под предлогом неотложных дел, не подозревая, что и Помпей поступит так же, — оба триумвира, несмотря на кажущийся мир, продолжали враждовать.

Цицерон вздохнул с облегчением: приличие было соблюдено, он позвал обоих мужей, и теперь радовался, что пир не будет омрачен напыщенностью. Помпея и заносчивостью Красса, что не придется заискивать перед ними и говорить любезности: он презирал их за то, что они не оградили его от издевок Клодия и не помешали отправить его, консуляра и оратора, в ссылку.

В таблиуме Цицерон беседовал с Тироном, который сидел за столом склонившись над свитком папируса.

— Здесь собраны, господин мой, все твои речи, а здесь, — он отложил свиток и взял два других, — начало «Об ораторе» и «О республике»... Скоро ли думаешь, господин, кончить эти сочинения?

— Не скоро, друг мой, — вздохнул Цицерон. — Когда я думаю, что мы живем во время произвола и насилий, мне становится грустно, и мысли не дают покоя...

— Господин, власть триумвинов не вечна. Клодий почти уже безвреден; противник его Милон...

— Милон?! — вскричал оратор. — Такой же наглец и ставленник Помпея, как Клодий — Красса и Цезаря.

— Это так. Но не уравновесят ли Клодий и Милон вражду триумвинов?... — И, помолчав, прибавил: — Скажи, господин, верно ли, что голод в Риме усиливается?

— Не только усиливается, но достиг уже таких размеров, что необходима быстрая помощь. Боги одни ведают, чем все это кончится. Мне кажется, что для пресечения этого бедствия нужен муж, облеченный высшей властью и общим доверием. Как думаешь, есть ли у нас такой человек?

— Помпей?!

Цицерон молчал, точно не слышал возгласа вольноотпущенника. Вдруг встал, прошелся по таблиуму и, остановившись перед Тироном, сказал:

— Узнай, все ли готово к пиршеству. Думаю, хозяин этого дома благородный Нигидий Фигул не разгневется на меня за своеволие, допускаемое у него.

Тирон улыбнулся.

— Не беспокойся, господин мой! Хозяин любезен: зная о сожжении домов твоих плебсом, он предоставил свой дом, кроме верхнего помещения, в котором работает, в твое распоряжение. Сегодня он сказал благородной матроне, твоей супруге, что она может черпать из его кладовых нужное продовольствие, а из погреба — вина.

— Нигидий Фигул — лучший друг. Пусть воздадут ему бессмертные за все добро, которое он сделал мне!

Вышел из таблиума и, поднявшись по узенькой лестнице наверх, проник в помещение, напоминавшее атриум, с большим комплювием, через который проникал свет. Среди столов, загроможденных пергаментами и папирусами с римскими и греческими письменами, и амфор, наполненных жидкостями и травами, стоял высокий длиннородый муж в одной тунике. В руке он держал этрусское зеркало, которое наводил на солнце, стараясь, чтобы лучи попадали в воду сосуда, стоявшего на невысоком треножнике.

— Привет тебе, дорогой Публий, — сказал Цицерон, с любопытством поглядывая на чашу и зеркало.

— Привет и тебе, Марк! — ответил Нигидий Фигул, продолжая одной рукой держать зеркало, а другой сыпать в сосуд серый порошок, который захватывал металлическим совком из вазы. — Отречение, отречение, отречение, — зашептал он, — умиловивление божества, жизнь и смерть — формы вечно сущего, неизменного...

— Что ты говоришь, Публий?

Нигидий Фигул искоса взглянул на Цицерона.

— Когда я думаю, что человечество мечется, воюет, грызется, богатеет и нищенствует, я смеюсь над ним! Ибо жизнь — это греза бессмертной души, ее сон, а смерть — настоящая жизнь, или пробуждение; поэтому земля, которая снится душе, не существует вовсе, а душа, приняв телесную оболочку, проходит через очистительное испытание... Единый бог...

— Бог? Какой бог? — вскричал Цицерон. — Неужели это правда, что ты уверовал в единого бога иудеев и отрекся от наших богов?

Фигул помолчал. Потом тихо вымолвил, как бы с сожалением:

— В твоём голосе послышалась насмешка. Я знаю, ты подумал: «Верит в бога варваров!» Но ты забыл, дорогой Марк, что о единстве божества учил также премудрый Сократ...

Он взял Цицерона под руку и подвел к столу. На разостланном куске пергамента были крупно начертаны греческие числа.

— Видишь? Это десятирица мудрейшего из мудрейших! Пользуясь ею, я проникну в потусторонний мир, вызову души Сократа, Платона и самого Пифагора! Я узнаю от них будущее, которое они прочтут не в книгах Фортуны, как мыслят многие, а которое увидят приближающимся к земле, подобно тому, как местность бежит навстречу скачущему во весь опор всаднику. Все предопределено: и существование государств, и войны, и рождения великих полководцев, тиранов, писателей, и забвение многих, и возвеличение иных после смерти!

— Всё повторяется? — шепнул Цицерон.

— Всё. Мы жили сотни раз и будем жить...

— Зачем?

— Чтобы совершенствоваться. И когда душа станет равной божеству, она окупится

в Хаос, чтобы омыться в нем, ибо представление о земле исчезнет, воспоминания изгладятся и начнется новая жизнь в воспоминании вечно движущегося Космоса...

— Не понимаю, — сказал Цицерон. — Учение Пифагора о вечном круговороте не есть ли красивый софизм, придуманный философом, который, очевидно, боялся смерти? Страшась бесследного исчезновения, он впал в теорию ¹⁰ пентаграммы, создал тетрактиду, давшую десятирицу, и построил учение, как некий могущественный царь — великолепный город...

— Вот сосуд с водою, — перебил его Нигидий Фигул, — я направляю лучи солнца, чтобы освятить ее, и, когда вода, очищенная светом, станет прозрачной в себе, я позову непорочных детей, усыплю их блеском этого зеркала и буду беседовать с душами мудрецов. Хочешь присутствовать при этом таинстве?

— Нет, — отказался Цицерон. — Сегодня, как тебе известно, у меня пир, и, если ты, ученейший муж, согласишься почтить нас своим присутствием, мы будем счастливы и возблагодарим богов за их милость!

— Пока соберутся гости, я успею совершить таинство, а потом буду рад провести несколько часов в обществе твоих друзей...

На пиршестве Цицерон старался быть веселым, но это плохо ему удавалось. Всё его раздражало: и Теренция, одевавшаяся не по возрасту, и её грубые остроты, и умный разговор Аттика с Туллией, любимой дочерью, которая утверждала, что родина Гомера — Смирна, а не какой-либо иной город, доказывая свою правоту ссылкой на ионическую речь в поэмах великого певца и полузабытые свидетельства ученых греков. Но всё это были только придирки, главной же причиной раздражения являлись безвыходность, в которой он очутился после возвращения из изгнания, и необходимость, вопреки убеждениям, поддерживать триумвиров.

«Пойти на службу к врагам, которые меня предали в руки Клодия? Поддерживать их, заискивать перед ними и унижаться? О боги, до чего я дожил?! Прав Варрон, величая их трехглавым чудовищем, а я должен смириться перед ними, иначе они меня уничтожат или вновь отправят в изгнание!»

Мысль о скитаниях на чужбине была невыносима. В Фессалонике он чуть не сошел с ума, лишенный возможности заниматься политикой, выступать перед толпой на форуме, разлученный с близкими и друзьями. Общественная деятельность на пользу отечества была Архимедовым рычагом, приводившим в движение всю его жизнь, и, если рычаг не работал, жизнь останавливалась, увядала, чтобы, захирев, умереть.

Но теперь общественная деятельность вновь открывалась перед ним: он был знаменит, как во время заговора Катилины (сам Помпей Великий заискивал перед ним), и знал, что нельзя не покривить душой, иначе месть триумвиров повергнет его в беды.

— Почему не поехал я в Галлию легатом при Цезаре? — мучительно шептал он, потирая переносицу, что служило признаком раздражения. — Там бы я жил спокойно, отличился, и не страшны были бы мне триумвиры... Но ведь Цезарь — триумвир! Везде они! Всюду их тяжелая могущественная лапа!

Примирение Помпея с аристократией, вызванное стремлением устранить Клодия от снабжения продовольствием Рима, а затем рост влияния триумвира на государственные дела испугали Цицерона. Нужно было выбирать между двумя

¹⁰ Созерцание, отвлеченное рассматривание.

сословиями, и он не колебался; решил скрепя сердце добиваться в сенате закона, который предоставил бы Помпею сроком на пять лет высший надзор за гаванями и рынками республики.

— Помпей будет заботиться о снабжении Рима хлебом, Клодий не посмеет ему мешать, — говорил Цицерон друзьям, — и голод в государстве прекратится. Все-таки лучше надменный Помпей, чем наглый Клодий!..

Аттик пожал плечами.

— Клодий распространяет слухи, что голод был искусственно создан Помпеем, который стремится к царской власти. Клодий угрожает выставить свою кандидатуру в эдилы и кричит на форуме, что не допустит, чтобы сенат вознаградил тебя за разрушенные дома и виллы.

Цицерон побледнел.

— Но разве у нас нет Милона? — сказал он. Конечно, есть. Милон женат на Фавсте, дочери Суллы, и он со всем и головореза ми сильнее Клодия, однако многие сенаторы готовы поддерживать не Милона, а Клодия, чтобы ослабить могущество триумвиров.

— Верно, Клодий откололся от триумвиров, — согласился Цицерон, опустив голову, но тотчас же поднял ее: — Да будет проклята борьба за власть! — воскликнул он сдавленным голосом. — Пусть боги тяжко покарают мужей, злоумышляющих против отечества!

V

Поддержанный Цицероном, Помпей получил надзор за хлебной продажей в республике и проконсульскую власть: в его распоряжение перешли государственная казна, войска и корабли; пятнадцать легатов были выделены ему в помощь.

Помпей деятельно принялся за обеспечение Рима продовольствием. Корабли подвозили хлеб со всех концов земли, и голод прекратился. Но Красс, ненавидевший Помпея, злоумышлял против него. Узнав, что во дворце Помпея остановился изгнанный из Египта восставшим народом царь Птолемей Авлет и что Помпей хлопочет о восстановлении его на престоле, Красс стал тайно работать против триумвира. Сначала он распространил слухи, что сто александрийских послов, отправившихся в Рим с целью обвинения Птолемея, убиты в дороге сикариями Помпея, а затем, добиваясь назначения в Египет, поручил Клодию возобновить нападки на него.

В следующем году борьба возобновилась. Клодий привлек к суду Милона, обвиняя его в насилиях, и, когда поднялся Помпей, чтобы защитить своего сторонника, выступил Сальвий. Свист, крики, вопли, площадная брань не давали Помпею вымолвить ни слова.

Клодий поднял руку.

— Тише, квиристы! — возгласил он. — Прежде, чем начнет Помпей Великий защищать грязного разбойника Милона, я хочу спросить: кто морит вас, квиристы, голодом?

— Помпей, Помпей! — закричала толпа.

— Кто стремится отправиться в Египет?

— Помпей, Помпей!

— Кого следует послать?

— Красса, Красса!

— Горе тебе, Клодий! — вскричал Помпей, — Боги видят твою подлую работу, видят твою лживость, продажность и пусть воздадут тебе по заслугам!..

Клодий захохотал.

— Что мне твои боги, Помпей? Вот римский бог, — указал он на плебс, загромаждавший форум, — и ему одному я служу! А вы, триумвиры, кто вы? Популярны? Не верю. Ты, Помпей, не первый раз перебегаешь к нобилиям, а разбойник Милой найдет себе смерть где-нибудь на помойке рядом с вонючей падалью!

— Ха-ха-ха! Го-го-го! — гремел форум вслед взбешенному Помпею, который быстро удалялся, едва владея собою.

Триумвир вошел во дворец, оставив ликторов при входе, отстранил Юлию, бросившуюся ему навстречу, и заперся в таблинуме.

На душе было тяжело.

«Тогда... возвращаясь из Азии... я распустил легионы... А ведь мог бы стать единодержавным правителем Рима... Не решился... Хотелось спокойной жизни, домашнего уюта, семейной тишины...»

Стукнул кулаком по столу и выбежал на улицу.

— Пусть он враг, — шептал он, следуя за ликторами, — а всё же триумвир!

Красс, взбешенный нерадивостью скриба, не сумевшего взыскать с должника деньги, драл его за уши и бил по щекам, когда Помпей появился на пороге.

— А, это ты, Великий! — сказал Красс, отпуская раба, из глаз которого катились слезы. — Взгляни на этого бездельника, который разоряет меня! Он не учел синграфы, и я потерял пятьсот динариев! Я поступил с ним слишком человечно, а ведь следовало бы дать пятьдесят ударов!

— Что для тебя эти деньги? — презрительно пожал плечами Помпей. — Неужели Крез будет себе портить кровь из-за нескольких динариев?..

— Несколько! — возмутился Красс. — Ты, видно, не расслышал, дражайший! Я сказал: пятьсот!

— Не время тратить время на это. Нам предстоит заняться более важными делами. Отпусти сcribes, прошу тебя.

Когда они остались одни, Помпей спросил:

— Давно получал известия от Цезаря? Что он делает? Где находится?

— А разве он перестал тебе писать?

— Нет, — смутился Помпей, — «о я не ответил на его последнюю эпистола, и он, очевидно, обиделся.

Красс усмехнулся.

Цезарь находится в Равенне. он часто разъезжает по Цизальпинской Галлии, чтобы творить суд, созывать знать на собрания, разбирать жалобы... Он заказывает итальянским купцам оружие лошадей и одежды, — подняв толстый указательный палец, тихо сказал он, — вербует воинов, переписывается с римскими друзьями при помощи тайного алфавита, следит за событиями в республике, принимает почитателей и просителей, приезжающих из Рима...

— А известно тебе, Марк Дициний, что аристократия злоумышляет против нас? Она ненавидит Клодия и поддерживает его...

— Знаю больше. Сенаторы во главе с Цицероном обсуждают, как отменить аграрный закон Цезаря. И я ждал Помпея Великого, чтобы он предложил первый, что делать.

— Мой совет — ехать к Цезарю... предупредить его...

— Ты прав. Обсуждение аграрного закона назначено, по предложению Цицерона, в майские иды, и, если мы не оглушим сенат сильным ударом, триумvirат будет ниспровергнут. Не отправишься ли со мною?

— Нет, я должен ехать за хлебом в Сардинию и Африку.

Красс лукаво прищурился.

— Как относятся к Цезарю популяры? Помпей вспыхнул, поняв косвенную насмешку.

— Не знаю, — с раздражением ответил он.

— Гм... жаль... говорят, ты заигрываешь с нобилиями?

— А ты?..

Красс притворно поник головою.

— Увы, — вздохнул он, — я не политик. Меня беспокоит Эврисак, этот римский булочник из вольноотпущенников, который, сумев скупить поставки муки для государства, безбожно нажился! Он стал чересчур богатым, его называют негоциатором, и я боюсь, как бы он не скупил partes...

Но Помпея раздражала жадность Красса, и он перебил его, заговорив о большом театре, который строил при помощи греческих архитекторов.

— Это первый каменный театр, — гордо сказал он, и римский народ, без сомнения...

— Плебс тешится в деревянных театрах, — воскликнул Красс, — и выступающие гладиаторы, плясуны и мимы радуют его жадный взор не меньше, чем бои львов, тигров, пантер, слонов и обезьян... Помнишь эдильские игры Скавра? Он украсил свой деревянный театр тремя тысячами статуй, великолепными картинами из Сициона и мраморными колоннами; восемьдесят тысяч человек могли созерцать разнообразные зрелища...

Помпей встал.

— Завтра, с помощью богов, я надеюсь отплыть в Сардинию. А ты?

— Прежде чем ты проснешься, я буду уже далеко от Рима.

Они обнялись и поцеловались, но сердце каждого горело ненавистью друг к другу.

VI

Отойдя от политики, Лукулл стал распространять в Италии греко-восточную культуру и жить с утонченной роскошью азийского царька, для которого все дозволено и каждое желание которого — закон для подчиненных. Золота и драгоценностей было так много, что, приезжая на купленный им остров Нисиду, где возвышалась на крутой горе в зелени садов богатейшая вилла, с мраморными портиками, просторными библиотеками, украшенными редкостными произведениями искусства, термами и триклиниями, он запирался в таблинуме и, отомкнув окованный железом сундук, погружал в него старческие руки: золотые и серебряные монеты, звеня и прыгая, сыпались из пригоршней, и звон вызывал улыбку на румяном морщинистом лице. Золотые кубки, унизанные драгоценными камнями, различные геммы и безделушки, дорогие вещицы, скупленные на Востоке, — все это хранилось в дубовых и кипарисовых ларцах, украшенных подвигами величайших героев и полководцев. Посещая Байи, где у него была вилла, и Тускулум, где высились дворцы, построенные греческими архитекторами и украшенные знаменитыми художниками, Лукулл принимал друзей, ученых, эллинских гистрионов и устраивал великолепные пиры, где лучшие римские повара состязались в искусстве приготовления

изысканнейших блюд.

Слава о его обедах гремела по всей Италии, и число приглашенных достигало нередко тысячи человек. Многих гостей амфитрион не знал вовсе (их приводили с собой друзья). Волегалая за столом с учнейшими мужами и наслаждаясь едой, винами, плясками дев, непристойными телодвижениями мимов, звуками лир и кифар, он поглядывал на десятки незнакомых лиц, беседуя о жизни и смерти, о божестве и власти.

Однажды в Байях, в день его рождения, собралось со всех концов Италии и Греции около двух тысяч гостей, не считая ветеранов с семьями, прибывших из окрестностей, чтобы поздравить «великого сподвижника божественного диктатора».

К пиршеству готовились за месяц — в провинции были посланы гонцы с приказанием закупить у купцов и торговцев редкостную птицу, плоды, овощи, вина.

— Не жалеть денег, — распорядился Лукулл и приказал Герону выдать на покупки триста талантов.

— Господин прикажет предъявить счета?

— Непременно. Я желаю знать, что куплено и в каком количестве.

В назначенный день гости собирались в триклиниях — золотом, серебряном, жемчужном, аметистовом и смарагдовом. Ложа, покрытые азийскими коврами, с золочеными ножками, блестели на причудливых орнаментах мозаики. У колонн стояли статуи богов и героев, а потолок, расписанный вакхическими и любовными сценами, сверкал белизной, на которой выделялись выпуклости розоватых тел. А в комплювий виднелось голубое небо, и косые лучи заходящего солнца золотили стену с изображением Платона, окруженного учениками.

В ожидании обеда гости прохаживались, беседуя.

Когда они заняли места за столами, Лукулл обошел некоторых, приветливо улыбаясь: к одним он обращался с ласковым словом, к другим — с веселой шуткой, к третьим — с остроумным замечанием; иных спрашивал о делах, о семейной жизни, благополучии дочерей, выданных замуж, и сыновей, собиравшихся жениться.

Подойдя к столу, за которым возлежали Базилл, Хризогон, Арсиноя, Марк Эмилий Скавр с женой, Фавст Сулла, его сестра Фавста, Валерия и молодая Постумия, Лукулл сказал:

— Рад видеть у себя родных и друзей божественного императора! Воспоминание о железном Риме времен Суллы наполняет мое сердце гордостью, что я верно служил всемогущему диктатору, а сравнение прежнего Рима с теперешним вызывает во мне горечь и тревогу за будущее отечества! Помнишь, Базилл, громкие победы? Помнишь, Хризогон, почести и благодеяния, которыми осыпал тебя император? А ты, Арсиноя, конечно, не забыла, каким добрым опекуном был для тебя наш вождь и отец! Он выдал тебя замуж, наградил богатым приданым, а ведь прежде ты принуждена была плясать на про-7янутом канате, чтобы заработать себе на хлеб...

Арсиноя привстала и, схватив руку Лукулла, прижалась к ней губами.

— Господин мой, годы бедности были для меня самыми счастливыми. Я часто видела его и любила первой девичьей любовью, — страстно, до умопомрачения... Увы! Это было давно...

Хризогон спокойно улыбнулся.

— Император повелел ей выйти за меня замуж, — сказал он, не обращая внимания на побледневшую Валерию и вспыхнувшую Постумию. — И, если он первый обратил на нее внимание, следовательно, она хороша... Ведь император был так разборчив в

красоте девушек...

Но Лукулл уже не слушал его: он повернулся к родным Суллы:

— А вы, Валерия, Постумия, Фавст и Фавста? Как помогают вам боги в жизненных делах? Чем почтена вами память императора?

— В его вилле я построила маленький храм Славы, — шепнула Валерия, и глаза ее затуманились: не могла забыть мужа, хотя после смерти его прошло много лет.

— А я, — подхватил Фавст Сулла, — буду служить его сподвижнику Помпею Великому...

Лицо Лукулла омрачилось. Молчал, не желая порицать сына императора, и думал: «Как мельчает род Суллы! Дети великих отцов всегда бывают ничтожеством... Вот Фавста... и пасынок императора Марк Эмилий Скавр... Чем Помпей прельстил Фавста? Дочерью? И за кого выйдет рыжеволосая Постумия?..»

Вздыхнул и отвернувшись от них, медленно подошел к столу, за которым возлежали Цицерон, Теренция, Туллия, Атик, Квинт, брат Цицерона, с Помпонией, Публий Нигидий Фигул, Катон и Марк Брут.

— Великий оратор и муж древней доблести, — обратился он к Цицерону и Катону, — столпы дорогого отечества, и я рад, что за этим столом возлегают мудрость, добродетель и, — повернулся он к Фигулу, — философия. Скажи, благородный Публий Нигидий, верно ли будто ты предсказал большие несчастья нашей родине?

— Будущее скрыто во тьме, и Фортуна не любит, чтоб приподнимали повязку с ее глаз... Но звезды, бегущие по начертанным путям, принимают в определенные дни и часы угрожающие положения... Больше я ничего не знаю.

— Разве эти угрожающие положения обращены против Рима?..

Фигул взглянул на него:

— Не спрашивай, друг, я еще сам не знаю предначертанного, клянусь тетрактидой! Халдеи говорят: «Когда облако застилает сердце созвездия Большого Льва, сердце страны подвержено печали, и звезда царя или верховной власти тускнеет». Это начало наблюдений. И, когда я их кончу, позволь мне сдернуть перед тобой завесу с будущего...

Лукулл кивнул и поспешил занять место за столом (заиграли флейты, возвещавшие начало пира), где уже возлежали: Мурена, Парфений, Марцелл с женой, Лукреций Кар, Катулл, Корнелий Непот и Цереллия, женщина-философ, дружившая с Цицероном.

Рабы разносили яства на золотых и серебряных блюдах. Лукулл собирался обратиться с вопросом к Мурене, но голос Антония, занимавшего ложе неподалеку от амфитриона, нарушил наступившее молчание:

— Скажи, атриенсис, порадует ли нас господин изящными плясуньями, игрой мимов и дурачествами шутов? Говоришь, гости ни в чем не испытают недостатка? Слышите, Курной, Целий и Долабелла? А ты, Селлюций Крисп, напрасно заглядываешься на тещу, жену и дочь Бибула!

Это был намек на Марцию, жену Катона, дочь которого Порция была замужем за Бибулом; из двух дочерей она взяла с собой на пиршество старшую — двенадцатилетнюю, которая считалась уже невестой.

Восклицание Антония задело консулярного мужа. Бибул привстал, чтобы проучить семнадцатилетнего мальчишку, но Лукулл, точно не замечая его намерения, заговорил с ним:

— Обрати внимание, дорогой мой, на этого жареного павлина. Квинт Гортензий Гортал наш знаменитый оратор, первый оценил породу этой птицы и — слава богам! — нашел в тебе достойного последователя!

Все засмеялись.

Бибул, превозносивший павлинье мясо, с жадностью схватил жирный кусок и, пачкая усы и бороду, принялся обглаживать кость, громко чавкая. Но, вспомнив о своем обидчике, сердито взглянул на Лукулла.

— Благодарность любимцу богов, нашему амфитриону, — вымолвил он с набитым мясом ртом, — и порицание за его хитрость. Почему ты, благородный друг, отвратил мой гнев от этого неоперившегося птенца? — указал он на Антония.

Задев локтем золотое блюдо с ломтями хлеба, он уронил его на пол. Звон золота, ударившегося о мозаику, заставил всех встрепенуться.

Раб бросился поднимать блюдо, но Лукулл остановил его небрежным жестом.

— Эй, атриенсис! — крикнул он. — Прикажи вынести это блюдо вместе с хлебом и павлиньими костями!

Ошеломленные гости переглядывались.

— Как, золотое блюдо? — шептали они. — Вынести золотое блюдо, как сор? Поистине Лукулл богаче самого Креза!

Заиграли кифары, флейты и систры. Сквозь нараставшие звуки прорвались веселые слова песни Алкея:

Смачивай легкие вином,
Ведь созвездие делает поворот.

Лукулл улыбался, прислушиваясь к беседе Цереллии с Корнелием Нипотом и Лукрецием Каром.

— Разве не видишь, благородный Корнелий, новшеств, которые вторгаются в нашу жизнь, выворачивая ее наизнанку? — говорила Цереллия, полнотелая матрона с горячими глазами. — Взгляни на крупных и средних землевладельцев: одни — патриции, другие — всадники и плебеи, но выше стоит и большим уважением пользуется не тот, кто знатен, а тот, кто богаче. Старые аристократы смешиваются с всадниками. Они живут в городах, пируя и развратничая, а их виллами управляют колонны и рабы. Жены разоряют мужей, ищут любовников, которые дарили бы им драгоценности и красивых невольников. Вольноотпущенники и восточные бродяги могут теперь найти работу в колонии, муниципии или в городе с киклопическими стенами, а ведь раньше они не смели приблизиться к городу и просить гостеприимства. Промышленность развивается: в Верцеллах, Медиолане, Мутине и Аримине вырабатывают керамические изделия, лампы и амфоры, в Падуе и Верроне — ковры и одеяла, а в Парме беднота занимается тканьем на дому, получая прекрасную шерсть от собственных стад. Фавенция — область льна, Генуя — рынок дерева, кож и меди, доставляемых лигурами, в Аретии выделяются греческими рабами лампы и вазы из красной глины, а из рудников Ильвы доставляется в Путеолы железо, из которого куются мечи, шлемы и гвозди. Неаполь славится приготовлением различных благовоний и духов, Анкона — пурпурных красок. Но дух Катилины бредит по Италии...

— Во всем ты права, благородная Цереллия, — кивнул Лукулл, — кроме запугивания нас Катилиною... Как-то проезжая в Байи, я изумился, увидев толпы

красильщиков, сукновалов, ткачей, валяльщиков, портных, башмачников, носильщиков и извозчиков. Они, очевидно, шли на работу. Но удивительнее всего то, что эти люди находят работу и живут неплохо.

— Находят работу? Живут неплохо? — вскричала Цереллия. — А знаешь, что они ненавидят оптиматов?

— Ты умолчал, что каждая твоя поездка вызывала огромные расходы! — воскликнул Корнелий Непот. — Разве за твоей повозкой не шли сотни ремесленников, которых ты нанимал для нужд облагодетельствованных тобою бедняков, хотя у тебя были свои ремесленники-рабы? Ты, благодетель; давал работу посторонним...

— Нет, — усмехнулся Лукулл, — не для работы набирал я их, а для учения: они должны были изучить восточное искусство и распространить его по всей Италии.

— Да, народилось новое поколение, союзные города стали муниципиями и имеют свой сенат, избранный из декурионов, и своих магистратов...

— А ты не замечаешь, благородная Цереллия, — спросил Лукулл, — что различие сословий сглаживается? Цезарь первый начал набирать в свои легионы сыновей из знатных фамилий и бедняков из муниципий. Подумайте, он взял с собой Мамурру, этого хитрого Мамурру!

— Мамурра был некогда негодяем, — заметил Катулл, — говорят, он содержал, по примеру вольноотпущенников, две-три школы и не делал различия между детьми плебеев и сыновьями сенаторов, всадников и центурионов... Он много возомнил о себе и был в связи с дочерью сенатора...

— Однако он сумел обворовать Цезаря, — сказал Лукулл.

— Но чем, чем? — вскричал Корнелий Непот. — Мамурру я видел. Толстый, мясистый боров с заплывшими жиром глазами и свиным носом...

— Нет, ты ошибся, — возразила Цереллия, — глазки у него черные, быстрые, а нос вовсе не похож на свиной...

Лукулл подозрительно оглядел собеседников: не намекал ли историограф на внешность Суллы? Ведь нижняя часть лица диктатора несколько напоминала лицо Мамурры.

Резко оборвал разговор, указав на нагих девушек, которые приближались с легкой пляской к столу, позвякивая золотыми и серебряными браслетами на руках и ногах. Впереди была гибкая гречанка, любимица амфитриона.

Катулл не сводил с нее жадных глаз, и Лукулл, шутливо ударил его по руке, засмеялся:

— «Глазами насилует то, что не должно видеть».

Катулл смутился. Гречанка приблизилась и, прежде чем он мог опомниться, выдернула из черных волос розу и бросила ему на колени.

Лукулл быстро переглянулся с нею, но Цереллия перехватила его взгляд, в котором сверкнул насмешливый огонек: «Зачем издеваться над поэтом? Правда, Лукулл ненавидит Клодию, но влюбленный Катулл достоин снисхождения... Поэт не должен влюбиться в эту девушку, — достаточно с него одной Лесбии, которая отравила ему жизнь».

Повернувшись к Лукуллу, Цереллия шепнула:

— Пощади его и не смейся.

Но он, устремив взгляд на плясуний, сказал, точно не слышал ее слов:

— Разве не знаешь, что тело — источник жизни?

VII

После обеда началась шумная пирушка. Триклинумы гудели оживленными голосами гостей, потом их заглушили звонкие звуки флейт, кифар, систров; начались пляски. И опять во главе девушек выступала стройноногая гречанка, И опять она бросала цветы Катуллу.

Поэт был грустен после разрыва с Клодией.

Лукулл со смехом" протянул ему фиал:

— Выпьем за любовь! Ты, я вижу, воспылал страстью к »той гречанке.

Катулл молчал.

— Хочешь, я подарю тебе ее?

— Благодарю тебя, консуляр и великий полководец! Она прекрасна, но я боюсь женщин. Одна испепелила мою душу, а сердце догорает, как фитиль в лампе.

— Она умеет любить...

— Благодарю тебя. Но кто умеет любить лучше Клодий?

Лукулл нахмурился.

«Дочери Аппия Клавдия обожают фаллус под личиною Приапа, — подумал он, злобно скривив губы при воспоминании о развратной жене, — а мне осталось утешаться с десятками юных невольниц! Но хвала Венере! Я сумел взять всё от жизни — не меньше, чем мой господин Люций Корнелий Сулла».

— Как думаешь. Публий Нигидий, — Обратился он к Фигулу, — может ли из нашего молодого поколения, которое бесстыдно, нечестно, сладострастно, легкомысленно, нагло и бездушно, выдвинуться хотя бы один значительный муж? Вот Марк Антоий, внук великого оратора и сын претора, вот Гай Скрибоний Курион, сын консуляра, вот Марк Целий, сын путеолского менялы, а вот и Гай Саллюстий Крисп, сын богача из Амитерна. Чего они стоят? Антония и Курнона называют мужем и женой, Целия, некогда катилинианца и любовника Клодии, — соучастником умерщвления александрийских послов, а о Саллюстий говорят, что он разорился из-за женщин. Это — римская молодежь!

— Несомненно, от этой молодежи многого не следует ожидать, но боги желают, чтобы были исключения...

— Ты говоришь...

— Даровитейший из них — это Антоний, и если он сумеет обуздать свои страсти...

Подошел вольноотпущенник и подал Лукуллу эпистолу.

Сломав печать, амфитрион извинился и начал питать. И вдруг обратился к гостям:

— Персидский маг Митробарзан пишет мне в ответ на мою эпистолу о цели человеческой жизни, о загробном существовании, о метампсихозе и о будущих жизнях. Слушайте.

И он прочитал письмо на греческом языке, малопонятное, сплошь пересыпанное темными рассуждениями и ссылками на Зендавесту. Имя Заратуштры чередовалось с именами Пифагора, Сократа, Платона и Аристотеля, а слово «перипатетики» повторялось три раза, что, несомненно, имело свой сокровенный смысл.

— Объясни, Публий Нигидий, как разрешил маг твой вопрос? — спросил Лукулл.

— Ты хочешь знать, в чем цель нашей жизни? В совершенствовании, — ответил философ. — Каждая жизнь-это ступень той таинственной лестницы, которая ведет к завершению круга вечного возвращения в мир, но так как круг бесконечен, то и бесконечна жизнь, прерываемая восхождением на ступень; тогда начинается как бы краткий отдых, т. е. смерть, а на самом деле восхождение продолжается, ибо душа

переходит в новое тело, чтобы вдохнуть в него жизнь, и так до бесконечности. Видишь эти звезды? — указал он на серебряные крупинки, сверкавшие на черном пологие неба. — Завершив первый круг очищения, души переносятся в Космос и попадают в новые миры, ибо Душа Космоса — это частицы бесчисленных душ. Достигнув же совершенства, души перелетают вновь на нашу Землю и, воплощаясь, дают жизнь, полную величия, подвигов, добродетели и мудрости: так соприкасаемся мы в жизни с величайшими философами, подобными Заратуштре и Платону, с героями, подобными Александру Македонскому, Сулле и Аннибалу, с мужами, подобными Сципионам... Теперь понятна тебе цель жизни? На примерах величайших мужей мы учимся храбрости, добродетели и мудрости, а восприняв их высшие душевные качества, приближаемся к совершенству, чтобы стать со временем такими же, как они...

Лукулл вздохнул.

— Откуда ты знаешь, что это так? — спросил он, опустив голову.

— Всё предначертано, как движение миров, смена времен года, всё повторяется и вечно будет повторяться. Незыблемый закон дан мирам, и всё подвластно ему. Что такое загробное существование при бессмертии души? Германцы верят, что души воинов, погибших в боях, уносятся валькириями к престолу Одина, но такое верование похоже на сказку. Зачем душе непонятная жизнь среди дев-щитоносиц? А для чего богу — Душе Космоса — заниматься мелкими людскими делами и взвешивать грехи на весах? Нет, бог — Душа Космоса — не думает, ибо всё обдумал натуралистический Фатум до основания миров, и не так обдумал, как привыкли обдумывать мы, а сообразно численным величинам, на которых зиждется движение, и по тому тетрактида есть альфа и омега жизни. Возьми десятирицу — там тетрактида, возьми тетрактиду — там десятирица. А не является ли пентаграмма усеченным кругом, таинственным для непосвященных, кажущимся измышлением безумных?.. Отсюда берет начало учение о метампсихозе. Переселение душ совершается по законам, имеющим много стадий. Так возникают сотни жизней, сменяемых смертями, и из смертей нарождаются новые жизни, красивые и безобразные, счастливые и несчастные, живые и мертвые.

— Что такое мертвая жизнь? — спросила Цереллия. — И какую цену имеет она в мире? Не есть ли это комок земли или песчинка?

— А разве в комке земли или песчинке нет жизни? Эта незримая жизнь называется мертвой жизнью, и к ней надобно отнести жизнь рабов, животных, птиц и насекомых.

Лукулл грузно поднялся из-за стола и молча прошел в библиотеку. Сотни свитков замелькали перед глазами, и вдруг он увидел раба-библиотекаря, который поднялся ему навстречу и услужливо склонил голову.

Потребовал сочинения Платона, но не читал их, хотя глаза были устремлены на пергамент. Думал о письме персидского мага и рассуждениях Фигула.

«Жизнь... — думал он. — Неужели я возвращусь и буду жить бесконечно? Но как? Может быть, буду мучиться бедняком, нищим, рабом?.. Без хлеба, голодный или избиваемый господином, я буду страдать, проклиная богов, и погибну, чтобы переродиться в лошадь, свинью или червяка? Вот я богат, а чем стану? И буду ли сожалеть о былом богатстве? Всё это забудется, точно не бывало вовсе... Поэтому нужно наслаждаться жизнью, не думая о смерти».

Лукулл стремился к общественной жизни, к магистратурам, а триумвиры угрожали расправой, доведением до нищеты. И он занялся философией, чтобы убить пустоту жизни. Лежал ли в объятиях невольницы, обедал ли один или с друзьями,

прогуливался ли в саду, читал ли папирус или пергамент, — всюду стояла мысль. Она преследовала, не давала покоя. Он стал заговариваться, не спал по ночам и к утонченным ласкам любимой гречанки был равнодушен.

Календы сменялись идами, иды — календами: он впадал в детство — ничего не понимал, забывал о еде, прогулке и сне, и гречанка поняла, что господин не в своем уме: ему была нужна не любовница, а нянька.

И в самом деле: он заставлял рабов чертить пентаграммы, превращать тетрактиду в десятирицу и сосредоточенно думал, почему пентаграмма является символом круговорота и метемпсихоза, а тетрактида — символом жизненной энергии на Земле. А иногда говорил, что мог бы заседать в сенате и решать государственные дела. Тогда овладевало им бешенство, и он проклинал триумвиров, величая их носителями насилия и произвола.

Однажды он не узнал пришедших к нему друзей, а Публия Нигидия Фигула велел рабам выгнать. Все поняли, что старик сошел с ума.

VIII

Получив известие, что новый кандидат в консулы угрожает, придя к власти, отнять у него войска, Цезарь, торопился увидеться с триумвирами и назначил им свидание в Лукке, где расположился на зимние квартиры.

Перед его домом теснились лектики двухсот сенаторов, всадников, матрон и знатных плебеев, надеявшихся получить золото для уплаты долгов и покупки должностей, молодые люди, добивавшиеся магистратур и вступления в легионы в качестве легатов, трибунов и квесторов, попрошайки-аристократы, разорившиеся патриции, искателя приключений и сотни лиц, привыкших бездельничать и жить на чужой счет в ожидании наследства от не торопившихся умирать родителей и родственников. А у дверей стояли ликторы, проконсулы и преторы.

Цезарь знал этих людей по именам: несколько скрибов докладывали ему за день до приема о положении, занимаемом магистратом или молодым человеком, о связях просителя со знатными лицами, об его долгах и богатстве родителей. Взвешивая, насколько мог быть ему полезен тот или иной человек, Цезарь щедрой рукой расточал богатства, — вербовка сторонников была основной целью, а свидание с Крассом и Помпеей завершало дело, ради которого триумвиры должны были встретиться в Лукке.

Пирь и увеселения следовали один за другим — Цезарь не жалел денег; а когда почти одновременно прибыли Красс и Помпей, один в сенаторской, другой в консульской тоге, когда заиграли трубы и ликторы, предшествовавшие лектикам, стали разгонять праздный народ, Цезарь вскочил на коня и поехал им навстречу.

Сердечно обнялись и расцеловались. Потом пошли пешком: стройный, высокого роста Цезарь, седой, коренастый Красс и тучный, широкоплечий Помпей. Беседуя с ними, Цезарь уловил в глазах Помпея зависть, а в речах — скрытое раздражение; Красс же был невозмутим.

«Красс, по крайней мере, честен, — думал Цезарь, — он не злоумышляет против меня, зато Помпей неискренен. Неужели родство не сблизило нас? Оба они враждуют, тайно подкапываются друг под Друга, но я должен помирить их, чтобы трое составили тело, объединенное одной волей и одним стремлением».

Он спросил Помпея о здоровья Юлии, о семейных и личных делах и равнодушно слушал рассказ Помпея о беременности жены, о сыновьях, которые мечтают о военной

славе и подвигах, учатся ездить верхом, владеть копьем и мечом и хотя преуспели уже в греческом языке, но эллинская литература и искусство мало их занимают.

— И в самом деле, — прибавил Помпей, самодовольно поглядывая на Красса и намекая на его сына Публия, большого почитателя Цицерона, — зачем мужу, который готовится быть полководцем, ораторское искусство и умение изощряться в спорах? Ему нужен меч, копье и наука передвижений войск во время сражений.

Однако Цезарь, смотревший на семью, как на средство к достижению заветных целей, только пожал плечами.

— Будущее покажет, на что способны твои сыновья, — сказал он, — и любоваться ими прежде, чем они прославились, это значит, подвергаться разочарованию.

Помпей хотел возразить, но они уже входили в дом, и Цезарь спрашивал раба, отправились ли уже его любовницы, на прогулку и кто из плясуний остался дома.

— В кубикююме находится юная секванка, которую ты приказал не беспокоить, — говорил невольник с бритой головой и лицом. — Она плачет... не ест и не пьет...

Это была рабыня, купленная Цезарем на невольничьем рынке в Лугдуне, четырнадцатилетняя белокурая девочка с пугливыми глазами и румяными щеками. Цезарь хотел ее сделать своей наложницей, но она отбивалась от него, кусаясь и царапаясь, как дикий зверек.

— Не ест и не пьет? Я навещу ее позже...

В атриуме он предложил триумвирам возлечь за стол и пообедать, а затем, подняв фиал за их здоровье, выплеснул несколько капель вина в честь Вакха.

— Друзья, — сказал он, — наша судьба зависит от нашей сплоченности, любви и единства. Пока мы держимся один за другого, никакая сила в мире нас не опрокинет, но стоит лишь начаться раздорам, как аристократы раздавят нас поодиночке. Поэтому, друзья, умоляю вас, во имя богов, перестаньте враждовать друг с другом!

— Разве мы ссорились? — притворно удивился Красс. — Мы жили мирно, и Помпей Великий ни в чем не может меня упрекнуть...

— Верно, мы не ссорились, — усмехнулся Помпей. — Но я знаю, что ты, Марк Лициний, возбуждал против меня Клодия, да и ты, Гай Юлий, натравливал его на меня, несмотря на наше родство... Этот подлый Клодий...

Цезарь спокойно перебил его:

— Ты несправедлив, Гней Помпей! Меня, выдавшего за тебя дочь, обвинять в кознях? Постыдись. Никогда я не приказывал Клодию травить тебя. Правда, он мне подвластен, потому что я вождь популяров, как и ты, Помпей...

Помпей молчал, опустив глаза.

— ...и я прикажу Клодию оставить тебя в покое. Вмешался Красс.

— Ты, Гней Помпей, обвиняешь меня несправедливо, — молвил он. — Скажи откровенно, за что ты меня ненавидишь? Скорее мы должны сердиться на тебя: я — за отнятую у меня победу над Спартаксом, а Лукулл...

Помпей вскочил, — лицо его пылало.

— Молчи! Подлые завистники распространяют лживые слухи, сам Лукулл старается меня очернить, — но кто, как не я, победил Митридата, завоевал Иудею и ряд азийских царств? Что принадлежит Лукуллу, то Лукуллово, а что мне — то мое!..

— Тише, друзья, — приподнялся Цезарь, — оба вы велики, а кто выше, — рассудит потомство. Не время ссориться, когда враги злоумышляют против нас. Я подымаю фиал, во имя Зевса Филия, за нашу дружбу: да будет мир ненарушим среди триумвиров!

Они встали, обнялись и поцеловались.

— А теперь, друзья, — продолжал Цезарь, — возягте вновь и слушайте. Если вы согласитесь выставить кандидатуры на консульство, я помогу вам добиться его на следующий год, а для этого пошлю в Рим своих воинов: они будут голосовать за вас. И вы получите: ты, Гней, Африку и обе испанские провинции на пять лет, а ты, Марк Лициний, — Сирию на такой же срок. А для меня вы должны добиться управления тремя Галлиями на следующее пятилетие...

Помпей равнодушно слушал, и это равнодушие волновало Цезаря. Зато оживившееся лицо Красса ясно говорило о сдерживаемой радости.

— Ты, Марк Лициний, завоеешь парфянское царство, разбогатеешь втрое или вчетверо, а самое главное — прославишься навеки. Недаром тебя сравнивают по военным дарованиям с Александром Македонским!

Красс сжал Цезарю руку. Он не мог говорить от волнения, только глаза преданно и восторженно смотрели на Цезаря.

— Твой сын Публий, — продолжал полководец, — оказался храбрым, способным и не лишенным дарований. Сейчас под его начальствованием находится часть конницы, и я обещаю тебе, дорогой Марк, что на полях битвы он научится опрокидывать в боях турмы отчаянных галльских наездников!

— Да поможет тебе Юпитер во всех твоих помыслах и стремлениях, — вымолвил, наконец, Красс и протянул виночерпию чашу: — Налей. Что же ты, Гней Помпей? Выпьем за здоровье Гая Юлия Цезаря!..

Помпей нехотя поднес кубок к губам, но Цезарь остановил его.

— Подожди, — пристально взглянул Цезарь на него. — Будь откровенен: скажи, что не радуется тебе в моем предложении?

Помпей, хмурясь, взглянул на него:

— Почему ты умолчал об Италии?

— Ты хочешь Италию? Бери ее.

— Также Африку и испанские провинции?

— Конечно.

Лицо Помпея прояснилось, — улыбка мелькнула по пухлым губам.

— Клянусь богами, — весело вскричал он, — теперь, когда все мы пришли к соглашению, я ожил, помолодел! Испанией и Африкой я буду управлять через легатов, а сам останусь в Италии, чтобы не покидать любимой жены.

Красс едва сдерживался от негодования. Вымогательство Помпея казалось ему неслыханной наглостью: они, триумвиры, только что договорились о взаимной поддержке и не успели еще разойтись, как один уже торгуется...

— Скажи, Цезарь, — спросил Красс, — верно ли, что Галлия тобой завоевана? Не присоединил ли Ты незавоеванных земель?

— Тебе писал Публий?

— Публий писал, но не об этом:

— Вся Италия уверена, что Галлия завоевана, следовательно, она завоевана, — засмеялся Цезарь. — А когда начнутся восстания, я примусь усмирять непокорные племена!

— Разве ты уверен, что Галлия восстанет? Тогда зачем же ты объявил ее римской провинцией?

— Объявление Галлии провинцией будет причиной восстания свободолюбивых племен. И, как только они подымутся, мой легат Лабий вторгнется в область

треверов, Квинт Титурий Сабин — в северную Галлию, Публий Красс — в Аквитанию, а Децим Брут, к которому присоединюсь и я, приступит к постройке судов на Лигере в области венетов.

— Ты хитроумен, Цезарь! Только предупреждаю тебя: не превысь своей власти, иначе сенат отзовет тебя...

— Сенат?! — вскричал Цезарь. — Сенат это мы — триумвиры! Вся власть, могущество, весь Рим с его владениями, — всё наше, всё в наших руках! Не так ли сказал Гомер:

«Боги все разделили на три части, и каждому царство досталось».¹¹

Бледное лицо его окрасилось румянцем, — глаза блестели. Хлопнул в ладоши.

— Приведи, — приказал он подбежавшему рабу, — неутешную секванку... Только, друзья, скорбит Ниобея не о погибших детях, — над ней занесен Дамоклов меч!

Красс и Помпей засмеялись.

Вошла юная секванка, робко остановилась посреди атриума. "Подняв испуганные глаза на Цезаря, она отшатнулась от него и побежала в кубикулум.

Побагровев, Цезарь встал.

— Я оставлю вас, друзья, на одну клепсу,¹² — сказал он и пошел за нею.

— Непокорная рабыня сопротивляется, — улыбнулся Красс, — и я буду удивлен, если Цезарь не обуздает ее строптивость.

— Мой друг Варрон утверждает, что давно пора отрешиться от варварского взгляда на невольника: раб — не говорящее орудие, а человек.

— Скажи Варрону так: не смущай квиритов пустыми бреднями, а лучше пиши свои сочинения.

Вскоре из кубикулума донесся девичий крик, его сменило рыдание, и Цезарь появился в атриуме, ведя за руку плачущую секванку. Одежда ее была в беспорядке, залитые слезами щеки пылали.

Цезарь заставил ее возлечь рядом с собою и выпить вина.

— Скоро Ниобея утешится, — сказал он со смехом, — а через несколько дней станет неистойвой жрицей любви.

IX

Как и предполагал Цезарь, так и случилось. Галлия восстала. Полководец жестоко усмирять ее. Победив венетов, он приказал казнить вождей, а племя продать в рабство.

Всюду были успехи. Особенно обрадовало Цезаря завоевание Аквитании Публием Крассом.

Желая привязать к себе военачальников и легионариев, Цезарь разрешил им грабеж Галлии.

«Пусть обогащаются», — думал он, захватывая львиную долю добычи и закрывая глаза на преступления Мамурры и Лабiena, которые с невероятной жадностью грабили не только галльскую знать, но и зажиточных людей, а сопротивлявшихся

¹¹ «Илиада», XV, 189.

¹² Римский час, так же как и греческий, делился на три части, называемые клепсами, по 20 минут каждая. Оттого водяные часы назывались клепсидами.

казнили, утверждая, что «варвары замешаны в заговоре».

Народ ненавидел иноземцев, вторгшихся в отечество, и слово «Рим» приводило бедноту в ярость. Цезарю не доверяли, и он, чтобы обезопасить себя, пошел на сближение с богачами. Поставив вождей во главе племен, он надеялся, что все эти Тасгетии, Коммии и Думнориги помогут ему укрепить римское владычество в Галлии.

Спокойствие в стране казалось прочным. Из Рима приходили каждый день известия — Цезарь знал обо всем: великий Лукулл умер; выборы откладывались, потому, что народные трибуны, сторонники триумвиров, налагали veto, когда обсуждался вопрос о дне выборов; Красс и Помпей надеялись, что с января сенат будет назначать на каждые пять дней интеррекса, заместителя консула в комициях, и если интеррексом окажется преданный сенатор, они выставят свою кандидатуру; сенаторы, надев траурные одежды, обвиняли Помпея в тирании, но Красс и Помпей с притворным недоумением пожимали плечами; Габиний и Антоий вторглись в Египет, чтобы восстановить на престоле Птолемея.

Читая эпистолы, Цезарь смеялся. «Пусть грызутся, — думал он, — а я добьюсь, чего хочу. Опасен только Катон — показная ходячая добродетель, лицемер и дурак, а его сторонники — ничтожество».

Кликнул Публия Красса и с нескрываемым восхищением смотрел на его красивое лицо с черным пушком на верхней губе, на шею и холеные руки.

— Поедешь в Рим во главе воинов... будете голосовать за Красса и Помпея... Передай привет своей богоравной супруге, дочери Метелла Сципиона, скромной, прекрасной, мудрой и нетщеславной... Когда я вспоминаю ее рассуждения о философии и геометрии Эвклида или игру на лире, когда слышу как бы в сновидении гимны Гесиода, которые она исполняет со страстью вакханки, я завидую тебе, Публий, и думаю: «Зачем боги не дали мне такой жены?»

Публий Красс смущенно улыбнулся:

— Вождь, твоя супруга Кальпурния не лишена достоинств...

— И всё же, Публий, она не чета Корнелии!.. Поезжай же. Бери в награду за твою службу всё, чего хочешь...

Он открыл походный ларец, и драгоценные камни засверкали, искрясь и переливаясь.

— Благодарю тебя, вождь! Но отец мой достаточно богат...

— Бери, бери. На память о Цезаре. А Корнелии передай от меня эту жемчужину.

И он протянул ему самую крупную жемчужину, оправленную в золотую звездочку.

— Подожди. Скорописцы кончают эпистолы, которые ты лично передашь своему отцу и Помпею. Извещай меня ежедневно обо всем, что делается в Риме... Будь здоров, да хранят тебя силы Олимпа!

Он привлек к себе Публия Красса и крепко поцеловал в губы.

Условия, принятые в Лукке, твердо проводились триумвирами. Красс и Помпей были избраны консулами. Рогация народного трибуна Гая Требония, сторонника Цезаря, о назначении провинции консулам на пять лет была принята и закон объявлен.

Читая донесения о событиях в Риме, Цезарь думал: «Этот и будущий годы обещают быть для меня урожайными. Красс готовится к парфянскому, а я стану готовиться к британскому походу. Посмотрим, кто больше удивит Рим — он или я? И кто добьется большего могущества и славы? Я превзойду своими победами Суллу и Лукулла или никогда не возвращусь в Рим. Цезарь должен быть живым в Риме или мертвым в Галлии».

Весною он двинулся из Цизальпинской Галлии в Трансальпийскую и, узнав о переходе германцев через Рен, пошел против них.

Узнав от прибывших в лагерь послов о цели вторжения германцев (они желали получить земли и находиться под покровительством Рима), Цезарь завязал с вождями мирные переговоры, а сам думал, как сорвать их. Он приказал тайно подойти легионам, находившимся в отдалении, и ожидать приказа.

«Идя в Британию, я должен обезопасить себе тыл, — решил Цезарь, — варварам доверять нельзя. Лучше напасть на них внезапно и перебить, чем получить удар в спину и бесславно погибнуть».

Вечером он приказал нескольким турмам ударить в тыл германским наездникам и, стоя на претории, наблюдал, с радостью в глазах, за движением всадников. Однако лихой налет турм был отражен германцами.

Солнце садилось, и в розовом закатном сиянии вырастали огромные лошади с бородатыми германскими наездниками, мчавшимися с копьями наперевес и занесенными мечами, с диким воем и топотом за римскими всадниками. Цезарь видел бежавшие в ужасе опрокинутые турмы, сбитых на землю людей, раненых и обезумевших коней, и поник головою. Только на мгновение.

— Трубить отступление, — закричал он Лабиему, готовившемуся ударить всей конницей, и, когда тот осмелился возразить, запальчиво прибавил: — Слышал? Исполни, что приказано. Варваров более четырехсот тысяч.

«В открытом бою их не разбить. Красс назвал меня хитроумным... Но Красс советовал не превышать власти... Не превышать?.. Нет, сделаю, как нужно! Я не желаю удобрять телами римлян варварские поля!»

Ночью был отдан приказ легионам быть в боевой готовности. А утром Цезарь возобновил переговоры с германскими вождями.

Окрестность Нивмеги казалась огромным муравейником — германцы, расположившиеся на отдых, дожидались обеда. Над кострами висели котлы, и рослые, высокогрудые женщины, опоясанные мечами, подбрасывали сучья в огонь, напевая воинственные песни.

Вдруг на середине лагеря появился окровавленный вождь, что-то закричал, взмахнул мечом. Воины вскочили.

— Что он говорит? — метнулись крики. — О, всемогущий Тир! Мечь, мечь! Цезарь заключил вождей под стражу!..

— Мечь, мечь!..

Окровавленный вождь взобрался на дерево и собирался произнести речь, но было уже поздно: римская пехота и конница внезапно обрушились на лагерь.

— Измена!

— Предательство!

— Мечь, мечь!

Свистели камни, стрелы и копья, падали глыбы камня, вырывая из толпы десятки бойцов, и длинные стрелы, поражая зараз нескольких человек, опустошали ряды варваров.

Войска германцев наскоро строились в круги, чтобы укрыть женщин и детей, а конники вскакивали на лошадей... Но не было вождей, не было единого начальника, а римляне напирала со всех сторон. Среди криков воинов и визга женщин, среди невероятного смятения и топота коней слышалась, всё заглушая и тревожа испытанные в боях сердца, грозная и упорная работа баллист и катапульт. И некуда

было уйти от глыб и стрел, негде укрыться, — всхолмленное поле, мелкий кустарник кое-где и несколько одиноких деревьев не могли служить опорой против стремительно напавшего врага.

Германцы бились с отчаянной храбростью; многие, окруженные со всех сторон, не желая сдаться, кончали самоубийством, иные бросались в одиночку на целые центурии...

Стоя на претории, залитой жаркими лучами солнца, видя перед собой пыльную завесу, из которой доносились крики и лязг железа, слыша вопли убиваемых женщин и детей, Цезарь хладнокровно ожидал донесений.

Лабием прислал гонца, требуя подкреплений. Цезарь ответил:

— Турмы римских всадников могут и должны смять остатки узипетов и тевктеров.

Вскоре примчался гонец от Мамурры:

— Цезарь, пришли один легион. Полководец ответил:

— Не дам ни одного война. Знаю Мамурру — он победит или умрет.

Вспомнил Публия Красса: «О, этот молодой человек никогда не просил подкреплений! Гордый, храбрый и решительный, он победил бы уже давно! Победил бы?.. А пошел бы он против... Да, это бойня. Вероломство? Ну и что ж? Так нужно. Зачем они переправились через Рен?..»

К вечеру всё было кончено: поле, усеянное тысячами трупов, печально расстилалось перед глазами Цезаря, который, верхом на коне, объезжал его в сопровождении военачальников.

Мамурра радостно болтал, упоенный успехом, а Лабием хмурился.

Цезарь искоса взглянул на него:

— Скажи, Лабием, что с тобою? Неужели тебя не радует блестящая победа?

— Победа?! — с изумлением вскричал начальник конницы. — О, Цезарь, Цезарь! Не победу принес нам этот лень, а позор! Это...

— Молчи, — шепнул Цезарь, страшно побледнев. — Ясли бы не мы их, они бы нас...

— Ты прав, Цезарь! — хором закричали военачальники. — Кто против Рима, тот должен умереть!

Лабием молча смотрел на окровавленную землю и думал, почему от жестокой власти одного мужа зависят десятки тысяч жизней неповинных людей, и не мог найти ответа.

«Неужели так предрешено богами? Неужели Фатум решил исход переговоров Цезаря с германскими послами задолго до их встречи? О, если это так, то не лучше ли человеку не родиться вовсе? Жизнь — грязная вонючая труба для стока нечистот».

К решению Цезаря перейти через Рен для устрашения германцев он отнесся почти равнодушно и, когда легионы совершали набег на земли свебов, каттов и сугамбров, думал: «Честность и справедливость во время войны несовместимы. Война — это неизбежная смерть тела или души... А что предначертано, того не избежать».

Х

Красс деятельно готовился к парфянскому походу: поручив сыну набор воинов и трибунов, он приводил в порядок свои дела и составил опись имущества, которое уже превышало семь тысяч талантов.

«А от отца я получил всего триста талантов, — думал он, потирая руки и весело бегая по таблинуму, несмотря на тучность. — И я сумел умножить свое состояние и

вдохнуть жизнь в золото! Оно живет в моих руках, как младенец в утробе матери, питается моей предприимчивостью и заботами, дышит и улыбается».

Он прошелся по таблинуму.

— Пусть будут прокляты аристократы, каркающие о неудаче этой войны: «Несправедливость перед лицом богов!» — злобно шепнул он, сжав кулаки. — А почему многие сенаторы и популяры превозносят Цезаря, допускающего грабежи?

Окруженный друзьями и клиентами, он вышел побродить по городу.

Лето было на исходе, но жара еще донимала. Он хотел взглянуть на театр Помпея, с которого сняли уже леса, и полюбоваться зданием, восхваляемым римлянами.

Выйдя на площадь, он отшатнулся. Белая громада сверкающего мрамора, казалось, надвигалась, как живая; портик, украшенный картинами Полигнота и статуями побежденных Помпеем народов, был великолепен. Он вошел внутрь с необъяснимым чувством священного трепета, полюбовался статуей работы Аполлония, сына Нестора, колоннадой, обнесенной стенами, которая образовала курию Помпея, предназначенную для заседаний сената, и — вздохнул.

«Помпей увековечил себя, — подумал он, — а я? Пусть грызутся аристократы, — не буду ввязываться в их борьбу...»

Возвратившись домой, он нашел в таблинуме сына. Публий задумчиво вертел в руках эпистола.

— От кого? — спросил отец.

— От Цезаря.

— Гм... Что же он пишет?

— Цезарь собирается в Британию. Он образовал из галлов вспомогательный легион, который назвал «Жаворонком»... «Алауда», — прибавил сын, засмеявшись.

— Так, а известно тебе, что Катон и его приверженцы обвиняют Цезаря в вероломстве и требуют выдать его, по нашему древнему обычаю, германцам?

Публий Красс тонко улыбнулся.

— Ты опасешься, отец, за Цезаря?

— Разве не было у нас подобных случаев? — вскричал Красс. — Вспомни Гостилия Манцина, выданного неприятелю!

Публий пожал плечами.

— Это было давно. Теперь времена иные. Цезарь опирается на верные легионы, которые, не задумываясь, растерзают всякого, кто посягнет на их вождя!

Триумвир прошелся по таблинуму и, подойдя к сыну, взял его с нежностью за подбородок:

— Как дела, Публий?

— Хорошо, отец! Однако я должен предупредить тебя, что воинов приходилось набирать принудительно.

— Ну и что ж?

— Аристократы подослали народных трибунов, которые пытались помешать мне, но помог Помпей; он уговорил трибунов закрыть глаза на принудительный набор.

Марк Красс взглянул на Публия:

— Надеюсь, ты поедешь со мною...

— И ты еще спрашиваешь, отец! — вскричал сын, целуя ему руку. — Куда ты, туда и я!..

— А Корнелия? Подумал ли ты о ней?..

— А моя мать? Подумал ли ты, отец, о ней? Старик рассмеялся.

— Мы римляне, — сказал он, — и разве может нас удержать от исполнения долга любовь, родственное чувство или дружба? Никогда! Отечество любезнее нам матери, жены, любовницы, друга и родных, и мы скорее изменим своим привязанностям, чем предадим родину, подобно Кориолану!..

— Как ни жаль мне, отец, разлучаться с женой и родными, я согласен с тобою... Позволь же мне перед отъездом побыть один день с Корнелией, которая... которая...

— Ты волнуешься, сын мой! Непристало воину быть рабом такой горячей привязанности... Но хорошо — пусть будет так. Помни, что в Азии мы найдем немало женщин, которые заставят тебя скорее, чем ты думаешь, забыть Корнелию...

Войдя в атриум, они столкнулись с обеими матронами. Тертуллия постарела, — морщины избородили ее лицо, волосы поседели, но глаза остались те же — горячие и живые, в которые так любил заглядывать Цезарь, убеждая ее влиять на мужа. Рядом с нею стояла нежная Корнелия с мечтательным лицом и умными глазами.

Публий вспомнил похвалы Цезаря и, посмотрев на нее, смутился. Она перехватила его взгляд и с недоумением спрашивала глазами причину смущения.

Овладев собою, Публий рассказал о похвалах Цезаря, намекнув на подаренную жемчужину, однако Корнелия не придавала значения его рассказу и сказала со смехом в голосе:

— Подобно гомоцентрическим окружностям, которые не могут соприкоснуться или пересечься, как бы мы ни уменьшали или увеличивали их, наши пути с Цезарем не могут соединиться...

Публий поблагодарил ее взглядом и, взяв под руку, направился с ней к перистиллю, чтобы пройти в сад, а Марк Красс остался с Тертуллией. Он ожидал от нее упреков и слез, резких обвинений, что оставляет дом и богатства, увозит с собой сына, и удивился, когда жена молча обхватила его за шею и прижалась к нему.

Растроганный, он взял ее голову в руки и, целуя, сказал:

— Если нам суждена смерть, позаботься, жена, о детях и Корнелии.

XI

Проклинаемый народным трибуном за негодную богам войну, которую Красс задумал навязать парфянам, терзаемый скорбными глазами Корнелии, триумвир торопился покинуть Италию.

Ему было шестьдесят лет, но он был крепок, как дуб, бодр душой, предприимчив, жаден к славе. Рядом с ним худощавый Публий казался нежным растением, выросшим в тёплом краю, а на самом деле он не уступал отцу выдержкой, силой мышц и неустрашимостью, подобно Кассию, ехавшему с ними.

Покинув Италию поздней осенью, триумвир переправился через Боспор и в начале следующего года вступил в Сирию.

Пополняя свои войска сирийскими легионами, он получил известия из Рима, что Цезарь посылает большие деньги Бальбу и Оппию, своим сторонникам, для подкупа нищих сенаторов, приобретения земель, статуй, произведений искусства, постройки домов, вилл, мостов и заставляет предпринимателей и плебеев, чтобы дать им заработок, прокладывать дороги. Брут писал Кассию о работах по расширению форума, которыми заведывали Оппий и Цицерон, о сносе бедных лачуг; на месте их предполагалось построить огромный дворец для комиций, в виде мраморного прямоугольника, с портиком и прилегающим к нему общественным садом.

Красс хмурился: он не завидовал Цезарю в богатстве, но боялся его чрезмерного

влияния на сословия.

— У него множество слуг, помощников, гонцов, прислужников, архитекторов, приближенных; он скупает невольников и уже стал самым крупным рабовладельцем Италии. Но он хитер, — любит, чтоб о нем говорили и восхваляли; поэтому он награждает невольников, платит некоторым жалованье, иных отпускает на волю. Однако умеет и наказывать: плети, пытки, крест!

— Цезарь пользуется большой известностью в Италии, — сказал Кассий, — народ превозносит его, квиристы величают «единственным императором», и могущество его беспредельно.

— А разве я и Помпей забыты? — спросил старик.

— Нет, вождь, и вас всюду восхваляют, но Цезаря больше всех.

Красс отложил синграфы.

— Что еще нового? — спросил он.

— Лукреций Кар покончил самоубийством...

— Умопомешательство от злоупотребления афродизиастическими напитками?

Кассий кивнул.

— Его манускрипты приводит в порядок наш друг Цицерон, — сказал Публий, боготворивший оратора.

— Цицерон, Цицерон! — презрительно пожал плечами старик. — Цезарь внушил ему мысль, что спасение республики — в Аристотелевом примирении монархии, аристократии и демократии, и чудак принялся писать рассуждение «О республике», а так как он притом оказался в больших долгах из-за покупки вилл, то Цезарь ловко предложил ему несколько миллионов сестерциев.

— Квинт Цицерон отправился к Цезарю, чтобы нажиться грабежами, — усмехнулся Кассий, — а Катулл стал врагом триумвиров: он нападает в своих стихах на тебя, благородный проконсул, на Помпея и Цезаря. Особенно достается Мамурре, любимцу «единственного императора».

Красс презрительно пожал плечами.

— Кому нужна эта служебная поэзия? Восхваление аристократов есть восхваление обреченного сословия...

— Пусть так, — кивнул Публий, — но согласись, отец, что его ямбы метко бьют в цель. Говорят, он занялся мифологической поэзией александрийцев и начинает пренебрегать ямбами...

— Ямбы, ямбы! — засмеялся старик. — Только насквозь прогнивший развратник мог воспеть Квадрантарию под именем Лесбии!

Но Публий и Кассий стали возражать, доказывая, что Катулл — величайший римский поэт и что Невий и Энний уступают ему в силе, звучности и красоте.

— А Лукреций Кар? — ехидно спросил Красс, прищурившись.

— Лукреций — поэт-философ, — возразил Публий, — и его нельзя сравнивать с Катуллом, творения которого отличаются от произведений Кара.

Вошел караульный легат и доложил, что легионы готовы к походу. Публий и Кассий поспешно ушли, чтобы занять свои места в войске.

Выйдя из шатра, Красс вскочил на подведенного коня и выехал при звуках труб к выстроенным легионам.

Красс двигался в Месопотамию во главе девяти легионов, четырех тысяч вспомогательных войск и пяти тысяч всадников.

Воины, которым была обещана богатая добыча, шли весело, с песнями. Красс, уверенный в успехе, шутил с военачальниками.

Когда легионы вторглись в Месопотамию и, укрепив мост на Евфрате в Зевгме, перешли через реку и заняли Апамею, Карры, Ихны и Никефорий, цветущие греческие города, полководец напал на парфянского войско и, разбив его, обратил в бегство.

Имея целью привлечь врага к Евфрату и там уничтожить его, он не пошел дальше, а, оставив в городах часть легионов и всадников, возвратился на зимние квартиры в Сирию.

После дождливой осени наступили холода, но войска мало страдали от них, — проконсул заблаговременно позаботился о теплой одежде.

Деятельность его была разнообразна: он поддерживал обширную переписку с Помпеем, друзьями, сенаторами, менялами, вилликами и сборщиками денег с должников, взыскивая налоги с азийских городов, отдавал деньги в рост под баснословные проценты и, скупая статуи, ковры, картины, драгоценности и рабов, перепродавал их с прибылью; но доходы казались ему небольшими, и он послал в Иерусалим нескольких трибунов во главе испытанных когорт, приказав опустошить храмовую сокровищницу.

— В случае сопротивления, — приказал он, — поступать как на войне. Иудеи достаточно богаты, а их единый бог достаточно делает для них денег там, — поднял он со смехом указательный палец, — на небе...

Шутка ему понравилась, и, когда сокровища были доставлены на ослах и мулах в лагерь, он повторял ее, не спуская жадных глаз с кожаных мешков, наполненных драгоценностями, которые выгружались в его шатре.

Мучимый алчностью, он не мог спокойно спать. Несколько раз вставал ночью и проверял караул, опасаясь, как бы воины не растащили награбленную добычу. Не доверял даже Кассию, а в честности сына хотя и был уверен, однако думал: «Молод и легкомысленен — может не доглядеть. Предметы из иудейского золота и серебряные сикели славятся своей полновесностью».

Чуть забрезжило утро, он уже был на йогах. Послав Кассия на разведку, он позвал скрибов и повелел им составить опись добычи.

Известия о мятеже и казни Думнорига и о вторжении Цезаря в Британию взволновали Красса. Не доверяя сообщениям Цезаря (живо было воспоминание о присоединении к Риму незавоеванной Галлии), триумвир думал, ворочаясь на леопардовой шкуре:

«Не то же ль в Британии? Величие Цезаря? Гм... сомнительно... А вот удача его велика, потому что Цезаря ведет Фатум».

Он спросил Кассия, переписывавшегося с Цицероном, не получал ли он эпистолы от оратора, и обрадовался, услышав ответ:

— Да, полководец, Цицерон пишет со слов своего брата Квинта, который находится при Цезаре, что «единственный император» едва не погиб и спасся только случайно...

Красс рассмеялся.

— Я так и знал! — вскричал он. — Кто много говорит о величии Цезаря, тот уподобляется бедным родственникам и клиентам, превозносящим богатого удачливого мужа. Я не верю и в его военные способности, а победы его просто случайны. Наглое же хвастовство, подкупы и вероломство завершают круг его деятельности.

Кассий молчал, пожимая плечами, но Публий вступился за бывшего начальника:

— Ты неправ, отец, унижая Цезаря. Он упорно идет к цели, а цель его — величие Рима, спокойствие в Италии и провинциях, мирный труд ремесленника и деревенского плебея...

— Молчи! — вспыхнув, перебил Красс. — Ты не знаешь, что говоришь! Из-за честолюбия и жадности к золоту проливает он кровь в Таллин, эта же причина заставила его вторгнуться в Британию... Он меньше всего думает о спокойствии в республике, хотя и кричит об этом!

Публий подумал, что если отец прав, обвиняя Цезаря, то не та же ли причина заставила Красса отправиться в Парфию, а Помпея получить Италию, Африку и Испанию?

Он не посмел возражать и сказал словами Эппия:

— «Только сильным мужам даровано счастье».

Красс самодовольно кивнул и повернулся к рабу-оценщику, который протягивал ему опись сокровищ:

— Сколько?

— Полторы тысячи талантов, не считая иудейских сикелей.

— Хорошо. Позаботился ли ты о покупке юных невольниц?

— Куплено, господин, стадо в двести голов и перепродано обществу публиканов для лупанаров...

— Прибыль?

— Пятьдесят восемь процентов всех затраченных денег. Одну рабыню, самую красивую, я оставил для тебя. Прикажешь привести?

Красс подумал и сказал, взглянув искоса на Публия:

— Приведешь вечером.

«Сын должен утешиться, — думал он, — разлука с Корнелией не должна омрачать прозрачной его души».

ХII

Сальвий и Лициния жили в Риме; молодой ибериец, страстно привязанный к Клодию, был его правой рукой, а жена помогала мужу в его работе. Никто не узнал бы под грубым одеянием прежней весталки, никому не пришло бы в голову заподозрить эту стройную женщину с грустными глазами. А между тем один человек знал, кто она, кто ее спас, и не спускал с нее настороженно-внимательных глаз.

Каждый шаг Лицинии был известен Крассу: раз в неделю вольноотпущенник докладывал господину, кому она относала эпистолы Клодия и краткие приказания Сальвия, что делала, с кем встречалась. Вспоминая ее деятельность во время восстания Катилны и движения Манлия на Рим, Красс с удивлением пожимал плечами. А когда она вышла замуж, стал присматриваться к Сальвию: ибериец возбуждал в нем своей дикой непримиримостью застарелое чувство отвращения к пролетариям.

«Сальвий ненавидит оптиматов, — думал Красс, — и, конечно, его место в рядах Клодия... Но Лициния? Неужели в глубине ее сердца не осталось хотя бы искры родственного влечения к своему сословию? Нет, она должна вернуться к нам».

Отъезд Красса в Парфию не освободил ее из-под тайного надзора, и соглядатай продолжал посылать краткие извещения о ее жизни и деятельности.

Однажды вольноотпущенник получил приказание из Сирии: «Немедленно разлучи Сальвия с Лицинией, а каким способом — сам придумай; можешь поссорить их, рассказав иберийцу, кто его жена. Убеди варвара, что женщина чуждого сословия не может быть сторонницей плебеев, а только врагом. И, когда Сальвий покинет ее, уговори Лицинию ехать с тобой в Сирию, но не упоминай, что она отправляется в мой лагерь. Такова воля богов».

Соглядатай принялся за дело. В таверне, где часто бывал Сальвий, он подсел к нему и стал беседовать о длинноязыких женщинах, которые нередко предают мужей не потому, что их не любят, а оттого, что принадлежат к иному сословию.

— К примеру, твоя жена, — говорил вольноотпущенник, подливая Сальвию вина. — Что ты знаешь об ее прошлом? Говоришь, дочь ветерана Суллы? Ха-ха-ха! Нет, она обманула тебя...

И он рассказал Сальвию об увлечении весталки одним из видных оптиматов, о наказании ее и таинственном спасении, о близких отношениях с Манлием (это была выдумка). Слушая, Сальвий бледнел от бешенства.

В этот день он много выпил и, возвратившись домой, кричал:

— Предательница... весталка... любовница нобиля — вот кто ты! И ты не сказала мне... ты...

Лициния поняла. С ужасом смотрела на Сальвия: «Кто сказал? Ведь прошло столько времени... Знает только он один. Он, соблазнитель...»

Вспомнила Катилину. Тогда смерть его вызвала в ее сердце острое сожаление: он спас ее от смерти! Но Красс, Красс... Когда слышала на улицах столицы от рабов и плебеев о борьбе его с Помпеем, странное желание взглянуть на него хотя бы краешком глаза охватывало ее. И однажды увидела его на форуме в тоге консулярного мужа: он обрюзг, поседел, потучнел, но глаза были те же — серые, ласковые, а толстая шея готова была, казалось, лопнуть от полнокровия. Глаза их встретились, но Красс не узнал ее.

Сальвий спал, разметавшись на ложе. Впервые он напился до бесчувствия, и Лициния, всхлипывая, упрекала себя, что скрыла от него свое прошлое.

Он проснулся ночью и долго не зажигал светильни, а когда вспыхнул яркий огонек, Лициния увидела чужие глаза, устремленные на нее, и задрожала от горя.

— Сальвий, — шепнула она, — я виновата... Но ведь я не знала тебя тогда...

— Патрицианка, госпожа — ха-ха-ха!

— Меня замуровали в каменном гробу, — всхлипнула она, — но спас от смерти Катилина!

Лицо Сальвия прояснилось.

— Катилина? Не лжешь? — выговорил он, задыхаясь.

— Сальвий, он боролся за нас... Он отправил меня к Манлию... там я встретила с тобою...

Сальвий побагровел:

— Но в таверне говорят, что ты — предательница. Побледнев, она смотрела на него дикими глазами.

— Ложь! И ты поверил, Сальвий? Вспомни, сколько лет мы боролись вместе, ты и я, каким опасности повергались, а ты... Как твой язык мог выговорить такое слово?!

Она зарыдала и, бросившись на пол, билась головой о доски.

— Госпожа, говоришь? Какая я госпожа? Такая же госпожа, как Клодий — господин! Разве он не из рода патрициев? А ты не подумал, что раб, оклеветавший

меня, верный слуга нобилей?! О, Сальвий, Сальвий!

Ибериец молчал. Искоса поглядывая на нее, вспоминал Малу, борющуюся рядом с Мульвием, и Лицинию, верную спутницу своей жизни, возглавлявшую женский отряд, когда Манлий шел на Рим. Стыд и раскаяние мучили его Заглянул ей в глаза.

«Разве лгут такие честные и преданные глаза?»

— Прости, жена, — шепнул он, обнимая ее. — Вино помутило мне разум... Но я люблю тебя и верю...

Вечером Сальвий отправился в таберну. С порога он увидел вольноотпущенника, сидевшего в обществе «волчиц». Две из них были лысые, беззубые старухи, а третья — полногрудая, нарумяненная молодая женщина с зазывными глазами, в тунике без рукавов. Простибулы пили вино, как воду, почти не пьянея, и соглядатай не отставал от них.

Сальвий сел за соседний стол и потребовал кружку вина.

— А, это ты, счастливый супруг весталки! — вскричал вольноотпущенник. — Как жаль, что ты не привел ее с собою!

— Помолчи, друг, — ответил Сальвий, едва сдерживаясь, — басни хороши для детей, когда их укачивают на ночь, а мужам пристала правда и доблесть!

— Но твоя жена...

— Ответь сперва: кто твой господин? И если он повелел тебе запятнать ложью честь моей жены, то скажи причину, и я отпущу тебя с миром!

Обнимая молодую «волчицу», соглядатай сказал:

— Слышишь, прекраснейшая, что говорит подвыпивший приятель? Он отпустит меня с миром! Ха-ха-ха!

Сальвий побледнел от ярости.

— Скажешь или нет? — угрожающе выговорил он.

— Нет у меня господина!

Сальвий привстал:

— Хочешь, я назову его имя, продажная скотина? Вольноотпущенник испуганно заморгал глазами, но «волчица» толкнула его локтем в бок:

— О боги! — вскричала она. — Наш герой, равный Геркулесу, испугался смуглого варвара и готов лизать ему пятки, подобно побитому псу. Стыдись!

— Стыдись, стыдись! — подхватили хрипыми голосами старухи.

— Молчите, простибулы!

Но женщины не унимались. К ним присоединились несколько воров и нищих, и вскоре пьяная толпа окружила Сальвия и вольноотпущенника.

Сальвий, притворяясь пьяным, пил вино и пел песней во всё горло. Соглядатай подозрительно следил за каждым его движением. Видел, как голова Сальвия покачнулась и упала на стол, задев кружку с вином, и брызги полетели во все стороны.

Вольноотпущенник успокоился. Незадолго до второй стражи он встал и, пошатываясь вышел на улицу. За столом остались пьяные женщины и Сальвий.

Лишь только дверь захлопнулась, Сальвий выскочил из таберны.

Впереди шел соглядатай, разговаривая с собою. Сальвий догнал его в темной улочке и, схватив за горло, крикнул:

— Имя твоего господина!

Вырываясь, вольноотпущенник внезапно выхватил нож и ударил Сальвия в руку, но тот, не выпуская его, погрузил кинжал ему в грудь.

Соглядатай захрипел, пошатнулся. Сальвий нагнулся над ним и, ощупав одежду, вынул из складок ее таблички и поспешно зашагал.

Остановился на форуме и при свете светильни с трудом разбирал римские письма.

«Зачем приказывает Красс отправить Лицинию в Сирию? — думал Сальвий. — И для чего понадобилась она всесильному триумвиру, богачу и сенатору, воюющему в Азии? Неужели потухшая страсть вспыхнула в старом сердце?»

Сальвий недоумевал. И так же недоумевала Лициния, когда он ей показал эпистолу Красса.

ХIII

Помпей был безумно влюблен. Юлия, выкинувшая год назад, была опять беременна, и триумвир окружал ее заботами и любовью. Но Юлия, вышедшая замуж не по страсти, не испытывала к нему того влечения, на которое он рассчитывал: в его объятиях она оставалась холодной.

Ста не выходила на улицу, стыдясь безобразно вздутого живота и желтоватых пятен на миловидном лице, а вечерами гуляла по саду под руку с Помпеем, едва передвигая отекавшие ноги. Узнав однажды, что бабушка, мать отца, опасно заболела, Юлия попросила мужа отвести ее к ней.

Аврелия умирала. Сын был далеко — он воевал в Галлии, добиваясь славы и могущества — и не он закроет ей глаза. Больная внучка сидела у ее изголовья, и Аврелия думала: сохранят ли боги жизнь Юлии или Харон отвезет и ее душу к престолу Аида? Взглянув же на плотного, широкоплечего Помпея, на его мужественное, тщательно выбритое лицо, заметила седину в его волосах, и мысли приняли иное направление: «Вот он, слава Рима, гордость его... А всё же мой сын знаменитее: он завоевывает Галлию, а Помпей — сердце моей внучки. Один добился много, другой — почти ничего».

С состраданием в глазах кивнула ему:

— Подойди, Помпей Великий! Пусть ясное счастье осенит твой дом, пусть родятся у тебя послушные дети, честные квириты и пусть любит тебя всем сердцем моя внучка!

Юлия, порозовев, наклонила голову:

— Я люблю его, бабушка!

— Не так, не так! — шепнула Аврелия. — О, солнце! Где солнце? Не вижу!.. И тебя, Юлия, не вижу... и тебя, Помпей Великий!.. О, дай мне руку, Юлия! Темно... темно... я боюсь темноты... Это смерть!..

— Благородная госпожа, — громко сказал Помпей, — я позову лучших врачей, и ты еще встанешь... Ты должна жить... Ты одна умела влиять на сына, который часто был...

— Знаю... Молчи. За несправедливость боги посылают тяжкое воздаяние, и Цезарь (она впервые назвала так сына) получит его, если...

Речь прервалась хрипом. Юлия плакала, опустившись на колени, а Помпей не сводил глаз с неподвижного лица Аврелии.

Не заметил, как кубикулюм наполнился близкими и друзьями: не видел никого, — в ушах звучали слова Аврелии о воздаянии.

Он закрыл ей глаза, взял Юлию под руку и медленно направился к двери.

Вторая смерть — смерть Катутла — не опечалила Помпея. Катутл преследовал триумвиров стихами, в которых звучала злобная насмешка, но стихи были хороши, и Помпей, часто досадуя на него, радовался нападкам поэта па Красса и Цезаря.

Спустя несколько дней слегла и Юлия. Находясь в атриуме, Помпей слышал крики и стоны рожавшей жены, несколько раз входил в кубикулум, где она, потная, корчилась с искаженным лицом на ложе, а возле нее суетились повивальные бабки, и молча выходил за дверь.

Роды были трудные — младенец шел не головкой, а ножками. Приглашенный врач-перс, выгнав повивальных бабок, хотел спасти жизнь матери, пожертвовав ребенком. Но искусство его оказалось бессильным: на третьи сутки роженица умерла, произведя на свет хилую дочь.

Помпей был в страшном горе, никого не хотел видеть, на дочь не мог смотреть, и, когда перс, спустя несколько дней объявил, что дочь умерла, Помпей равнодушно взглянул на него.

— Если бы ты спас госпожу, — вымолвил он трясущимися губами, — я заплатил бы тебе две тысячи талантов!..

— Увы, господин мой, — вздохнул врач, — всё, что в силах человека и врача, было сделано, но против воли богов бессильны всякое знание и мудрость...

В день погребения Юлии, которую народ решил хоронить как дочь популяра на Марсовом поле, Помпей, идя за носилками жены, услышал мужской шепот:

— Юлия связывала крепкими узами двух мужей — зятя и тестя. Теперь узы разорваны. Что будет?

Помпей повернул голову, но увидел матрон и девушек, которые шли с опущенными головами. Оглянувшись в другую сторону — тоже женщины.

«Неужели я это сам думал? — покачал он головою. — Война с Цезарем? Пусть война. Довольно я пожил. Всё надоело».

Медленно шел, не глядя на матрон и их дочерей, жадно следивших за каждым его движением.

Цицерон шел не в толпе, а стороною.

«Не успел стать вдовцом, как уже девушки мечтают о замужестве с ним, — думал оратор, догоняя Помпея и беря его под-руку. — Вот Деметрий и его жена-простибула, вот сенаторы, всадники. Все привели своих дочерей: выгодный жених, хе-хе-хе! Они говорят о «женитьбе для пользы государства». Прав был Катон, называя республику свахою!..»

Однако он громко не засмеялся, только лицо его приняло насмешливо-злое выражение, когда он, прищурившись, оглядывал невест.

В Риме происходили уличные беспорядки, стычки между отрядами Клодия и Милона, насилия, подкупы. Общество желало выборов, как выхода из создавшегося положения, но народные трибуны откладывали их под разными предлогами. Помпей не предпринимал никаких шагов.

Из Галлии приходили известия о военных делах Цезаря: восстание эбуронов и уничтожение ими пяти когорт Титурия Сабина, осада в области нервиев Квинта Цицерона в его лагере — не было ли это местию за убийство Думнорига, вождя галльских популяров?

Помпей радовался неудачам Цезаря.

Кончался год, а выборы не были произведены. Помпей злорадствовал, что в городе

анархия и что с начала следующего года все магистратуры будут свободны.

— Клянусь богами, — говорил он Цицерону, — я ни в чем не виноват, а подлые слухи распространяемые нобилиями, будто я хочу отнять власть у сената, лживы. Зачем мне власть? После смерти Юлии ничто для меня не мило, ничто не нужно, и ни одна женщина не сможет утешить меня в понесенной утрате.

— На похоронах твоей супруги я наблюдал за матронами и их дочерьми, — вкрадчиво сказал Цицерон, — они смотрели на тебя с такой жадностью...

— Нет, ты ошибся, — поспешно прервал его Помпей, — я никому не давал повода...

— Знаю, но они дают тебе повод подумать о женитьбе...

В эти дни, прогуливаясь в Лукулловых садах, Помпей часто встречался с Кальпурнией, Тертуллией и Корнелией. Он беседовал с ними о триумвирах и войнах, которые они вели далеко от родины, и сердечно утешал, уверяя, что мужья скоро возвратятся в Рим.

Матроны слушали его с грустными улыбками, не веря, что войны скоро кончатся, и каждая поглядывала на Помпея с признательностью: Кальпурия — с улыбкою в черных блестящих глазах, Тертуллия — слегка наклонив Поседевшую голову, и Корнелия — потупив глаза.

Помпей невольно сравнивал Кальпурнию с Корнелией. Супруга Цезаря уступала красотой, свежестью и обаянием жене Публия Красса, и безутешному вдовцу казалось, что душа Юлии тайно соединилась с душой Корнелии. Он смотрел на нее с немым восхищением, и Кальпурния, задетая его невниманием, сказала с досадою:

— Взирая на чужих жен, глаза иногда портятся. Помпей смутился, но тотчас же нашелся:

— Благородная Корнелия напоминает лицом и глазами покойную Юлию. И я не могу побороть себя, чтобы не смотреть на нее.

Корнелия подняла на него большие черные глаза, похожие на влажные маслины, и тихо вымолвила:

— Я дружила с Юлией, хотя она была старше меня. Увы, Помпей, ты не найдешь такой второй женщины в республике!

— Верно, благородная госпожа, — вздохнул Помпей, — если душа Юлии не соединилась с душой другой женщины...

Он кивнул матронам и быстро зашагал по дорожке, которая вела к выходу.

XIV

Наступила весна. Красс получил известие, что парфянский арсак, вторгшись в Армению, послал против римлян конницу под начальством сурены. Перебежчики говорили о дикой храбрости многочисленных наездников и их стремительных налетах, против которых не мог устоять ни один полководец.

Красс покачивал головою. Он хотел перейти с семью легионами в Зевгме через Евфрат и броситься на парфянские полчища, но армянский царь Артабаз, прибывший с шестью тысячами всадников, отговаривал, обещая прислать еще десять тысяч конников и тридцать тысяч пехотинцев, если Красс вторгнется в Парфию через Армению.

Обдумав предложение Артабаза, триумvir отверг его и двинулся преследовать парфян.

Накануне выступления пробрался к нему в шатер старый жрец.

— Родом я этруск, — сказал он, — изучение мантики отняло у меня все радости жизни. Взгляни на меня — от трудов и размышлений я облысел, но зато мудр, скромн, не тщеславен. Что такое жизнь? Мимолетное представление. Душа моя обогатилась, приблизилась к божеству. И я хочу предостеречь тебя, проконсул! Помни: ты победишь, если в твой лагерь прибдет весталка и сотворит молитвы по известному ей обряду. Мужайся, шли гонцов в Рим, избегай наступать до ее приезда.

Жрец медленно удалился. В молчании Красс просидел всю ночь, размышляя.

«Великий жрец не отпустит из Рима девы Весты... Разве я не подвергся проклятию жрецов, которые считают выступление против мирного народа клятвопреступным? Но если не будет здесь весталки, то должен ли я идти против богов?»

— Боги, боги! — злобно прошептал он. — Прав Цезарь: проклятая выдумка жрецов! Боги не там, на Олимпе, а на земле — мы, триумвиры, владыки земель и народов...

Встал. Долго ходил взад и вперед по шатру. Светильня мигала, чадя и потрескивая.

Вошел караульный легат и доложил, что обходя лагерь, заметил часового, выбравшегося с каким-то бродягой за палисад.

— И ты... — вскричал Красс.

— Я задержал обоих. Бродяга оказался лазутчиком. Оба закованы в цепи.

— Приведи их.

Вскоре предстали два человека: молодой новобранец и бородатый парф.

Красс подошел к воину:

— Бежать хотел?

Легионарий молчал, быстро мигая ресницами; во взгляде, устремленном на полководца, были страх и тупая покорность.

Красс размахнулся и ударил его кулаком в зубы с такой силой, что новобранец, охнув, отлетел на несколько шагов.

— Кто ты? — спросил проконсул, вглядываясь в мужественное лицо варвара.

Парф что-то забормотал. Он говорил быстро, захлебываясь, и Красс, не понимая, смотрел с любопытством на человека, который осмелился проникнуть в римский лагерь.

— Вызови толмача, — повелел он легату. Вошел грек и перевел путаную речь варвара:

— Он говорит, вождь, что парфянские полчища в ужасе, сам сурена не знает, что делать, потому что воины разбегаются: нет оружия, продовольствия. Арсак желает мира, а сурена еще упрямится; вожди варваров боятся римлян...

— Ложь! — перебил Красс — Его слова противоречат имеющимся у меня сведениям. Если бы в парфянском войске было так плохо, он перебежал бы к нам, а не подговаривал бы к бегству легионария...

Подошел к парфу.

— Говори правду, иначе...

Поднял руку — в глазах варвара сверкнул зеленоватый огонек.

— Он утверждает, что не лжет, — перевел грек слова лазутчика, — и клянется...

— Подлый варвар! — крикнул полководец и, свалив ударом кулака соглядата, стал топтать его ногами. — Узнать от него правду...

— Прикажешь пытать? — спокойно спросил легат.

— Пытать огнем и железом. А перебежчику, — повернулся он к лежавшему у входа новобранцу, — отрубить голову при выстроенных легионах.

В шатре опять была тишина. Думал: где найти весталку? И вдруг задрожал от радости: вспомнил Лицинию, спасенную Катилиной, надзор за ней вольноотпущенника, донесения о каждом ее шаге.

— Как же я забыл о ней? — шептал он, принимаясь за эпистолу. — Но у нее муж, и нужно сделать так, чтобы... Да, да... Вольноотпущенник сделает, как я прикажу... О боги! Если она будет здесь, завоевание Парфии обеспечено!

Через час раб-говец выехал из лагеря, направляясь к ближайшей гавани, чтобы сесть на корабль.

Парфы отступали. Неуловимость их приводила Красса в бешенство. Вскоре прибыли послы от армянского царя с известием, что парфянский арсак вторгся в Армению и Артабаз не может прислать римлянам подкреплений.

— Избегай, вождь, пустынь и равнин, где могла бы развернуться неприятельская конница, — говорили они, — не преследуй неуловимого врага: он тебя увлекает в ловушку... Ты еще не воевал с парфами...

Красс вспылил.

— Не вам учить меня, как вести войну! — грубо крикнул он, стукнув кулаком по походному столику.

Кассий молчал, опустив голову. Он не одобрял действий полководца и на приказание его двигаться вперед смотрел как на безрассудство.

Публий же, которому наскучила бездеятельность и который желал отличиться, стремился вступить поскорее в бой с варварами. Ободряя отца, он говорил, что римская конница не преминет опрокинуть скопища дикарей и погонит их, как стадо баранов.

В начале июня, когда легионы подошли к берегу Белика и расположились на отдых, прискакала конная разведка.

— Враг наступает, — доложил начальник, спрыгнув с коня.

— Силы?

— Бесчисленные... Большинство — наездники, закованные в железо.

По лицу Красса скользнула улыбка. Он созвал военачальников и, приказав построить четыре головных легиона в orbis¹³ выставил против неприятеля двенадцать когорт, подкреплённых конницей, а каждому крылу придал восемь когорт.

Полчища варваров надвигались. Впереди скакала тяжелая конница, скрывшаяся тотчас же за холмами. За нею следовали парфянские наездники с занесенными мечами, поднятыми копьями, натянутыми луками.

Красс верхом на белой лошади руководил боем. Седой, коренастый, упрямый, он отдавал приказания и беспощадно рубил беглецов, — когорты едва устояли под яростным напором парфян и, отбив их, стали пускать дротики.

Неприятель дрогнул.

— Стрелки и пращники, вперед! — приказал полководец. — Преследовать врага!

Было жарко, — солнечные лучи отвесно падали на землю. В зное, в стремительности наступления, прерываемого яростными стычками, укрываясь щитами от стрел наездников, видя тяжелую конницу, которая, выехав из-за холмов, развертывалась огромным Полукругом, чтобы охватить римлян, Красс понял, что борьба труднее, чем он предполагал. Однако природное упрямство мешало отступить.

¹³ Круг.

— Укрывшись в лагере, — сказал Кассий, — мы могли бы ночью отступить по пути в Армению. Римские и армянские легионы, действуя вместе, легко бы разбили варваров.

— Молчи, квестор! — вспыхнул полководец. — Твои советы напоминают трусливые речи Артабаза, и я спрашиваю себя: не ученик ли ты его?

— Вождь, — побледнев, возразил Кассий, — я предай тебе всем сердцем, и твоя победа воздавала бы меня больше, чем вероломные победы Цезаря...

И, протянув руку, он указал на легкую парфянскую конницу, которая летела, как птица на крыльях, осыпая стрелами ряды легионов.

— Видишь, стрелы перелетают через тяжелую конницу... А теперь поражают пехотинцев...

Красс ударил коня плетью и поскакал вперед.

— Трубить наступление! Вперед на варваров!

Легионы двинулись. Парфянские наездники обратились в бегство и, вдруг остановившись, выпустили стрелы: грозное жужжание их сменилось яростным воплем воинов.

От правого крыла отделилась римская конница и помчалась наперерез отступавшим наездникам. Впереди мчался Публий с занесенным мечом, в блестящей чешуйчатой лорике.

— Вперед! — кричал он, стегая бичом жеребца и ощущая чувство радостного опьянения, которое испытывал не раз в жарких боях в Аквитании. — За Рим, во славу богов!..

Впереди он видел рослого наездника с гривастым гребнем на шлеме и в золоченой одежде. «Это сурена», — мелькнула мысль, и ему так страстно захотелось взять его в плен, что он пренебрег благоразумием, — мчался осыпая коня ударами, и расстояние между ним и суреной уменьшалось.

Вдруг оглянулся: всадники остались далеко позади, и только он один был в поле, один против наездников, внезапно повернувших к нему коней. Он услышал дикий вой и понял, что погибнет, если не сумеет ускакать.

Ударив коня, он прыгнул к его шее и помчался назад, чувствуя, что задыхается от ужаса. Сзади звенели стрелы, ударяясь в лорику, конь ржал, очевидно, раненный, а он гнал его, подбодряя криками, колотя в бока бронзовыми башмаками.

Дорогу преградил парфянский наездник. Публий увидел на мгновение быстрые узенькие глазки на коричневом лице, блестящий меч. Он налетел на него, ударил со всего плеча по голове и помчался дальше. Оглядываясь, видел скакавших наездников, навьюченных верблюдов на горизонте, к которым подъезжали парфяне, и понял: «Вьюки полны запасных стрел... Нужно отступать, отступать...»

Ворвавшись в лагерь, он, задыхаясь, спешил. Хотел побеседовать с отцом, но полководец, разгоряченный боем, не дав ему вымолвить ни слова, приказал взять тысячу галльских и триста римских всадников, пятьсот стрелков и восемь когорт и приготовиться к наступлению.

— С этими силами ты нападешь на варваров и разобьешь их.

Публий собирался обратить внимание отца на необыкновенную подвижность парфов, неутомимость в боях и хорошее вооружение, но Красс, боясь возражений сына, похлопал его по плечу:

— Я уверен, что боги помогут тебе отличиться!

Сын молча наклонил голову. Марк Красс был проконсул, знавший военное дело,

триумвир и сенатор, и смел ли он, Публий, послушаться знаменитого мужа и отца? Никогда! Лучше смерть, чем даже простое возражение.

— Приказание вождя — закон, — твердо выговорил он и, вскочив на коня, помчался к войскам.

Опять неприятель отступал перед римскими когортами, и опять они шли вперед, палимые солнцем, изнемогая от зноя и жажды. Вдали, в тучах пыли, маячили парфянские наездники, быстрые, неутомимые, неуловимые.

Пуская издали стрелы, они выкрикивали оскорбления на испорченном латинском языке, визжали и хохотали.

Войско шло. Впереди стлался низкорослый кустарник, кругом — пустыня. Публий остановил когорты. И вдруг наездники выскочили из-за бугров, которые он принял за песчаные холмики; они мчались с гиканием и свистом, окружая римлян.

— Воины, — крикнул Публий, и голос его осекся, — смело в бой! Хитрый и трусливый враг должен быть уничтожен!

Слова его заглушил дикий вой.

Подозвав гонцов, Публий приказал им мчаться к отцу за помощью, а сам, построив когорты, решил обороняться, пока не придут подкрепления.

Теперь парфяне не отступали: они издали окружали римлян и вдруг обрушились на них несокрушимой лавиной. Страшная резня происходила на глазах Публия. Он не мог хладнокровно смотреть на гибель бойцов и бросился в гущу боя, увлекая за собой галльских всадников.

Галлы столкнулись с парфянами с яростным воплем. Они опрокинули врага и погнались, поражая длинными копьями, снося головы мечами.

Думая о близкой победе, Публий мчался рядом с бородатым галлом, который легко, точно сбивая палкой листья с кустов, сносил головы. И вдруг справа, слева, сзади, спереди появились новые наездники. Остановив коней, они не преследовали римлян, а спокойно ожидали приближения их, натянув луки.

Обернувшись к всадникам, Публий приказал спешиться, — надеялся продержаться, укрываясь за лошадьми. Но парфяне, очевидно, поняли его замысел.

— О-ла-ла-ла-ла-ла! — прокатился гортанный крик, и кольцо сомкнулось с поразительной быстротой. Галл, скакавший рядом с Публием, упал с пронзенной грудью. Публий пытался пробиться с несколькими смельчаками сквозь гущу варваров, но они, узнав начальника по одежде, окружили его.

Защищался с яростным мужеством, удесятерившим силы, рубил и колот, но лошади, сталкиваясь, мешали движениям и, брыкаясь, возбуждали его коня.

— О, всемогущий Юпитер! — со стоном воскликнул Публий. — Спаси легионы и вождя!

Низкорослый парф ударил его мечом по шее. Публий обернулся, в ушах прокатилось: «О-ла-ла-ла-ла», это был клич наездников — больше он ничего не слышал.

Мягко свалился на землю. Парф спешился и, захохотав, отрубил ему голову и воткнул на копье.

Между тем Красс, считая битву оконченной, занял холм и стал ждать возвращения Публия.

Время шло. Солнце приближалось к закату. Он начал беспокоиться, пеняя Кассию его осторожность. Но с виду был спокоен.

Вдали показалось облачко пыли, оно приближалось, увеличиваясь. Несколько всадников подъехали к проконсулу, и старший из них, спешившись, сказал, задыхаясь:

— Вождь! Легат Публий Красс просит подкреплений!..

Красное лицо полководца внезапно побледнело. Подозвав Кассия, он приказал выступить всему войску.

— Быстрее! — кричал старик, дрожа от нетерпения и страха за сына. — О боги, спасите его, — шептал он, садясь на коня, — о боги...

Легионы тронулись в путь. Не успели они пройти несколько стадиев, как впереди взвился столб пыли, дикие крики сменились воем — на них мчался парфянский отряд. Наездник, скакавший впереди, выехал бесстрашно вперед и, оскалив зубы, взмахнул копьем. Красс остолбенел: голова сына, единственного, любимого, лежала в пыли у его ног: сведенный судорогою рот, окровавленный лоб, прядь слипшихся волос...

Полураскрыв рот, полководец тяжело дышал, хватая губами воздух, как рыба, выброшенная на берег, и серые глаза его темнели.

Легионарии с ужасом переглядывались. Одни тяжело вздохнул, другой прошептал имя Юпитера.

Полководец очнулся, взял себя в руки. Медленно проезжая по рядам воинов, он сказал:

— Римляне, смерть сына касается только отца. Публий Красс исполнил свой долг и пал смертью храброго. Исполните же и вы свой долг — долг воинов и римлян, сражающихся за дорогое отечество, и отразите приступ коварных варваров.

Опять парфы наступали, двигаясь полукругом. Но римляне дружным натиском отразили их, и неприятельская конница ускакала.

Солнце село.

Видя уныние на лицах легионариев-новобранцев и военных трибунов, сыновей нобилей, Красс яростно скрежетал зубами. Однако мужество оставило и его, когда ей, приказав отступить к Каррам, не увидел рядом с собой сына.

— Мы оставляем на поле битвы четыре тысячи раненых, — шепнул Кассий. — Нельзя ли их спасти?

— Нам, нам нужно спастись — с бешенством сказал Красс, — а ты... Пусть боги спасают их, если есть справедливость на Олимпе, а я — не Юпитер, и не Марс! Понял, квестор?

Кассий смотрел на жирное лицо старика и думал: «Вот куда ввергает мужа жажда славы и золота! Но зачем было разлучать Публия с Корнелией? Шел бы старик сам с мешком за золотом и славою!»

Недовольный действиями полководца, он винил в военных неудачах только его: «Не внял мудрым советам Артабаза, и теперь придется просить его же о помощи!»

Прибыв в Карры, Красс, действительно, отправил посольство к армянскому царю.

На другой день к Каррам подступили парфяне. Гортанные крики долго не давали покоя. Сурена требовал выдать Красса и Кассия, а римлян обещал отпустить.

— Воины, выдайте вождей, и вы — свободны! — неслись крики, возбуждая легионариев. А прибывшие послы вели себя нагло, и требования их звучали скрытой угрозой.

— Вон! — закричал Красс и, позвав ликторов, приказал сечь послов прутьями и гнать из лагеря.

Визжа и ругаясь, варвары бежали с позором к ворогам.

— Воины ненадежны, это новобранцы, — сказал Кассий, поглядывая на угрюмых

легионариев, собиравшихся кучками. — Да и вожди недовольны: взгляни на них!

Красс сурово смотрел на него.

— Римляне не посмеют возмутиться: ты забываешь, Кассий, о дисциплине!

— Воля твоя, вождь, но я за отступление. Трибуны поддержали Кассия. Не парфян они боялись, а смерти в чужом краю, вдали от родины, и ужасались, что тела их не будут погребены.

Красс кивнул. Но, когда Кассий посоветовал отступить по старой дороге, упрямый старик воспротивился:

— Приказываю идти по холмам и горам через Армению: тропы и болота недоступны для конницы, и мы будем в безопасности...

Отступали горными тропами. Утомленные легионарии роптали, раздраженные трибуны ворчали. Красс пытался ободрять людей, но они угрюмо отмалчивались. Полководец видел, что влияние его падает.

Кассий воспользовался общим недовольством.

— Вождь, — громко сказал он на привале, — люди устали, путь тяжел. Не лучше ли нам возвратиться, пока не поздно, в Карры, и идти по прежней дороге? Перейдя Евфрат, мы будем в безопасности!

— Что? — высокомерно спросил проконсул. — Ты хочешь бежать из Азии? И это говорит римлянин! Слышите, начальники? Война не кончена, а начинается!

Кассий настаивал.

— Пусть так, — говорил он, избегая смотреть в глаза полководцу, — но оттуда мы сможем двинуться в Армению, а идти по горным тропам...

Красс вспыхнул.

— Если не хочешь следовать за мной, — крикнул он, — иди, куда хочешь!

Кассий молча отошел от него.

Через несколько минут войско двинулось дальше.

Красс ехал, по обыкновению, впереди, но рядом с ним не было Кассия, — знал, что квестор, во главе пятисот всадников, мчался по дороге в Карры.

«Одни погиб, другой покинул, — с горечью думал старик, и глаза его сверкали, — остался я один... Нет, не один! Со мною вечная слава римского имени, древняя мощь Рима и благословения богов даже в тягостный час смерти!»

XV

Они шли дни и ночи. Солнце томило желтым раскаленным глазом, медная луна смотрела с вышины, и ночной холод исходил, казалось, от ее лучей.

Легионарии открыто роптали, трибуны и центурионы, не останавливая их, громко говорили о бездарности полководца.

Красс притворялся, что ничего не слышит. Ругались плебеи, которых он, подобно Сулле, презирал, считая скотами, обреченными на служение мужам знатным и богатым; ворчали сыновья нобилей, знатные выродки, которых, по его мнению, следовало бы уничтожить, чтобы облагородить истинных римлян. Он ненавидел их всем сердцем и только теперь пожалел, что вся его жизнь прошла в бессмысленном стяжании и борьбе с Помпеем.

«А ведь мог же я добиться власти, когда Помпей воевал в Азии, и стать вторым Суллою. В союзе с Катилиной и Цезарем я растоптал бы знать и упорядочил бы Рим... Но нет, тогда я струсил на форуме... Нужно было дать знак к резне, и всё пошло бы иными путями...»

Брезжил рассвет, тусклый и грязный, как окружавшие лагерь болота, небо было в разрозненных тучах, моросил дождь. Когорты тяжелой пехоты и турмы просыпались при звуках труб.

Полководец сидел в полном снаряжении у потухшего костра.

— Вождь, подступают парфяне, — сказал трибун Петроний, останавливаясь перед ним.

Красс встал — рукоятка меча звякнула о медную лорику.

— Двигаться на Синнак, соединиться с Октавием, — приказал он. — В горах мы будем неуязвимы для конницы...

Когорты выступили в путь. Легионарии шли осторожно по трясине, оступаясь и проклиная начальников; трибуны вели лошадей за собой, нащупывая почву, всадники часто проваливались, и воины вытаскивали увязших лошадей, подсовывая им жерди под брюхо.

К полудню небо прояснилось, и знойное солнце всплыло в мутной дымке, предвещавшей жару. Войска шли, изнемогая.

К вечеру попали на твердую почву и вздохнули с облегчением. Впереди возвышался холм. Красс приказал занять его, разбить лагерь и рыть вал. Вскоре подошел с вспомогательным войском Октавий.

Озабоченный парфянскими наездниками, появлявшимися и исчезающими в отдалении, он сказал:

— Пусть помогут нам боги отразить нападение!

— Враг не посмеет пойти на приступ в конном строю, — спокойно ответил Красс, входя в шатер.

Лишь только сон стал смежать его глаза, чей-то голос послышался рядом.

Красс вскочил. Перед ним стоял Октавий.

— Вождь, послы от сурены... Прикажешь принять или прогнать?

— Чего они хотят?

— Они, очевидно, хитрят — это заметно по их воровским глазам. Они утверждают, что сурена желает лично увидеться с римским проконсулом и начать мирные переговоры.

Яростные крики ворвались в шатер.

— Кликни Петрония.

Трибун вбежал, остановился у входа.

— Отчего крики? Разве воины опять недовольны?

— Вождь, они требуют мирных переговоров, — запинаясь, вымолвил Петроний: ждал грозного окрика полководца и удивился, что проконсул, вздев руки, шептал молитву.

— Бунт? — тихо спросил Красс.

— Нет еще, — пролепетал трибун, — но они угрожают...

Лагерь звенел оружием, гремел яростными криками и угрозами:

— Мир! Мир!

Полководец думал. Седая голова его склонялась всё ниже...

— Созвать трибунов и примипилов, — приказал он. Когда они собрались, Красс просто сказал:

— Легионарии требуют мирных переговоров, а вы, военачальники, поддерживаете их. Где римская дисциплина? Где честь и доблесть? Это бунт. Некогда я подвергал подлых ослушников децимации, а теперь — ха-ха-ха! — должен им подчиниться.

Смерти я не боюсь и пойду на свидание с суреной, зная, что попаду в засаду...

Помолчал. И вдруг его голос окреп, грозное рычание льва послышалось в нем, заставив всех содрогнуться:

— Я, римляне, предпочитаю быть убитым варварами, чем принять смерть от взбунтовавшихся воинов, которые завтра станут рабами сурены...

Встал и, отпустив их движением руки, повелел объявить послам, что на другой день готов увидеться с суреной.

Всю ночь он не спал, думая о погибшем сыне и о жене, оставленной в Риме.

Ночь была тихая, звездная, холодная. Лагерь спал.

Только часовые перекликались при малейшем шуме и шорохе да журчали горные ручьи, прыгавшие по камням.

«Не лучше ли броситься на меч?» — подумал он, но такой исход показался ему трусостью, и он отверг его.

Кликнул раба и, приказав позвать жреца, стал писать эпистолы — жене, Помпею и Цезарю. Но, не кончив их, поднялся навстречу старому жрецу.

— Я хочу отдать себя под покровительство подземных богов, — тихо сказал он. — Помолись же со мною, напутствуй меня и скажи, что должен я делать, когда варвары начнут меня убивать, и потом, когда душа моя приблизится к подножию престола Аида...

Жрец, склонившись, поцеловал его руку и зашептал молитву:

— Повторяй за мною, сподвижник Суллы, победитель Спартака, вождь, проконсул и триумвир!.. Жизнь моя кончается...

Красс опустил на колени, устремил серые глаза вверх и воздел руки, с толстыми короткими пальцами, над своей седой головой.

Идя по лагерю в сопровождении Петрония и легатов, Красс вдруг остановился и, презрительно указывая на воинов, бродивших между палаток, сказал:

— Римляне, вот эти римляне заставляют старого полководца идти к варвару просить мира... Но пусть никто не скажет, что триумвир и проконсул не заботился о легионариях! А вы, — возвысил он голос, обращаясь к воинам, — если вы спасетесь по милости сурены, говорите всюду, чтобы позор не запятнал победоносных римских орлов: «Красс погиб, обманутый врагом, а не выданный своими войсками».

Легионарии угрюмо молчали. Ни один голос не поднялся, чтобы удержать его.

Красс шел, предшествуемый ликторами, а впереди шагал трубач, возвещающий врагу о мирном посольстве.

Спускаясь с холма, он споткнулся (это считалось дурным предзнаменованием), и все побледнели.

Внизу ждал отряд парфян. Увидев проконсула и военачальников, сурена, смуглый низкорослый всадник, спешил и, подозвав нескольких человек, что-то шепнул.

Не успел Красс, сопровождаемый Октавием, Петронием и ликторами, подойти к сурене, как парфяне окружили их и потребовали выдать оружие. И вдруг сверкнули мечи. Октавий и Красс упали. Петроний, отбиваясь побежал с ликторами. Воины, окружавшие полководца, разбежались. Их ловили, брали в плен или убивали.

С высокого холма легионарии наблюдали за вероломным убийством их полководца, но ни один не бросился на помощь. Они видели, как Крассу вливали в глотку растопленный металл, слышали гортанный говорок сурены, коверкавший

римскую речь:

— Насыться золотом, рабом которого ты был, жадный негоциатор!

Взобравшись на холм, Петроний крикнул, задыхаясь от бега и отчаяния:

— Стыд и позор вам, воины! Вы предали великого римлянина, своего вождя и господина! Пусть же покарают вас боги за это преступление!

XVI

Босые, оборванные люди, с изможденными лицами, полулежали на горячих ступенях храмов, поджав под себя ноги или вытянувшись во весь рост, и дремали; другие, усевшись в кружок, играли в кости, в чет и нечет, позвякивая ассами и споря, иные забавлялись, стреляя вверх плодовыми косточками и загадывая при этом какое-либо желание. Однако все, как бы ии были заняты развлечениями, часто поглядывали на солнце — в полдень производилась раздача декурионами хлеба и нескольких ассов на пропитание.

Но стоило появиться на улице оптимату, всаднику или матроне, как свист, брань и хохот оглушали оторопелого прохожего, который, растерявшись, не знал, куда деваться. Случалось, что пролетарии вскакивали и открыто нападали на нобилей, а если рабы защищали его, то поднималась вся толпа и, разогнав невольников, избивала до крови оптимата.

По улицам Рима стало опасно ходить. Стычки вооруженных пролетариев с отрядами, охранявшими нобилей, стали обыденным явлением. Нередко голодные толпы спешили на помощь декуриям или центуриям, осаждавшим дома знатных лиц, и жестокие битвы не утихали по суткам.

Сальвий обходил каждый день кварталы ремесленников и возбуждал их к насилиям, по приказанию Клодия.

Вождь, возвратившись к частной жизни, продолжал держать нобилей в страхе.

В этот день Сальвий делал обход раньше, — нужно было сопровождать Клодия за город на концию.

Подходя к Эсквилину, он услышал яростные крики, хохот и, когда попал в полосу садов, остановился: десятка три пролетариев хохотали возле опрокинутой лектики (рабы, очевидно, разбежались); бородатый муж, в тоге с пурпурной каймой, бешено отбивался кулаками от нападавших на него людей. Забрызганный грязью, он кричал:

— Подлые разбойники! Разве вы — римляне? Нет, рабы и насильники! Пусть поразит вас Юпитер за оскорбления, нанесенные высшему магистрату!..

Но толпа не слушала, швыряя в него комьями грязи и камнями. «Бибул», — узнал Сальвий магистрата и, усмехнувшись, повелел людям связать его и положить в лектику.

Однако пролетарии не успели выполнить приказания — из-за деревьев выскочили молодые аристократы с обнаженными мечами и, набросившись на толпу, принялись ее рубить.

— Отряд Милона? — крикнул кто-то.

— Спасайтесь!

— Их больше, чем нас!

Люди побежали врассыпную, укрываясь за деревьями. Бежал с ними и Сальвий.

Сев на коня, он приехал на место, назначенное Клодием. Конция уже кончилась, и взволнованная толпа расходилась, обсуждая речь вождя.

— Слышал, что он сказал? — говорил кривой раб простоволосой невольнице, — Бить господ, поджигать их дома, расхищать имущество!

— Он сказал, что сперва нужно убить Милона!

— Ты не поняла, — возразил гладиатор, отпущенный Цезарем на волю, — вот его слова: «Нужно убивать Милонов, которые нападают на нас». Это значит, что не только Милона, но и всех его приверженцев...

Бородатый иудей, с красными воспаленными глазами, с большими ножницами, прикрепленными к поясу, и иглой, торчавшей из шапки, покачал головою:

— Убивать — легко сказать. Но на их стороне сила: власть, деньги и легионы... Нет, убивать единицы, которых сменяют другие, то же, что раздавить клопа: на его запах приползут десятки других...

Увидев Клодия, Сальвий подошел к нему. Решено было заночевать в придорожной гостинице, а утром уехать: Клодию — в Рим, а Сальвию — в окрестности, где он должен был нанять побольше сторонников.

Садясь чуть свет на коня, Клодий говорил:

— Набирай плебеев, пролетариев, рабов и веди в Субурру. Там распределишь их по декурниям и центуриям.

— Вождь, не лучше ли тебе подождать меня? Милон разъярен, людей у него много, а с тобой — несколько человек...

— От судьбы своей не уйдешь, — возразил Клодий, и на аполлоноподобном лице его выступили морщины.

Они расстались, и Клодий поскакал по дороге в Рим.

Светало. В утреннем воздухе звуки приобретали особенную четкость и яркость: голоса торговки зеленью, погонщиков ослов, песни кутил доносились из прилежавших улиц. Лошадь Клодия бежала рысью, за ним следовал небольшой отряд. Люди переговаривались между собой и шутили.

Вдруг лошадь Клодия наострила уши — из-за углового трехэтажного дома вылетели всадники с мечами наголо, и впереди мчался муж свирепой наружности, с мрачно-злыми глазами и нависшими бровями.

«Милон, — подумал Клодий, — злодей выследил меня...»

Выхватив меч, он приказал отряду приготовиться к бою. Но уже аристократы с громкими криками налетели на растерявшихся людей и дружно заработали мечами.

Отряд был мгновенно смет. Клодий, уклоняясь от ударов рослого всадника, отступал к ограде сада. И вдруг, изловчившись, взмахнул мечом — всадник завопил, схватив рукой обоюдоострое лезвие, проникавшее в грудь. В это мгновение Клодий почувствовал резкую боль в боку, и, выдернув меч из груди всадника, обернулся: перед ним был Милон. Клодий успел увидеть ощеренные зубы, злобные глаза вождя аристократов и, падая с лошади, услышал яростный голос:

— Добить его!

Боли он не испытывал, только после каждого удара, потрясавшего тело, опутывала вязкая слабость, руки и йоги деревенели. А потом всё потемнело, точно он провалился в черную яму.

К вечеру Сальвий проезжал с новобранцами по этой дороге. На улице лежали неубранные трупы, и лошади шли осторожно, похрапывая и прядая ушами. Изрубленный Клодий лежал почти рядом с рослым оптиматом. Сальвий сразу узнал вождя и, спешившись, приказал оцепить место боя, а Клодия уложить на носилки и

нести на форум. Он не сомневался, что убийство — дело рук Милона, и обдумывал, как отомстить злодею.

Повелев плебеям кричать на улицах о преступлении Милона, он поехал впереди носилок. Улицы шумели — толпы ремесленников, пролетариев, рабов и вольноотпущенников присоединялись к печальному шествию, выкрикивая угрозы, потрясая палками, железными прутьями, молотками. Испуганные торговцы поспешно запирали лавки, лектики с матронами и оптиматами неслись вскачь, скрываясь в переулках, голоса учителей затихали в школах, преторы и магистраты разбегались с форумов. И вдруг раздалась грозная песня:

Каждая капля крови плебея,
Каждая капля пота его
Выжаты игом тяжким богатых,
Мышцами нищих бедных людей.
Клодий убитый путь указал нам,
Клодий убитый — знамя в борьбе!
Вождь Катилина нам заповедал
Храбро бороться с подлым врагом!
Доблестью древней души согреты,
В доблести древней воля и труд!
С нами Юпитер! Марс-копьеносец
Мощно ударит в сердце врага!
Клодий убитый путь указал нам,
Клодий убитый — знамя в борьбе!
Вождь Катилина нам заповедал
Храбро бороться с подлым врагом!

Сальвий слушал с грустью в сердце.

«Почему кучка сильнее толпы и ее побеждает? Сколько погибло лучших людей, сколько погибнет еще! Мы объединились в декурии, центурии, Клодий создал мощный кулак, и всё же убит!..»

Вглядывался в лица ремесленников, жадно, с каким-то болезненным вниманием. И впервые, быть может, за всю свою бурную жизнь он подумал, что среди мелкого люда есть мужи мудрые и что необходимо прислушиваться к их голосу. Он знал, что Клодий никогда не спрашивал мнения толпы, а действовал, как сам находил нужным, и теперь, когда вождем станет он, Сальвий, нужно сплотиться с народом, узнать его мысли, чувства и желания...

Прислушался к песне:

С нами Юпитер! Марс-копьеносец
Мощно ударит в сердце врага!..

И вдруг впереди увидел большую иглу, торчавшую из шапки. Это был портной. Несколько сгорбившись, он пробирался навстречу толпе.

Шум толпы и грохот песни нарастали. На мгновение шапка с иглой остановилась, потом закачалась и исчезла. Вскоре она появилась в другом месте, повернулась, и Сальвий увидел бородатое лицо, красные глаза. Иудей шагал с толпой за носилками

Клодия.

Когда шествие вышло на Via Appia и Сальвий выехал вперед — толпа остановилась: два курульных эдила в тогах с пурпурной каймой преграждали путь, подняв руки. Сальвий сразу увидел, что это не плебейские эдилы, и, подъехав, спросил, по какому праву они задерживают похоронное шествие.

Один из эдилов начал что-то говорить о постановлении сената, о нарушении порядка, но Сальвий, не слушая его, повернулся к толпе:

— Вперед! — крикнул он. — На форум!

Эдилы разом заговорили. Аппариторы, служившие одновременно скрибами и преконами, кричали:

— Не нарушайте порядка! Расходитесь по домам!

— Вперед! — повторил Сальвий и, ударив эдила бичом по голове, наехал на аппараторов, — они разбежались, нося о насилии.

Толпа двинулась среди угрожающих криков аристократов. Плебеи вынимали ножи, готовясь к бою. Но путь был свободен.

Грянула песня:

Каждая капля крови плебея,
Каждая капля пота его...

Впереди сверкал форум.

Остановив коня, Сальвий пропускал толпы народа. Он вглядывался в лица людей и, когда услышал звон ножниц, подумал: «Это идет коллегия портных»...

Иудей шел рядом с греком.

— Она заказала мне тогу, а пришла за ней без денег, — говорил грек, оправляя на себе заплатанный хитон.

— И ты так ей и отдал? — спросил иудей.

— Я сказал: «Иди на улицу и заработай».

Иудей что-то ответил, но слова его потерялись в гуле голосов.

А толпа двигалась, двигалась... Проходили коллегии гончаров, кузнецов, сукновалов, плотников, каменотесов, дубильщиков, сапожников, живописцев, гробовщиков, потом шли пролетарии в лохмотьях, простоволосые женщины, вольноотпущенники и вольноотпущенницы в пилеях, рабы и невольницы. Он слышал разноязычную речь, разноязычные песни и думал: «С этим народом можно опрокинуть сенат и создать свою власть... Но как это сделать?»

Он повернул коня и с трудом пробирался в толпе.

Народ затих. На ростре появлялись популяры и произносили надгробное слово, восхваляя Клодия. Сальвий тоже поднялся на ораторские подмостки и сказал речь.

— Клодий был моим другом и начальником, — закончил он, — и я, квириты, клянусь памятью Клодия и Каталины продолжать их дело!

Восторженные крики заглушили его слова.

— Да здравствует вождь Сальвий! — крикнул кто-то, и плебс подхватил возглас.

— Квириты, где будем хоронить вождя? — спросил Сальвий.

— На форуме, на форуме!

Сходя с ростры, он услышал треск ломаемых скамей, которые толпа вытаскивала из базилик. Костер рос: он становился всё выше и выше, и Сальвий не спускал глаз с носилок, которые люди, карабкаясь по нагроможденным скамьям и столам, подымали наверх.

И вдруг народ расступился: огромный эфиоп бежал с пылающей головней в одной

руке и амфорой — в другой. Облив маслом скамьи, он бросил головню, и яркое пламя охватило сухое дерево.

Огонь трещал, разгораясь. Вскоре труп, базилики и соседнее здание исчезли в клубах дыма. А толпа кричала, хлопая в ладоши, выражая свой восторг криками и призывая имя Клодия.

Задумавшись, Сальвий смотрел на форум, охваченный огнем.

XVII

Цезарю доносили на Рима: поражение и смерть Красса вызвали в столице необычайное волнение; после семимесячной анархии были произведены выборы, потому что Помпей отказался от диктатуры; смерть Аврелии и Юлии; мятежи в столице и борьба кандидатов с оружием в руках за магистратуры принимали страшные размеры; власть популяров резко пошатнулась; Цицерон проповедовал необходимость управления республикой одним магистратом и отразил свои мысли в сочинении «О республике».

«Смерть матери и дочери — большое для меня горе, — думал Цезарь, — но едва ли не большее — распадение триумvirата!»

Время шло. Знал, что общество, недовольное им, обвиняя его в бездарности, кричит всюду: «Лукулл и Помпей быстро присоединили Понт и Сирию, а Цезарь не может справиться с Галлией, — каждый год он начинает завоевание ее сначала. Не так же ли вел войну упрямый невежда и жадный негоциатор Красс? И если оба триумвира занимались грабежами, то приближенные их стали злодеями: откуда деньги у формийского всадника Мамурры, который приказал построить себе на Целийском холме дворец из мрамора? Откуда золото у Лабиена, купившего обширные поместья в Пицеуме и построившего в Цингуле крепость по галльскому образцу?»

Эти разговоры удручали Цезаря, а убийство Клодия повергло в уныние. Борьба сословий становилась жестокой. Помпей молчал. Выборы на следующий год были «под ножом», как выразился Лепид, и сенат не мог назначить даже интеррекса, потому что народный трибун налагал veto. «Всё это, — думал Цезарь, — козни Помпея».

Подавив со страшной жестокостью восставших эбурионов (он обнаружил эдикт, разрешавший грабить и убивать их) и вознаградив Лабиена и Требония «за доблесть», Цезарь возвратился в Равенну.

Из Рима пришло донесение о похоронах Клодия: народ, возбуждаемый клиентами демагога, его женой Фульвией, сикариями и народными трибунами, приходил проститься с телом, выставленным в доме, и кричал о мести. Труп был отнесен в курию Гостилию, а рядом сооружен костер из скамей и столов. Когда пламя охватило тело, загорелись курия Гостилия и базилика Порция. Толпа с факелами в руках бросилась поджигать дом Милона. Какие-то люди кричали: «Хотим консулом и диктатором Помпея»

Цезарь усмехнулся: «Нужно сблизиться с зятем, иначе он возвысится и отзовет меня из Галлии... Спасение — в двойном браке: я разведусь с Кальпурнией и женюсь на дочери Помпея, обрученной с Фавстом Суллой, а зять женится на дочери моей племянницы Аттии, вдове Гая Октавия...»

Не откладывая своего решения, он в тот же день послал гонца с эпистолой к Помпею.

Ответ получил, возвращаясь поспешно в Галлию, которая восстала под начальством Верцингеторига, молодого арвернского вождя: Помпей отказывался

от брака под предлогом, что не может забыть Юлии.

«Тень ее, — писал он, — меня тревожит... Вижу Юлию, мою любовь, и скорблю: она навещает меня по ночам... О женитьбе не думаю вовсе».

Но Цезарь не верил Помпею: «Зять враждебно ко мне настроен и не желает мира. Он лжет, утверждая, что о женитьбе не помышляет, — всему Риму известно, что он усердно ухаживает за Корнелией, вдовой Публия Красса».

XVIII

Душою восстания галльских племен против поработителей стал народный герой Верцингеториг. Это был молодой муж, доблестный, честный, неподкупный. Некогда друг Цезаря, он отшатнулся от него, видя, как римский полководец грабит и опустошает страну, умерщвляет и продает в рабство население, отдает города и области на произвол жадных легионарнев и начальников.

Высокого роста, с русыми кудрями до плеч, льняного цвета бородой, с орлиным носом и смелыми глазами, он умел произносить зажигательные речи не хуже, чем скакать на полудиком коне, рубить наотмашь головы и метать копьё.

Умный, он не находил ничего дурного в том, что греко-римская культура, начав проникать к галлам пятьдесят лет назад, глубоко пустила корни в стране, но печалился, видя, что знать пренебрегает кельтскими нравами, увлекается чужеземными идеями и обычаями. Римский алфавит, чеканка монеты — это было хорошо. А вино? И своего было достаточно. Галльская землевладельческая аристократия исчезала, и на ее место выдвигались богачи и ростовщики, сумевшие теперь, когда в Галлию проник Цезарь, брать на откуп общественные подати. Разорившиеся галлы становились разбойниками, мелкими торговцами или ремесленниками, которые занимались керамикой, прядением, изготовлением вещиц из золота, серебра и железа. И все же они зависели от крупных ростовщиков, клиентелу которых составляли.

Верцингеториг видел все это и болел сердцем. Но более всего огорчал его упадок друидизма, той народной религии, которая могла объединить все племена против нашествия чужеземцев, усилить и без того живое чувство патриотизма.

Отец Верцингеторига, верховный вергобрет Галлии Цельтилл, был казнен по обвинению друидами в стремлении к царской власти, и молодой арверн, изгнанный старейшинами из Герговии, связал себя неразрывными узами с вождем кадурков Луктерием; оба стали сольдуриями, поклявшись среди дубов Ардуэнского леса иметь все общее: радость и горе, друзей и врагов, жизнь и смерть; а затем, вскрыв себе на руках вены, смешали кровь в чаше и выпили ее.

— Теперь моя жена — твоя жена и твоя жена — моя жена, равно как и земли, имущество, скот и рабы, — говорили они хором, садясь на коней, чтобы ехать к верховному жрецу друидов.

— Ты хочешь отомстить за отца? — спросил Луктерий.

— Подожду. Месть не уйдет.

Всю ночь они ехали узкими тропинками при свете факелов, несомых стремянными, и к утру выбрались на полянку, окруженную древними дубами. Под одним дубом сидели юноши, окружая седобородого друида, и слушали его:

— Всякое существо проходит три стадии по отношению к своей жизни: начало Аннуфна, или первоначальной бездны, переселение в Абред, т. е. жизнь, и полноту счастья в Гуинфиде, или небе. Голос его дрожал.

— Скажи, учитель, — спросил один из учеников, — что нужно делать в круге Абрета?

— Необходимо соблюдать три условия: развивать сущность человека, развивать знание всякой вещи, развивать нравственную силу, чтобы преодолеть Ситрауль, дурное начало, и освободиться от Дроуга, или зла. А это значит, что человек рождается из Аннуфна, проходит по многочисленным кругам Абрета, совершенствуется, изучая науки, приобретает нравственную силу, которая должна защищать его от Ситрауля, чтобы он не попал в Дроуг.

Верцингеториг и Луктерий слушали, затаив дыхание.

— Три несчастья первоначального Абрета: необходимость, отсутствие памяти и смерть.

— Объясни, учитель!

— Человек должен пройти Аннуфн и войти в круг Абрета. Здесь он должен познать самого себя, осознать заслуги и недостатки, так как в руках у него — выбор будущих судеб. Если он начнет злоупотреблять жизнью, то начнет после смерти новое существование, т. е. попадет в Аниуфи, чтобы возродиться в Абрете. А если будет преодолевать зло, то сразу попадет в Гуинфид, где обретет память всех существований, всех переселений души...

— Понимаю, — сказал юноша, сидевший ближе всех к друиду, — душа, живущая в Абрете, лишена памяти о прошлых существованиях, следовательно, ее счастье несовершенно...

— Только в Гуинфиде возможно совершенство! — воскликнули несколько голосов. Сальдурии стегнули коней и выехали на поляну.

— Слава всемогущему Гезу, — сказал Верцингеториг, слезая с коня. — Нам нужно видеть нашего верховного отца...

— Кто вы? — спросил друид.

— Люди, любящие отечество.

— Вас проводит ученик.

Оставив слуг и лошадей на поляне, они долго шли, пробираясь между деревьев и кустов. Кое-где солнечный луч, запутавшись между тонких веток и листьев, выбивался из чащи острым золотым копьем; кое-где голубел в вышине клочок безоблачного неба.

Вскоре из-за деревьев выглянули шатры друидов, окружавшие большой шатер.

Проводник поспешно вошел внутрь его и тотчас же выглянул:

— Отец ждет вас.

Верцингеториг и Луктерий, нагнувшись, проникли в шатер.

Перед ними стоял древний старик в широкой белоснежной одежде с дубовым венком на голове, с золотым ожерельем на шее. Серые нависшие брови почти скрывали живые блестящие глаза.

— Слава троице богов, — сказал Верцингеториг, и Луктерий повторил его слова. — Перед тобой, отец, сальдурии. Узнаешь меня?

Друид не моргнул глазом.

— Я сын Цельтилла, которого ты убил, — продолжал молодой арверн, наслаждаясь ужасом, изображившимся на лице старика, — и приехал бросить тебя, отец! Объяви меня верховным вергобретом... ради спасения родины.

— Тебя... вергобретом? — прошептал друид, и глаза его засверкали. — Никогда.

— Я объединю племена, двину их против римских воинов.

— Никогда!

Верцингеториг дерзко засмеялся.

— Завтра ты объявишь волю богов друидам, и через несколько дней вся Галлия будет знать, что Верцингеториг — верховный вергобрет.

— Никогда!

— Решай, убийца моего отца! — крикнул Верцингеториг, обнажая меч.

Старик задрожал, живые глаза его потухли.

— Ты будешь... вергобретом... сын Цельтилла, — вымолвил он прерывистым шепотом. — Но захотят ли тебя племена? Я имею власть над всадниками не потому, что я глава друидов, а оттого, что я богат, владею землями и рабами. Я, отшельник, собирающий омелу со священных дубов, уже не властитель душ; вера падает, жрецов презирают, и мало людей верит предсказаниям оракулов.

— Ты ошибаешься. В сердцах не угасла еще вера: она тлеет и ее нужно раздуть...

Когда сальдурии вышли, старик рассмеялся:

— Посмотрим, сын Цельтилла, удастся ли тебе сломить его?

Он вынул из-под медвежьей шнуры навощенные дощечки и стал писать по-гречески эпистола, часто затирая плоской стороной стила слова и целые строки.

Сальдурии провели весь вечер перед шатром верховного друида, опасаясь измены. Они беседовали с эвбагами — жрецами-астрономами, врачами, пророками и магами, слушали песни бардов, сопровождаемые звуками ротты, а когда в шатер проник приземистый служитель, Верцингеториг шепнул Луктерию:

— Выследи его и обыщи. Делай, как мы уговорились. Сальдурии скрылся в глубине леса. Верцингеториг слушал старого барда, воспевавшего подвиги великого Бренна: галльский полководец взял Рим и разрушил его, вывез из него много сокровищ и смуглых черноглазых пленниц-римлянок...

Слушая его, Верцингеториг сжимал меч: разбить Цезаря, вторгнуться в Италию, сокрушить Рим! Какое заманчивое будущее! Ему казалось: звенят в буре пожаров мечи, льется кровь врага, а галльские орды идут, вытаптывая ноля, сметая все на своем пути.

— О боги, дайте нам мощь, — шепнул Верцингеториг и обернулся: рядом с ним сел Луктерий.

— Выследил?

— Вот письмо. Гонец сопротивлялся — я настиг его, когда он садился на коня — и убил...

— Тише.

Он взял эпистола и спрятал в складках плаща.

В шатре, предназначенном для гостей, Верцингеториг с трудом разбирал греческ-ие письмена и вдруг вскочил — лицо исказилось:

— Луктерий... письмо...

— К кому?

— К Цезарю — ха-ха-ха! Проклятый изменник, враг народа!.. За мной!..

Выбежал из шатра с мечом в одной руке, с факелом — в другой.

Луктерий не отставал от него.

— Смерть предателю! — вопил Верцингеториг, и эхо повторяло его слова. — Пусть новый верховный друид освятит избрание главного вергобрета!

Верцингеториг, объявленный верховным вергобретом Галлии, собрал войска, взял Герговию, перебил и изгнал старейшин, злоумышлявших против него. Поднимались

племена, объединялась Галлия. И Верцингеториг, болея душою за родину, объявил Цезарю войну.

XIX

Едучи в Нарбоннскую Галлию, Цезарь получал в пути известия: италийские купцы вырезаны в Генабе карпаутами; Верцингеториг, объединив сенонов, паризиев, никтонов, кадурков, туронов, авлерков, андов, лемовиков и племена, жившие на берегу Океана, послал войска, под начальством Луктерия, по направлению к Нарбоннской Галлии, а сам вторгся в область битуригов, данников эдуев; ремы, эдуи и лингоны, верные Риму, окружены мятежниками; секваны колеблются.

Оставив часть легионов для защиты Нарбоннской Галлии, Цезарь с изумительной быстротой, двигаясь по снежным сугробам, бросился в область арвернов. Начальствовав над войсками с приказанием грабить и опустошать страну было передано Дециму Бруту, а Цезарь, во главе небольшого конного отряда, поскакал во весь опор через Галлию, чтобы соединиться с двумя легионами, зимовавшими в области лингонов.

Всадники, переодетые в галльские штаны и плащи, не были узнаны, и попытка удалась.

Не отдыхая, Цезарь собрал военачальников и приказал послать гонцов в области, где находились другие легионы.

— Собраться всем в окрестности Агединка, — распорядился он, — хочу проучить щенка, кусающего за ноги слона.

Вскоре он, во главе одиннадцати легионов, галльских вспомогательных войск и конницы, двинулся вперед. Он шел, осаждая и сжигая города, разбил Верцингеторига под стенами Новиодуна и затем двинулся на Аварик, столицу битуригов.

Верцингеториг отступал, сжигая города и деревни, солому и сено, разрушая дороги, внезапно нападая маленькими отрядами на легионы, снимая часовых, отбивая обозы с зерном.

Цезарь шел пешком, с непокрытой головой, по опустошенной стране. За ним двигались усталые легионарии. А конница Верцингеторига не давала покоя: лишь только расположится войско на отдых или начнет варить поленту, как лихие наездники врываются в лагерь или обстреливают его.

Цезарь ободрял легионариев:

— Возьмем Аварик — город будет ваш, население тоже, — говорил он, а однажды сказал: — Завтра подойдем к городу.

Было холодно, шел дождь. Ненастье мешало осадным работам. Но воины, закаленные тяжелыми трудами, боями и непогодами, не унывали: рыли окопы, отражая вылазки неприятеля, устанавливали башни для нападения.

Продовольствие почти истощилось, — питались нарубленным сеном, смешанным с горстью муки, но работ не оставляли, несмотря на предложение Цезаря снять осаду.

— Коллеги, если вам тяжело, если вы не в силах вынести голод и холод, скажите, и мы оставим Аварик... Но если вы верите своему вождю и в силах устоять против невзгод, потерпите.

На другой день он объявил приступ. Шел дождь. Размытая и взрыхленная почва засасывала ноги. Легионарии скользили, оступались, падали, но шли вперед, стиснув зубы. На потемневших бородатых лицах и в мрачных глазах горела неукротимая воля, зажженная Цезарем. По колени в грязи они подходили к стенам, устанавливали

лестницы, лезли вверх. Баллисты и катапульты беспрерывно обстреливали осажденных, тараны день и ночь громили стены.

Когда войска ворвались в город, Цезарь, насквозь промокший, въехал на жеребце, забрызганном грязью по брюхо. Он смотрел на остервенелых воинов, грабивших и поджигавших дома. Здесь легионарии тащит за волосы молодую девушку, валит в грязь и насилует; там германский всадник забавляется, бросая младенца вверх и подхватывая на копье; дальше разбивают бочки с вином и пьют, черпая шлемами и шапками, а еще дальше ворвались в храм, тащат за бороду старого жреца, бьют его, а жриц продают по сестерцию за голову. Горят дома, запах гари мешает дышать.

— Человеческая жизнь не стоит одного медного асса, — пробормотал Цезарь и, подъехав к жрецам, купил у легионария девушку за сестерций. — Я подарю ее кому-нибудь из военачальников. Дециму Бруту?

К вечеру город наполнился воплями: пьяные легионарии громили дома и лавки, разграбили храм, а население вырезывали.

— Перебито сорок тысяч, — доложил поздно ночью Децим Брут. — Воины пьяны и спят, где попало... Что прикажешь?

— Караулы выставлены?

— Все сделано, божественный Юлий! Галльский легион Алауда трезв, не участвовал в насилиях.

Цезарь нахмурился:

— Легион ненадежен?

— Думаю, надежен. Начальник говорит, что друиды запретили проливать кровь беззащитного населения.

Цезарь вскочил — кровь бросилась ему в голову, — было стыдно. Овладев собою, он сказал:

— До рассвета вывезти все продовольствие, легионы выстроить утром за Авариком, а город сжечь.

— Ты хочешь соорудить гигантский костер для невинно убитых, — молвил легат, — и боги...

— Молчать! — дико крикнул Цезарь и замахнулся на него острым стилем.

Децит Брут выбежал из шатра.

Отойдя в Децетию, Цезарь разделил войско: Лабиен с четырьмя легионами должен был идти против сенонов и карнаутов, а сам Цезарь — на Герговию, столицу арвернов. Кругом простирались опустошенные города и деревни; ограбленное население умирало с голоду, и толпы нищих шли за войсками, падая от изнурения. Но Цезарь равнодушно слушал мольбы о пропитании, равнодушно смотрел на протянутые руки: «Война!» Его сундуки были наполнены серебром, золотом, храмовыми сокровищами, а легионы восхваляли вождя за доброту и щедрость.

«Доброта? — думал он. — Я отдал им город, они его разграбили и перебили жителей. И это доброта?... Да, на войне это доброта вождя!»

Знал от разведчиков и перебежчиков, что Верцингеториг набирает войска, обучает их и возбуждает к мятежу племена, посылая вождям золото. Медлить было нельзя: вторгнуться в область арвернов по долине реки Элавера и принудить Верцингеторига к битве означало закончить победоносно войну.

Однако осаду Герговии пришлось снять. Приступ не удался — легионы были отброшены, а Верцингеториг, нападая день и ночь, тревожил войска. Опасность быть окруженным заставила Цезаря двинуться на север, чтобы соединиться с Лабиеном и

спасти войско. Галлия была потеряна, и мысль об участии Красса не давала ему покоя.

Верцингеториг, зная о тяжелом положении Цезаря от римских и германских перебежчиков, перенес главную квартиру в укрепленный городок Алезию, где скрещивались дороги, ведущие в Нарбоннскую Галлию.

Прощаясь с любимой женой, от которой у него было двое детей, он говорил, указывая на них:

— Моя цель, жена, изгнание чужеземцев из Галлии, а твоя — воспитание сыновей в духе любви к родине и ее величия. Враг отступает, скоро ни одного римского воина не останется на галльской земле.

Приказав укреплять Алезию и снабдив город большими запасами провианта, Верцингеториг выступил с пятнадцатью тысячами всадников против римлян: дни и ночи тревожил он Цезаря лихими налетами, отбивал обозы и военные машины, которые с трудом тащили быки по размытым дождями, непроходимым дорогам. Страстный, неутомимый, он казался олицетворением силы, доблести и трудолюбия: неизвестно было, когда он спал, — постоянно скакал впереди наездников, а если они отдыхали, отправлялся в разведку, нередко пешком, в рубище нищего.

Цезарь отступал с одиннадцатью легионами к Нарбоннской Галлии. А позади него шумела, бряцая оружием, восставшая страна, и друиды призывали племена поразить одним ударом поработителей.

Цезарь шел впереди легионов. За ним шагали воины самого храброго XIII легиона, который он любил за испытанную отвагу и преданность.

«Все потеряно, все погибло, — думал он с горестью. — семь лет трудов и войны канули в Лету! Неужели вновь начинать войну?! Но живая сила дороже всего, и она даст мне возможность возобновить завоевание страны».

Обернувшись, оглядел легионариев. Они шли с опущенными головами, даже воины XIII легиона пали духом.

Горько засмеялся.

«А я, безумец, вздумал подражать великому Лукуллу, превзойти его! — вздохнул он. — Но Лукулл учился военному делу под руководством непобедимого Суллы!.. А я?.. Но не может быть, чтобы звезда моя закатилась!..»

На четвертый день отступления легионы внезапно дрогнули: конница Верцингеторига, обрушилась на римское войско.

Цезарь, застигнутый врасплох, не растерялся. Приказав германцам объехать правое крыло вражеских наездников, он вскочил на коня, и, выхватив меч, помчался к месту, где бородатые германцы с диким криком и громкими мольбами к Тиру мчались, вздымая клубы пыли.

Он видел, как обе стороны столкнулись, и невольно за любовался доблестным ударом конницы, мгновенно опрокинувшей галлов: падали люди, мчались лошади без седоков, лязг мечей и вопли слышались все сильнее, а он, остановив коня, рвавшегося вперед, кричал:

— Бейте, германцы, врага! Бейте! Верцингеториг отступал.

В раздумье сидел Цезарь на коне, не зная, что лучше: преследовать галлов или укрыться в провинции. И вдруг решил:

— Гнать неприятеля!

Стремительно бросилась за отходящими галлами конница Цезаря, с топотом и лязгом гнала неприятеля, а римский вождь уже обдумывал, как поразить вражеские войска и удержаться в Галлии. И, когда Лабие, подъехав к нему, спросил с

удивлением, действительно ли Цезарь решил идти к Алезии, городу мандубиев, полководец вскричал:

— Неужели ты трусишь, Лабиен? Здесь, под Алезией, я дам битву всей Галлии. И пусть свершится, что уготовано Фатумом: или доблестная победа или позорное поражение!

— Безумие отчаяния, — прошептал Лабиен, покачав головою.

Впереди возвышалась на горе крепость; высокие стены, казалось, подпирали небо, и стрелы уже сыпались на подступавшие легионы. Две речки омывали с противоположных сторон подножие горы, к западу от которой простиралась равнина, а с остальных сторон, в восьмистах — тысяче шагов тянулся пояс холмов.

— Рыть рвы, насыпать вал вокруг города, — распоряжался Цезарь.

Закипела работа.

Перебежчики сообщали, что Верцингеториг укрылся в Алезии с восьмьюдесятью тысячами пехоты и пятнадцатью тысячами конницы и послал гонцов к кельтским племенам с приказанием произвести набор.

— Он ожидает на помощь всю Галлию, — говорили перебежчики, — и тебе, господин, трудно будет устоять. Из городов, деревень, пустынь, болот, а также из лесов, где живут друиды, пойдут сотни тысяч, десятки тысяч, тысячи, сотни десятки и единицы...

Опасность была велика.

— Полчища галлов сметут легионы, как пыль, — говорил Цезарь военачальникам, в безмолвии окружавшим его, — и не я буду Цезарем, если не найду выхода из нашего положения.

На военном совете, созванном на другой день, он пристально смотрел на военачальников, точно оценивая их храбрость, сметливость и умение руководить боем. Были здесь Мамурра, Антоний, Лабиен, Требоний, Децим Брут и иные сподвижники, центурионы, восточные рабы, искусные в военном деле, хитрые греки, опытные в возведении крепостей.

Цезарь встал.

— Вожди и мудрые советники, — сказал он, — я обдумал наше положение и нашел выход. Спасение римских легионов и победа над неприятелем в быстрейшем возведении второй линии укреплений с башнями вокруг города. Войска будут находиться между окопами, возведенными нами против Алезии, и валом, который мы соорудим против готовых подойти кельтских племен. В этой крепости мы будем сопротивляться двойным приступам: со стороны Алезии и со стороны ожидаемых галльских полчищ...

— Мысль твоя великолепна! — вскричал Антоний. — Но успеют ли воины закончить работы?

— Должны успеть, — твердо сказал Цезарь, — я полагаюсь, вожди, на ваше старание и распорядительность.

— Но ты забываешь, божественный Юлий, о недостатке провианта, — перебил Лабиен, — запасы иссякают, а в окрестностях ничего не достать...

— Будем есть траву и калиги, — нахмурился полководец, — а победим!

Повернулся к тучному Мамурре и долго смотрел в заплывшие жиром свиные глаза. Он верил в способности этого жадного человека, который был предан ему, как собака.

— Завтра же приступить к работам, — слышишь, Мамурра? Посылать людей за деревом, камнем и железом, отнимать у населения медные и железные изделия,

заставить плотников, каменотесов и кузнецов работать быстрее. Насыпать земляной вал и обкладывать бревнами, перед ровом навалить в пять рядов заостренные деревья и большие ветви, которые должны быть крепко связаны у основания. Впереди них рыть восемь рядов волчьих ям, которые назовем по форме их лилиями, а плотникам, каменотесам и кузнецам готовить остроконечные кольца, осколки камней и железа и вбивать в ямы; затем лилии прикрыть фашиником и землей, чтобы ловушки не были заметны на зеленой равнине. А впереди них укрепить, вровень с землей, как можно чаще, острия и надеть на них железные крючки. Понял, Мамурра? Заставить рабов, искусных в военном деле, и ученых греков делать чертежи укреплений. Привлечь к работам десять тысяч воинов, а понадобится — и больше. Я сам буду наблюдать за работами, и горе тому, кто будет ленив и нерадив!

Лицо его горело, голос звенел, крепчая.

— Мамурра, где сочинение по осаде городов? Мы должны принять во внимание способ Деметрия Полиоркста... Итак — за дело! Не медлить! А вам, военачальники, приказываю лично руководить работами!

XX

Проходили дни, недели. Высокий вал с башнями, вторая укрепленная линия, выросал за легионами, осаждавшими Алезию. Не прекращались и работы перед городом — первая линия была почти закончена. Цезарь лично руководил работами. Он видел на стенах Алезии караулы, наблюдавшие за его легионами, а однажды там появился сам Верцингеториг. Галльский герой смотрел ил машины, подвозимые к крепости на сильных быках, и хмурился. Ждал подкреплений, зная от соглядатаев, сумевших пробраться через римский лагерь, о войсках, направлявшихся в Бибракте, о запасах оружия и хлеба, перевозимых на вьючных животных.

Цезарь знал меньше о движении галльских полчищ, но зато ему было известно о голоде в Алезии, и, когда однажды Верцингеториг изгнал из города стариков, женщин и детей, надеясь, что Цезарь продаст их в рабство, полководец только вздохнул: у него самого не было хлеба для легионов.

Смотрел на обезумевших от голода мандубиев, которые умоляли о куске хлеба, видел, как они, падая от истощения, ели траву, слушал предсмертные стоны и равнодушно пожимал плечами: «Война!»

Разведка донесла о приближении галльских полчищ под начальством четырех полководцев. Предполагая, что Верцингеториг, увидевший со стен подкрепления, не замедлит броситься одновременно с ними на римлян, Цезарь приготовился к отражению приступов.

Это была грозная неделя отчаянных боев, рукопашных схваток. Тревога не покидала полководца: здесь решалась участь Галлии и судьба Цезаря.

Он лично руководил отражениями приступов, невольно любуясь безумной храбростью Антония, подвигами Лабиена, хладнокровием Требония, и думал, что, имея таких друзей, он без труда добьется великой будущности.

Ночью вспомогательное войско галлов покинуло свой лагерь и подошло к равнине, где работали римляне. Испустив громкий клич, чтобы предупредить осажденных, галлы стали забрасывать ров фашиником, метать камни и стрелы. Со стен Алезии

загремела труба — Верцингеториг приказал выступить своим войскам.

С ревом и грохотом налетали галлы с обеих сторон на римские валы, но легионарии осыпали их свинцовыми шариками из пращ и камнями. А баллисты и катапульты работали беспрерывно — в темноте обрушивались на людей каменные глыбы, длинные стрелы пронзали за раз несколько человек. Щиты стали лишними, и обе стороны отбросили их. Двигаясь вперед, галлы путались в крючках, падали, проваливались в ямы, натыкались на заостренные деревья и ветви. Крики, проклятья, голоса римских и галльских военачальников, ободрявших воинов, слышались чаще и чаще.

Добраться до вала было невозможно. Бледная луна выплыла из-за туч и осветила груды убитых и раненых.

На рассвете галлы отступили, опасаясь удара с правого крыла. Верцингеториг отвел свои войска в Алезию.

Последняя битва была самой кровавой и ожесточенной. Римляне едва держались, сопротивляясь одновременно двум противоположным приступам.

Цезарь стоял на горе к северу от речки и наблюдал за боем. Он видел врага, забрасывавшего его легионы дротиками, двигавшегося черепахою, и приказал Лабиему выступить с шестью когортами.

— Если он устоит, — говорил Цезарь, — пусть отведет войска и сделает вылазку.

Вскочив на коня, он отправился на равнину, чтобы ободрить воинов.

А галлы наступали... Прогнав с башен римлян, они засыпали рвы землей и фашином, разрушили палисад. Еще минута, и легионы были бы смяты, уничтожены. Но Цезарь подоспел с войском, и галлы обратились в бегство.

— Обойти варваров! — приказал он Лабиему.

— У меня тридцать девять когорт, — ответил пропретор, — и наше спасение в вылазке.

— Вперед же, друг, и да поможет нам...

Не кончил, ударил бичом коня и, приказав когортам и коннице выступать, помчался вперед. Красный палудамент развеивался, лысая голова блестела, и легионы узнали Цезаря. Радостные крики огласили равнину. А он мчался, осыпая стрелами и дротиками, и кричал одно слово:

— Победа, победа!

Увидев страшное смятение галлов, он остановил коня. Римская конница проникла в тыл и производила резню. Галлы бежали — сотрясалась земля, крики и проклятия оглушали...

— Победа, победа! — охрипшим голосом кричал Цезарь.

Подъехал Антоний и объявил, что взят в плен галльский вождь и захвачено семьдесят четыре знамени.

— Благодарю тебя, Антоний, за храбрость, преданность и дружбу, — сказал Цезарь.

Антоний был взволнован. Он смотрел преданными глазами на вождя и молчал. Потом тихо вымолвил:

— Без тебя, божественный Юлий, римские легионы сложили бы свои кости в Галлии...

День и ночь прибывали перебежчики из лагеря галльских полчищ. Они говорили, что от двухсот пятидесяти тысяч пехотинцев и восьми тысяч наездников осталось одно

воспоминание.

— Внутренние раздоры подточили галльские войска, — твердили они, — а вражда вождей создала разногласия среди племен... Скоро ни одного воина не останется перед твоей крепостью.

Это была правда. Галльские полчища распались, и Верцингеториг, взойдя однажды на стены, с ужасом увидел остатки войск, отходивших от Алезии. Стоял, как окаменелый: выхода не было, — только поругание и смерть...

А город стонал, — галльский воинский плач по погибшим носился над Алезией: заунывный, он терзал сердце безысходностью, в нем звенела предсмертная тоска, горе, обреченность.

— О родина, родина, — заплакал народный герой, — ты погибла! Пусть будут прокляты вожди, враждовавшие из-за власти! Они забыли о спасении дорогого отечества!

целуя его руку, — имея тридцать тысяч, ты победил полчища в десять раз большие, и самое главное — создал маленькое, но стойкое войско. Оно предано тебе, Цезарь, и с его помощью ты можешь...

— Не забегай вперед, — остановил его полководец. — Все пойдет своим чередом... Да, я надеюсь больше всего на свои легионы и на тебя, Марк Антоний!

Помолчав, он взглянул на таблички, горько лежавшие на земле, и прибавил, указывая на них:

— Эти «Комментарии о галльской войне» пошли Аттику, чтобы распространить их не только в Италии, но и в провинциях. Весь мир должен знать, как завоевывал Цезарь Галлию, и где не хотели ему помочь боги, там он сам себе помог остротой ума и природной находчивостью...

Цезарь сидел под дубом, занятый составлением комментариев о галльской войне, когда распахнулись городские ворота и стройный муж с льяного цвета бородой, вооруженный копьем, щитом и мечом вылетел из них и поскакал к римскому лагерю.

Издали он увидел римского полководца и, объехав его, точно прощаясь навеки со свободой, спешился и положил к ногам Цезаря оружие.

Цезарь узнал Верцингеторига.

«Он был моим другом, а теперь враг... он изгнал меня из Галлии, и, если бы не Алезия, где я показал себя стратегом, равным, быть может, одному Сулле (вспомнил Херонею и Орхомен), Галлия была бы потеряна для римлян».

Взглянул на Верцингеторига..

«Безумец, он пожертвовал собою за этот презренный изменчивый народ и умрет после моего триумфа».

Он отвернулся от Верцингеторига и смотрел на его войско, выдававшее оружие. Казалось, все оно состояло из голодных, исхудалых мандубиев. Война им надоела, и они, не понимая, что становятся рабами, искоса поглядывали на легионарней, среди которых распределяли их римские военачальники. Впрочем, они ни о чем не думали и только жадно ожидали хотя бы кусочка хлеба...

Цезарь встал.

— Война неожиданно кончилась, — сказал он подошедшему Антонию и радостно обнял его, — вся Галлия опять в моих руках.

— Да, божественный Юлий, — склонился Антоний.

Алезия была гигантским путем к славе, — она казалась Цезарю истоком огромной

реки, которая несла на своих волнах в победном стремлении к мировому владычеству корабли с его легионами, а впереди плыл он, полководец, усмиритель галльских племен, полусмертный, полубог, подобный Зевсу, поразившему титанов!

Власть!

Она маячила путеводной звездой, сверкавшей в отдалении, и он видел мир и жизнь сквозь призму ее лучей, а без нее казалось немислимым существование, невозможным и непосильным каждый шаг, каждое движение. Да, власть была звездой, и, если бы эта звезда внезапно погасла, он не представлял себе, чтобы делал и как жил!

Власть!

Он стремился к ней долгие годы. Жил только ею — все его существо горело пожирающим пламенем этой страсти, и, упорно работая над достижением заветной цели, не досыпая ночей, разоряясь на подкупы в комициях, он лгал, хитрил, изворачивался; в Галлии, где он, притворяясь ягненком, раздирал, как хищник, свою добычу, его считали вероломным; но он шел, и путь его был залит кровью, изменой, жестокостями, поборами; тысячи свободных сынов были обречены на гибель, а он шел, обманывая даже друзей, оскорбляя их недоверием, подозрительностью, не желая ни с кем делиться славою...

Был ли он прав?.. Но ведь это был путь к власти! Что с того, что Зевс-скиптродержец и олимпийцы научали люден добродетелям? Честность? Порядочность? Милосердие? Свободолюбие? Заботы о плебсе? Все это были красивые, возвышенные слова, но он, римлянин, потомок богов, выше всего этого!

Честность, порядочность! Олицетворением ее был Сципион Эмилиан, а многого ли он добился в своей жизни? Добродетели, как путы, мешали ему двигаться, жить, свободно дышать, и они, только они преграждали путь к власти. Да, Эмилиан был жалким рабом добродетелей. А Люций Кальпурий Пизон, прозванный «Честным»? Чем вознаградила его республика за доблесть и полезные деяния? А ведь оба они могли бы, располагая казной и подчиненными им легионами, опрокинуть сенат, захватить власть! Не так ли поступил Сулла, указавший единственный путь к власти?

Милосердие! Не присущее римскому духу, бессмысленное для военачальника, глупое для магистрата, смешное для отца семьи, оно было для мужа, идущего к власти, пагубным и вредным.

Свободолюбие! Борьба Гракхов и Фульвия Флакка, Сатурнина и популяров с оптиматами... А для чего? Разве возможно уравнивать сословия? Разве разумно дать им свободы, чтоб они, грызясь между собой за первенство, погубили Рим?

Не так ли было во времена Мария? Но Сулланский вихрь опрокинул здание республики и смел смельчаков...

Так размышляя, Цезарь видел свои легионы на подступах к Риму, а себя — приветствуемого плебсом и проклинаемого сенаторами, и презрительная улыбка блуждала на тонких упрямых губах.

XXI

Занятый титанической борьбой с восставшей Галлией, став одновременно осаждающим и осажденным под Алезней, Цезарь долго не имел известий из Рима, а когда, наконец, получил их, глубоко задумался.

Женитьба Помпея на Корнелии, дочери Метелла Сципиона, сближение его с аристократией и диктатура для восстановления порядка — не было ли это угрозой Цезарю?

Помпей — единоличный консул!

Его законы (о запрещении заочно домогаться консульства с оговоркой в пользу Цезаря; об избрании ста судей из числа своих сторонников; наказание лиц за подкуп и насилия, совершенные с 694 г. от основания Рима; о правителях провинций, которыми могли быть консулы и преторы только через пять лет после этих магистратур) способствовали укреплению аристократии, усилению ее власти.

— Все, чего добивались нобили, они получили, — сказал Цезарь Антонию, — Помпей стал деятельным и энергичным мужем. Куда девались его лень и неподвижность восточного сатрапа? Он подражает Сулле, осуждая на изгнание сторонников Клодия, Цезаря и мятежных аристократов, как, например, Милон, а своих друзей, обвиненных в беззакониях, заставляет оправдывать. Так было с Метеллом Сципионом, и этот преступный муж избран коллегой Помпея по консулату. Где же справедливость?

Лабием тонко усмехнулся: «Не Цезарю вопить о справедливости! Лгун, палач и демагог, он не может рассчитывать на поддержку честных мужей».

Незнатный плебей, возвысившийся и разбогатевший благодаря покровительству Цезаря, он, после одержанных побед над сенонами и паризиями, возомнил о себе, как о муже, более одаренном, чем Цезарь, и, завидуя ему, не желал исполнять его приказаний, прекословил ему. Император делал ему строгие выговоры и предупреждал, что отстранит его от начальствования, если он не смирится. Лабием принужден был покориться, но затаил злобу в своем сердце. И теперь, слушая полководца, он испытывал злорадство.

— Цицерон преклоняется перед Помпеем, а меня осуждает, — продолжал Цезарь, — Бальб и Оппий пишут: «Общество считает, что Галлия завоевана путем вероломства и насилия».

«Так оно и есть, — подумал Лабием. — Помпей не нуждается больше в Цезаре, популяры считают его своим вождем, и он получил Испанию еще на пять лет с двумя новыми легионами в тысячу талантов для содержания их».

Антоний стал уверять, что ни вероломства, ни насилий со стороны Цезаря не было. Лабием молчал, вспоминая, что в комментариях «De bello Gallico», которые полководец недавно читал друзьям, он обрисовал себя храбрым вождем, преувеличил военные успехи, а добычу свел только к продаже рабов; и ни слова о грабежах и насилиях, вызывавших повсеместные восстания!

— Пусть олигархи смотрят на меня как на сподвижника Катилины, — усмехнулся Цезарь, — теперь я никого не боюсь! Разве они не видят, что аристократия отживает свой век?

Следующий год принес Цезарю новые неприятности: в Галлии опять начались мятежи. Борьба продолжалась. После взятия в плен Верцингеторига последним защитником галльской независимости стал новый верховный вергобрет Луктерий. Он не мог кончить самоубийством, пока жил его сольдурий, и продолжал борьбу с яростью отчаяния, не щадя сил и жизни. Его поддерживали Гутуатр, начальник карнаутов, Коммий и иные вожди, взявшиеся за оружие.

Цезарь был в бешенстве.

— Никого не щадить, — распоряжался он. — Страну опустошать, дома жечь, население грабить и резать. Второго Верцингеторига у них не будет, а все эти Гутуатры и Коммии нам не страшны...

Галлия истекала кровью, Цезаря проклинали и ненавидели за дикие жестокости и насилия, за издевательства и всеобщее разорение.

Когда Гутуатр был наконец захвачен в плен с отрядом наездников, Цезарь приказал выстроить легионы и раздеть храброго вождя донага.

Гутуатр, связанный по рукам и ногам, лежал ничком на деревянных козлах. Подняв голову, он кричал, обращаясь к легионам:

— Римляне, видите, как подлый пес, назвавшийся популяром, издевается над беднотою? Страна разорена, смерть бродит по городам и деревням... Воины, что вам у нас нужно? И как поступили бы вы, если бы враг вторгся в Италию, грабя и убивая мирных жителей?

Легионарии молчали, точно не слышали.

— Кликнуть рабов! — спокойно приказал Цезарь.

Шесть невольников с бичами, в узлы которых был зашит свинец и острые крючья, подошли к нагому человеку и стали бить его, взвизгивая при каждом ударе.

Брызгала кровь, клочья мяса летели во все стороны, и окровавленное тело трепетало, извиваясь. Но Гутуатр молчал. На побелевшем лице его выступил крупными каплями пот, глаза закатились. Он застонал и потерял сознание.

Рабы устали, остановились.

— Продолжай! — яростно крикнул Цезарь и ударил крайнего раба кулаком по лицу, — из носа закапала кровь. — Продолжай! — вопил он, свирепея. — Засечь бунтовщика досмерти!

Били опять. Неподвижное тело превращалось в ком живого мяса. Руки и ноги рабов были окровавлены. И, когда вождь карнаутов был мертв, Цезарь приказал подвести пленников и, указав им на труп, вымолвил зловещим шепотом:

— Видите? Так карает Цезарь мятежников. И, повернувшись к рабам, крикнул:

— Отрубить им руки и отпустить на волю!

Лабиец, бледный, с дрожащими губами, молча сидел верхом, выдвинувшись на правом крыле. Позади него были всадники, он слышал легкий храп лошади, позвякивание уздечек и думал: «Войска ему преданы, а ведь он — злодей, худший, нежели варвары. Он присвоил мои победы, он...»

Не мог думать. Злоба терзала завистливое сердце.

Сидя в шатре, Цезарь читал эпистолы, полученные из Рима. Мятежи в столице, упадок власти популяров, подозрительные переговоры Цицерона с олигархами, — все это было так обычно и для него нужно.

— Небо Италии в политических тучах, — улыбнулся Цезарь друзьям, — и сенат не знает, откуда грянет первый гром...

— Помпей, как Юпитер, сдерживает громы, — ответил Требоний, смуглый, волосатый муж с несколько раскосыми глазами, — А ты, Цезарь, хочешь сблизиться с ним...

— Ты не знаешь, Требоний, Помпея! он честен и велик, только неустойчив в своих поступках и политике. Он не замечает, что на него влияют лица, которые заботятся о своих выгодах.

— И больше всех, конечно, Метелл Сципион, — кивнул Антоний, — а так как Помпей без ума от своей жены, то тесть пользуется его слабостью...

Цезарь молчал. Взяв другую эпистолу, он сорвал печать и со вздохом отложил ее.

— Посейдоний умер. Как жаль, что такой мудрый муж переселился в неизвестный

для нас мир!

Он перебирал письма и, когда нашел среди табличек и пергаментов небольшой свиток папируса, обратился к друзьям:

— Новые известия из Рима. Послушаем, что пишет моя супруга.

Кальпурния сообщала, что в Риме беспокойно: обычные столкновения на форуме не прекращаются, бывают убитые и раненые. Эпистола кончалась словами:

«Тебя, конечно, удивит, дорогой Гай, что Курной женился на Фульвии, вдове Клодия. Несомненно, боги наделили ее красотой и прелестями, которыми она умеет завлекать в свои сети мужей, но — вдова Клодия! Этим все сказано. Курион, Целий и Долабелла находятся под сильным влиянием Помпея, который, говорят, злоумышляет против тебя. Будь осторожен».

Взяв письмо Бальба, полученное накануне, Цезарь прочитал:

«Гай Скрибоний Курион нуждается в деньгах. Я говорил с Оппием, но старик без тебя не смеет принять решения. Сообщи о своем согласии, и мы с помощью богов попытаемся убедить Куриона перейти на твою сторону. Долги его составляют шестьдесят миллионов сестерциев, а так как он женился и приданое Фульвии оказалось небольшим, то лезет в долги, как в петлю, которая все туже затягивается...»

Отпустив друзей. Цезарь думал.

«Подожду», — решил он и написал Оппию, чтобы тот скупал синграфы Куриона у его кредиторов и предъявлял к взысканию:

«Начинай с малых долгов и постепенно переходи к более крупным, сжимай кольцо, как вокруг осажденного врага, старайся поставить его в безвыходное положение, не давай ему покоя и, когда он лишится доверия кредиторов, когда разорится и станет почти нищим, — сообщи мне. Я хочу взять мота в руки и сделать его своим послушным орудием».

— Курион нужен мне в борьбе с олигархами, — проговорил Цезарь, — если я не сумею договориться с Помпеем, Курион сделает больше, чем полководец на поле битвы.

Кликнул гонца и, передав ему эпистолу, приказал немедленно ехать в Рим.

Помпей колебался, с кем сотрудничать — с Цезарем или с аристократами. Сторонники Катона предлагали отозвать полководца из Галлии и назначить ему преемника.

— Поскольку Цезарь утверждает, что Галлия умиротворена, — говорили они, — то не лучше ли предложить ему распустить легионы? Вы знаете, что он заочно домогается консулата, но ведь это, отцы государства, нарушение закона Помпея!

Сенаторы растерянно потирали лбы и переглядывались.

— Без Помпея мы не можем решить столь важного дела, — несмело заявил старик-сенатор.

— Разве нет среди нас мужа, которого Помпей уполномочил говорить за него?

Выступил уполномоченный Помпея.

— Пусть отцы государства внимательно слушают, — возгласил он, — закон Помпея запрещает касаться вопроса о преемнике Цезаря до марта будущего года.

Но приближались выборы, и аристократы намечали консулами своих сторонников, а народным трибуном — Куриона, яростного врага Цезаря.

Отправляя в Рим воинов для голосования, Цезарь послал с ними краткую эпистолу Оппию:

«Наступило время купить Куриона. Предложи ему перейти на мою сторону на следующих условиях:

I — я уплачиваю все его долги и снабжаю ежемесячно деньгами;

II — для вида Курион остается моим врагом, но работает на меня;

III — должен добиться какими угодно средствами, чтобы в марте не был подвергнут голосованию вопрос о моем начальствовании в Галлии. Предложи Люцию Эмилию Павлу (это был мнимый сторонник аристократов) еще денег и намекни ему, что Курион — мой сторонник».

Получив эпистола, старик Оппий, казначей Цезаря, долго сидел в задумчивости. На его обрюзгшем лице было полное недоумение.

«Заплатить десятки миллионов сестерциев двум этим негодьям! — пожимал он плечами. — Один, развратник, будет бросать деньги на любовниц, другой, обжора, на пиры... Люций Павл получил уже полторы тысячи талантов... Нет, Цезарь слеп, необдуманная щедрость доведет его до разорения...»

Однако послушаться не посмел и отправился вечером к Куриону.

Он попал в самый разгар пирушки. За столом, с венками на головах, возлежали: сам хозяин, его супруга Фульвия, Целий, Долабелла, Эмилий Скавр с женой Муциен, разведенной супругой Помпея, и три сенатора.

Пили вино, совершая возлияния Вакху, когда раб шепнул господину имя Оппия.

«Опять с синграфами?» — вспыхнув, подумал Курной и уже собирался отдать приказание, чтобы рабы вытолкали Оппия в шею, но Фульвия, услышав имя казначея, сказала вполголоса:

— Прими. Может быть, тебе удастся взять у него в долг несколько сотен тысяч...

Извинившись перед гостями, Курион прошел в таблинум, где дожидался его старик.

Оппий начал издали: он говорил о богатстве и могуществе Цезаря, не обращая внимания на недовольство торопившегося хозяина, а когда Курион с нетерпением прервал его, спросив, чего он желает, старик ответил:

— Стоит мне предъявить все твои синграфы к взысканию, и ты нищ. господин мой, как последний безработный пролетарий. Сейчас ты разорен, вчера твоя последняя вилла была продана с молотка, и остается только состояние твоей супруги, стоимостью около двухсот тысяч сестерциев... А так как некоторые синграфы подписаны и благородной Фульвией, то завтра я продам ее дом с коврами, статуями и рабами, а послезавтра новый владелец переедет в него.

Курион вытер ладонью пот с побагровевшего лица.

— Эти синграфы... Я прошу тебя об отсрочке, — лепетал он. — Я постараюсь добыть денег...

— Нет, господин мой, — твердо возразил Оппий, — кредиторы тебе не верят, ни один всадник, сам знаешь, не даст тебе ни асса... Поэтому ты должен заплатить, иначе...

— ...иначе?..

— ...я приму меры... Но, зная тебя уже давно, я не хотел бы, чтобы знаменитый писатель и великий оратор, каким тебя заслуженно считает весь Рим, впал в несчастье...

Курион с надеждою взглянул на него.

— Такого же мнения и господин мой Гай Юлий Цезарь, хотя ты враждебно к нему

настроен. Ты удивился его милосердию: он предлагает тебе перейти на его сторону и защищать его всюду против недружелюбия, зависти и несправедливости олигархов...

Побледнев, Курион тяжело опустился на биселлу.

— Но это... это... Теперь понимаю! — вскричал он. Цезарь скупил мои синграфы, взял меня за горло. И я должен поступиться честью и совестью...

Оппий презрительно засмеялся.

— Честь и совесть? Что это такое? Красивые слова, которые любят выкрикивать нечестные люди. Одно и другое покупается на вес золота. Если ты честен, то должен заплатить шестьдесят миллионов, а если доверяешь совести тех, кого поддерживаешь, то почему же они не выручат тебя?.. А Цезарь предлагает тебе свою дружбу и свое состояние: бери, сколько нужно, но подчинить его требованиям...

— Условия? — прохрипел Курион.

Оппий, не торопясь, вынул эпистола Цезаря и прочитал ее.

— Если ты согласен, внук Ромула, — прибавил он, — то завтра все синграфы на шестьдесят миллионов будут сожжены в твоём присутствии, а тебе выдан один миллион наличными, как приказал господин...

Старик лукавил: Цезарь не назначил определенной ежемесячной платы, и Оппий сам решил предложить миллион, полагая, что такие деньги прельстят разорившегося оптимата. Однако Курион, не моргнув глазом, презрительно вздернул плечами.

— Клянусь богами! — вскричал он с негодованием. — Ты или шутишь, старик, или насмехаешься надо мною! Что я буду делать с этим миллионом? Нищим и то я подаю в месяц половину этих денег! А потом работа... Ты учиываешь опасности? Покушения на мою жизнь? Подкуп наемных убийц? Поджог моего дома? Несчастный случай: идет по улице, а тебе на голову случайно — ха-ха-ха! — падает балка или каменная глыба? Враг ничем не брезгает, а когда узнает, что я, сторонник Цезаря, получаю от него квадрантарии... Но я не Клодия, дорогой Оппий!..

— Прости, господин, Цезарь требует, чтобы для всех ты оставался его врагом...

— Пусть так, — не унимался приободрившийся Курион, сразу почувствовав, что Оппий колеблется, — я согласен на три миллиона и ни одного сестерция меньше! Лучше передать, чем не добавить, вот истина, которой я придерживался в жизни!.. Став же народным трибуном, я проведу законы, какие будет приказано, и сумею склонить на сторону Цезаря одного из консулов... Торг был заключен. Уходя, Оппий сказал: — Завтра синграфы будут сожжены, и я выдам тебе, господин, три миллиона. Каждый месяц этого же числа ты будешь получать столько же. А эту вещицу, господин мой, передай твоей благородной супруге, да сохранят боги ее драгоценную жизнь!

И старик протянул Курнону золотую диадему, усыпанную драгоценными камнями.

Добившись путем подкупа избрания консулами Гая Марцелла и Люция Павла, а народным трибуном Куриона, аристократы торжествовали.

Предупрежденный Оппием, Курион был изумлен, что Люций Павл — друг и сторонник Цезаря.

«Сенат считает его и меня противниками галльского триумвира, тем лучше! — думал он, покачивая головою. — Очевидно, сила не здесь, в Риме, а там, в Таллин. Оттуда он управляет политикой и течением нашей жизни, не жалея награбленного золота. Но чего он хочет? Еще управлять Галлией? Или не желает расстаться с легионами, мощной опорой в борьбе за власть?..»

Считая Цезаря великим политиком и демагогом и удивляясь его хитрости,

изворотливости, а более всего — дальновидности, Курион не мог отделаться от мысли, что путь, на который толкнул его Цезарь, недостойн квирита. Однако взятых на себя обязательств не нарушал. Теперь он действовал не через Оппия, а лично доносил Цезарю о каждом своем шаге и о событиях в Риме.

Однажды вечером, полулежа в своем таблинуме, он писал:

«Гай Скрибоний Курион, народный трибун — Гак Юлию Цезарю, полководцу и триумвиру.

Приказание твое действовать нападками на Помпея исполнено: я задал ему ряд вопросов. Вот некоторые из них: «Почему Помпей требует соблюдать законы, когда сам своим законами довел Рим до настоящего положения? Может ли быть стражем законов нарушающий законы, как, например, Помпей, который был одновременно консулом и проконсулом?» Справедливость моих упреков смутила Помпея. Теперь он находится в Неаполе, где, говорят, болеет.

С другой стороны, мне удалось, с помощью богов, обуздать строптивного консула Марцелла, который, председательствуя в сенате, предложил рассмотреть вопрос о провинциях. Благодарение богам! Я разгадал тайную цель консула, за спиной которого стоял непримиримый Марк Клавдий Марцелл, брат его, и первый заговорил о Галлии. Я сказал, что предложение консула справедливо, и если Цезарь должен сложить с себя начальствование над галльскими легионами, то не так же ли обязан поступить Помпей? Предложив отозвать Цезаря и Помпея, я наложил veto на все рогации Марцелла.

Помпей, кажется, подозревает меня в тайных сношениях с тобою. Я слышал, как он сказал, удаляясь из сената после моих нападков на него: «За спиной Куриона, несомненно, стоит Цезарь». Однако друзья уверили его, что я — самый преданный из мужей, защищающих власть олигархов. Прощай».

Ответная эпистола была получена после возвращения Помпея в Рим.

Разбуженный ночью, Курион тихо встал, перелез через спавшую Фульвию и полуодетый вбежал в атриум: перед ним стоял усталый гонец, покрытый пылью.

— Эпистола от Цезаря.

— Хорошо. Когда обратно?

— Чуть свет.

— Зайди перед отъездом ко мне.

Читал и перечитывал эпистолу.

Цезарь писал:

«Я благодарен тебе, дорогой мой, за твои труды. Знаю, что плебс любит тебя и бросает тебе цветы при выходе из сената, где ты стеной стоишь за народ. Мне сообщили, что Цицерон отправился воевать в Каппадокию, а Помпей выздоровел, и вся Италия радовалась этому обстоятельству, как милости доброй богини Валетидо; города Кампании устраивали благодарственные молебствия богам и большие празднества, чтобы отметить выздоровление знаменитого мужа. Тебе, конечно, известна лицемерная эпистола Помпея сенату, в которой он изъявляет

готовность отказаться от начальствования над легионами, но я уверен, что честолюбивый муж, имеющий законное право на испанские войска сроком на пять лет, не так-то легко откажется от могущественной поддержки воинов. Поэтому, как мне ни жаль Помпея, не оставляй его в покое. Объяви в сенате, что тот из нас, кто приготовит войско для борьбы со своим соперником, — враг отечества».

Курион думал, покачивая головой:

«Цезарь хочет обезоружить Помпея. А сам? Он может быстрее Помпея подготовиться к войне. Притом у него одиннадцать, а у Помпея семь легионов. Неужели возможно столкновение? Очевидно, Цезарь желает мира, иначе он мог бы броситься внезапно на Италию. Но это был бы дневной разбой, а Цезарь хочет соблюсти законность, не вызвать недовольства среди квиритов; оттого он, готовясь к борьбе, ведет переговоры, хитрит, двуличничает».

Прошел в таблинум и, приказав рабыне зажечь светильню и подать вина, принялся составлять на табличках эпистолу. Несколько раз он затирал плоской стороной стила мелкие письма, выводил новые, опять затирал, и, когда явился на рассвете гонец, сcribe кончал переписывать эпистолу на пергаменте.

Подарив гонцу несколько серебряных динариев и накормив его на дорогу, Курион спросил:

— Где находился Цезарь, когда ты уезжал?

— Не приказано говорить.

— Как дела в Галлии? Мир или война?

— Не приказано говорить, — повторил гонец, допивая вино.

— А что же приказано? — смущенно улыбнулся Курион, удивляясь дисциплинированности воина, и подумал: «С такими преданными легионарями Цезарь непобедим».

— Приказано только молчать, — твердо выговорил воин, низко кланяясь.

XXII

Помпей, находившийся в Неаполе, волновался, ожидая событий. Республика была накануне великих потрясений.

Из Галлии пришло известие, что Лабиен, преследуя Луктерия, настиг его и разбил — погиб весь отряд — и только вергобрету удалось спастись: он бежал за Рен к братьям Ариовиста. Галлия была умиротворена, и это беспокоило Помпея.

Ему было пятьдесят шесть лет. Он часто болел, и подавленность, увеличивавшаяся с каждым днем, вовсе не была следствием перенесенной болезни, как многие думали: удручала его политическая борьба, тяжелое состояние республики и козий Цезаря.

Он знал, что бывший тесть злоумышляет против него, что дружба, скрепленная выдачей за него замуж Юлии, давно уже распалась, и потому на лицемерные предложения Цезаря, искавшего примирения, отвечал категорическим отказом.

«Лжет и притворяется, — думал он, прохаживаясь по таблинуму и ожидая приезда сыновей из Рима, — а ведь триумвират можно было бы возобновить: он, я да Цицерон — мужи знаменитые, всеми уважаемые. И республика не испытывала бы потрясений, мир и порядок были бы в ней обеспечены. Не обратиться ли к нему?!»

Но тут он подумал, что Цезарь первый сделал шаг к сближению, предложив ему в жены свою вдовую родственницу, а он, Помпей, отказался и женился на дочери

Метелла Сципиона. Теперь Цезарь мог подумать, что Помпей ищет сближения не ради благосостояния республики, а потому, что боится Цезаря («У него одиннадцать, а у меня семь легионов»), и, нахмурившись, отказался от своего намерения.

Он прилег на ложе и взял сочинение Цицерона «De republica», выпущенное Аттиком в свет незадолго до отъезда оратора в Каппадокию.

— Да, оно, это сочинение, решило все, — прошептал он, — книготорговец Аттик навязал его мне, хотя я не хотел покупать...

В этой книге говорилось о мире между должниками и кредиторами, о союзе демократии, аристократии и монархии, и Помпей вдруг вспомнил, что Цезарь до триумvirата увлекался триединой политикой Аристотеля. Неужели только в ней выход? Примирение с монархией во имя благоденствия отечества?

«Да, и монархом буду, быть может, я... Так вот почему Аттик навязал мне эту книгу!»

Вспомнил о несправедливости к Цицерону, о преследованиях Клодия, об изгнании... И Помпей не защитил друга.

А теперь? Оратор отправился воевать в Азию.

Цицерон писал ему, умоляя о помощи против наступавших парфян, сообщая о победе над ними Кассия под Антиохией, осуждая публиканов, разорявших провинцию: «Ремесленники, деревенские плебеи и свободные земледельцы стонут от вымогательств италийских ростовщиков, которые выколачивают с них долги при помощи военной силы. А кто не в состоянии платить, тот принужден продавать свое поле, дом или детей».

Это был вопль отзывчивого сердца, скорбный стыд римлянина, не утратившего доблести-добродетели. Читая такие эпистолы, Помпей пожимал плечами точно так же, как при известии Цицерона, что не удалось послать Целию пантер для эдильских игр, или сообщениях о том, что им приобретены в Эфесе художественно отделанные вазы для Аттика, выкуплены италийские пленные, взысканы проценты в пользу италийцев, выиграна тяжба простых людей с публиканами, отпраздновано прибытие друзей и высокопоставленных лиц. Но когда однажды Цицерон намекнул на тяжелое положение старого каппадокийского царя Ариобарзана, терзаемого ростовщиками, Помпей побагровел от стыда: он сам взыскивал ежемесячно с Ариобарзана одних процентов по долгу свыше тридцати трех талантов!

«А Брут? — подумал Помпей. — Разве он не поступает хуже? Он берет XLVIII процентов, а я значительно меньше. И Цицерон, конечно, считает обоих нас ростовщиками». Но тут же он решил, что ростовщичество — зло не такое уж большое, как разврат, и мысль о Долабеле, женившемся на Туллии, любимой дочери Цицерона, смягчила стыд: «Честолюбие породниться с мужем древней знати толкнуло Цицерона на этот шаг, но ведь Гней Корнелий Долабелла — кутила и развратник, а если это так, то он развратит Туллию. Поэтому вина Теренции, сведшей дочь с Долабеллой, и согласие отца на этот брак — действие, несомненно, более постыдное, чем взыскание процентов».

Он успокоился и принялся читать произведение Цицерона, но сосредоточиться не мог. Мешало какое-то беспокойство. Откуда оно появилось, терзая сердце, и где был его первоисточник, не мог бы сказать. На душе становилось тяжелее и тяжелее.

Он отложил книгу, схватил серебряный колокольчик и позвонил. На пороге появилась сирийская невольница, золотисто-загорелая, полуобнаженная, с кипарисовыми дощечками, прикрывавшими высокие груди, и с пурпуровой опояской

вокруг бедер.

— Госпожа дома?

— Она только что вернулась.

— Скажи, что я ее жду.

Рабыня бесшумно исчезла. Помпей знал, что Корнелия навещала больную жену Гая Марцелла, приехавшую два дня назад в Неаполь, и, по обыкновению, беседовала с ней о политике. И ему не терпелось узнать, что думает Марцелл о Цезаре и что советует ему (косвенно, чтобы не обидеть) через свою жену.

Вошла Корнелия. Большие черные глаза, похожие на влажные маслины, ласково остановились на лице мужа. Шурша пеплосом, сверкавшим, как чешуя на солнце, она подошла к Помпею и мягким движением обнаженных рук охватила его голову и прижала к груди. Потом, взглянув на статую Суллы, стоящую на треножнике, перевела глаза на две статуэтки (одна изображала Красса Богатого, другая — его сына Публия), затем на азийские безделушки, на нагих гермафродитов, нимф, силенов и сатиров — и вспыхнула, увидев в углу Приапа.

Помпей перехватил ее взгляд.

— Этот Приап прислан мне самим Цицероном из Эфеса, — сказал он, подходя к статуе и любовно лаская ее. — Боги свидетели, что он способствует зачатию, и, если мы поставим его в нашем кубикулуме, ты, без сомнения, подарить мне сына...

— Супруг мой, — вздохнула она, — нам ли иметь детей? У тебя есть сыновья — Гней и Секст, — и достаточно...

И, запнувшись, быстро заговорила, точно боясь, что он перебьет ее:

— Марцелла говорит, что супруг ее бранит тебя за нерешительность и неумение действовать. Он утверждает, что с Цезарем нужно кончить. А ты медлишь!

Помпей молчал, опустив голову.

— В выборах на следующий год Цезарю нанесен чувствительный удар. А ты готов на мир, предложенный демагогом, потому только, что он прислал тебе легион и приказал Куриону прекратить нападки на тебя...

— Пустяки, жена! Говорят, Цезарь лично желал поддержать Марка Антония, который стремился к народному трибунату, и противодействовать проискам Домиция Агенобарба. Узнав же, что Антоний избран авгурами, он остался в Равенне.

— Откуда ты знаешь, что Цезарь собирался в Рим? — с удивлением воскликнула Корнелия.

Сообщил Лабиев, военачальник Цезаря. Он пишет, что Цезарь создал себе (популярность в Цизальпинской Галлии нечестным путем: обещав племенам права гражданства, он послал вперед людей, чтобы местная знать приготовилась встречать его. И, действительно, деревни, муниципии и колонии встречали его как триумфатора, устраивали в честь его празднества. Лабиев, посмеиваясь, заключает, что эти триумфы были предназначены Цезарем для Италии: смотрите, квириды, какую радость вызывает завоевание Галлии среди цизальпинцев! А вы, римляне, должны испытывать еще большую радость и изумляться громким подвигам великого завоевателя!

— Неужели это правда? — задумалась Корнелия, — Покойный Публиций восхвалял Цезаря, и ни одно порицание никогда не срывалось с его губ!..

Помпей не слушал жены. Он думал, что Цезарь зимует с одним легионом в Равенне, а остальные войска распределены в Галлии: четыре легиона в области бельгов и четыре в стране эдуев.

«В случае войны с Цезарем вся Италия станет на мою сторону, а Цезарь не

осмелится покинуть Галлию из боязни мятежа. Марк и Гай Марцеллы хотят, чтобы я произвел переворот и объявил Цезаря врагом государства, — Марк писал мне об этом, а Гай делает вид, что ничего не знает. Почему он хитрит? Если война неизбежна, да помогут нам боги!»

Когда вошли сыновья Помпея, Корнелия поспешила уйти: она не любила их, а почему — затруднилась бы сказать. Гней был старше Секста на пять лет, и ему было тридцать, но он казался моложе мрачного брата, который отпустил бороду, чтобы больше быть похожим на мужа давно прошедших времен. Гней, наоборот, был весел и жизнерадостен, но в темных глазах его светилось какое-то беспокойство.

— Откуда? — спросил отец, хотя и знал, что сыновья приехали из Рима, где должны были встретиться с Марком Марцеллом и переговорить с ним о предложении, сделанном аристократами. — Какие вести?

— Хорошие, — сказал Гней. — Нобили уполномочили нас спросить тебя, принимаешь ли ты, отец, их предложение?

Помпей задумался.

— Неужели ты колеблешься, Помпей Великий? — вскричал Секст, и мрачные глаза его сверкнули. — Взгляни на статую трижды величайшего диктатора, — протянул он руку к изображению Суллы, — и решишь.

Помпей взглянул не на статую Суллы, а в глаза сына, на его всклокоченную бороду и понял, что Секст осуждает его за нерешительность.

— Принимаю, — поспешно ответил он. — Но утвердит ли сенат рогацию Марцелла об объявлении Цезаря врагом отечества?

Сыновья уверили, что препятствий с этой стороны не будет, и ушли, чтобы отдохнуть, — чуть свет предстояло ехать в Рим.

Спустя несколько дней в Неаполь примчался Марцелл во главе крайних аристократов.

— Что случилось? — с беспокойством вскричал Помпей, увидев их на пороге атриума. — Неужели сенат...

— Курион, верный пес Цезаря, наложил veto, — злобно выговорил Марцелл. — Остается тебе одно — ехать в Люцериию, чтобы принять начальствование над легионами.

— Да будет так, — оказал Помпей. — Двум триумвирам тесно на земле. А войск у меня будет много: где я ни топну, там вырастут из-под земли пехота и конница!

— Слова, достойные великого полководца! Да здравствует Помпей Великий!

Вдруг Марцелл схватился за голову:

— О безумец я, безумец! Трижды безумец! — восклицал он. — Что я наделал! Десятого декабря Курнон становится по закону простым квиритом, и я забыл об этом!

— Да, ты забыл, что неприкосновенность народного трибуна кончается в этот день, — усмехнулся один из аристократов, — но теперь, думаю, поздно: если Курион не дурак, он находится уже у Цезаря.

Все молчали.

— В Риме остался еще один враг — Марк Антоний, — шепнул Марцелл. — Что значит неприкосновенность народного трибуна, когда отечество в опасности?

Суеверный страх оскорбить убийством богов сковывал уста самых жестоких, самых непримиримых мужей.

Все попытки примирения с Помпеем были исчерпаны, всё было сделано. И, несмотря на это. Цезарь медлил, хотя друзья советовали ему вызвать галльские

легионы и идти на Рим.

На Рим? Началась борьба двух мужей за власть — и имели ли они право, они, бывшие триумвиры, ввергнуть республику в бедствия и испытания, навязать ей гражданскую войну?

Послав Куриона с эпистолами в Рим, Цезарь сказал:

— Видят боги, что я готов отказаться от начальствования над легионами и возвратиться к частной жизни, если Помпей сделает то же. Об этом я написал сенату и народу...

Голос его дрогнул, губы сурово сжались.

— Гонца! — крикнул Цезарь, овладев собою. — Я вызываю из Галлии VIII и XII легионы и приказываю трем легионам двинуться из Бибракте в Нарбонну, чтобы испанские войска Помпея не ударили мне в тыл...

Успокоившись, он прибавил:

— На моей стороне плебс, поддержавший Катилипу, я родственник великого Мария... А Помпей? Сподвижник тирана Суллы... А олигархи?..

Он злобно засмеялся и ударил по щеке раба, недостаточно быстро оправившего свечильню.

Когда друзья ушли, задумался о будущем. Оно представлялось тревожным, и поднять руку на великого Помпея, который был трижды консулом, первым полководцем, казалось святотатством. Вся жизнь Помпея была триумфальным шествием. И мог ли он, Цезарь, муж презираемый и ненавидимый знатью, упрекаемый в грабежах Галлии, бороться с титаном, увенчавшим себя подвигами и победами, с Атлантом, поддерживавшим на своих плечах весь мир?

Пролетали дин, Цезарь беспокоился. Его дом в Равенне осаждали недоумевающие толпы провинциалов, чувствуя приближение грозы. Они искали защиту у мужа, взявшего приступом более восьмисот галльских городов, покорившего триста племен и сражавшегося с тремя миллионами воинов.

— Он убил более миллиона и столько же взял в плен, — говорили низальпинцы. — И ему ли нас не защитить от врагов?

Пришла эпистола от Антония, который сообщал о январском заседании сената, на котором была утверждена рогация, объявлявшая Цезаря врагом отечества, если он не сложит оружия до 1-го квинтилия.

«Сенаторы требовали, чтобы ты, Цезарь, распустил поиска, а я предложил, чтобы вы оба отказались от власти, — писал Антонин. — Но Метелл Сципион и консул Лентул кричали, что против разбойника нужно действовать оружием и не собирать голосов.

Я и Кассий выступили с возражениями против предложений сенаторов, и голосование не было произведено, однако это не имеет значения, тем более, что я слышал, как консуляр Марцелл сказал своему двоюродному брагу: «Мы заставим сенат голосовать за военное положение и уничтожим власть трибунов». Сенаторы в знак печали надели траурные одежды. Цицерон ведет переговоры с вождями олигархов и популяров о предоставлении тебе, Цезарь, права заочно домогаться консулата, а Помпею на время его консульства удалиться в Испанию. Решай, что делать. Но я не верю в мирное разрешение спора».

Цезарь не спал всю ночь, обдумывая положение. Чуть забрезжило утро, он, бледный, с головной болью, вышел из дома и, кликнув гонца, послал его к Куриону с новыми предложениями:

«Я согласен удовольствоваться Цизальпинской Галлией с двумя легионами», — писал он. Вечером была получена эпистола от Антония, который извещал, что Помпей тайно поручил вести переговоры о мире, но Лентул, Кантон и Сципион выступили с резкими возражениями. А ночью примчался гонец с лаконическим письмом Бальба: «Объявлено военное положение».

Цезарь был спокоен. Сделав распоряжение легионам быть наготове, он, не раздеваясь, прилег отдохнуть.

На рассвете прискакали на взмыленных лошадях Антоний и Кассий.

Полководец спал. Оттолкнув часового, Антоний вбежал в шатер.

— Цезарь, вставай! — закричал он. — Каждая минута дорога. Помпей приказал произвести набор воинов в Италии и призвать в Рим ветеранов. Спешите.

В это время раб подал Цезарю записку.

— Прочти, очень важно, — шепнул он.

— Посвети, — приказал полководец. И вдруг, побледнев, стукнул кулаком по столу.

— Лабием ведет переговоры с Помпеем? Не может быть! — крикнул он и тихо прибавил: — О Тит, Тит, разве мы не были друзьями?

Взглянул на Антония и Кассия: «Тучный и худощавый... Тучные бывают добродушнее и вернее...» Он обнял Антония, кивнул Кассию и сказал:

— Я уверен, друзья, в вашей преданности!

Честные глаза Антония горели привязанностью и любовью, а в угрюмых глазах Кассия таилось холодное равнодушие, и Цезарь подумал: «Доверюсь Антонию. С ним я сделаю больше, чем с другими».

— Жребий брошен! — воскликнул он и, повернувшись к Антонию, прибавил: — Переправиться и занять Аримин.

Повелев рыбаку, закидывавшему сети, перевезти себя через Рубикон, Цезарь сел в лодку и смотрел помолодевшими глазами на приближающийся берег.

«Там должна вспыхнуть яркая слава побед над противником, и тяжелый путь к власти приведет меня к древней столице Ромула! Там я похороню одряхлевшую республику и на могиле ее положу тяжелый камень».

Он решил действовать с обычной своей быстротой.

Послав легатов за галльскими легионами и передав начальствование над пятью тысячами пехоты и тремястами конницы Гортензию, Цезарь, сев ночью на телегу с Антонием и Азинием Поллионом, отправился к Рубикону.

В раздумье стоял он на берегу реки, отделявшей подвластную ему Цизальпинскую Галлию от Рима.

«Если я перейду через Рубикон, враги скажут: «Он вступил на путь мятежа»; если же смирюсь, то погибну. Но разве я враг отечества? Нет, я враг олигархов, враг презренной кучки, заседающей в сенате!»

Поднял голову.

«Звезда Цезаря восходит», — мелькнула мысль, и, обратившись к Азинию Поллиону, он спросил:

— Что думаешь, друг, о нашем положении? Как бы ты поступил на моем месте?

Азийский Поллион советовал подождать прибытия галльских легионов; он говорил, что Помпея поддержит Италия и провинции, что в Азии у него много друзей и восточные цари помогут ему, и еще говорил что-то, но Цезарь уже не слушал.

Светало. Гремели трубы приближавшихся легионов.

— Цезарь, подходят верные войска, — сказал Антоний, вскакивая на коня. — Жду приказаний.

Император поднял руку. Лицо его горело в свете разливавшейся по небу зари, глаза сверкали решимостью.

Книга третья

I

Цезарь шел со свойственной ему быстротою: после Аримина пали приморские города Пизавр, Фан и Анкона.

Рим был в ужасе и растерянности. Сенаторы, сожалея, что не приняли условия Цезаря, сбегались к жилищу Помпея, а он, ослабевший от болезни, лежал в таблинуме и думал:

«Зачем я послушался сыновей и тестя? Нужно было уступить... Война! Кому она нужна? И ради кого затеял я борьбу? Ради прихоти аристократов, которые добиваются власти. А я стар, мне нужен покой, тихая жизнь в вилле, любящая жена, семейное благополучие, беседа с друзьями и философами. Никогда я не был политиком и ненавижу козни, демагогию, ложь, хитрость и все то, что составляет политику. Они, эти аристократы, толкнули меня на разрыв с Цезарем, а сыновья поддерживают их и требуют борьбы. И теперь, когда я не знаю сил Цезаря, что я могу сделать? Говорят, он ведет за собою всю Галлию, что станет с родиной, когда дикие полчища наемных варваров и разнузданные воины проникнут в сердце Италии?»

Созвав сенат, он заявил, что будет защищать отечество, отверг посредничество Цицерона в мирных переговорах с Цезарем и с презрительным равнодушием слушал упреки сенаторов, обвинявших его в бездействии. А когда Катон предложил передать ему полную власть, он гордо встал:

Требую, чтобы консулы и сенат покинули Рим имеете со мною. Оставшихся буду считать изменниками. Кто не за меня, тот против меня!

Все молчали в изумлении. Оставить Рим! Это было неслыханно со времен основания Города. Рим, столица не только Италии, но и всего мира, должен быть отдан врагу без боя!

Поднялся ропот, слышались возгласы, оскорбительные для Помпея, но полководец, вздернув презрительно плечами, вышел из курии.

Этой же ночью он с женой и младшим сыном покинул Рим.

Ехал в Капую с тяжестью на сердце. Чувствовал, что сенаторы презирают его за малодушие и бездеятельность, ненавидят за затруднения, в которые они попали: что делать с многочисленными фамилиями рабов, куда отправить жен и детей, где взять денег?

— Они бросились за помощью к Аттику, — рассказывал Гней, догнавший отца недалеко от Капуи, — но этот негоциатор объявил, что в подвалах его дома ничего уже не осталось, а деньги, положенные на хранение в храмы, распределены между Цицероном и несколькими друзьями. Всадники, боясь междоусобной войны, в долг никому не дают...

— А разве синграфы не те же деньги? — спросил Секст.

— Скупка их прекратилась.

Прибыв в Капую, Помпей приказал призвать под знамена новобранцев и обучить их. Но события быстро следовали одно за другим: поверив ложному слуху, что Цезарь идет на Рим во главе галльской конницы, консулы бежали из столицы, бросив

казначейство, а за ними потянулись сенаторы и всадники. Взятие Игувия, поражение Вара, занятие Авксилы, Цингул и всего Пицена еще больше увеличили растерянность. А когда пришло известие, что XII легион Цезаря двинулся к Фирму, смутился даже невозмутимый Помпей.

Он был в большой тревоге и, сидя над эпистолой Цезаря к италийским муниципиям, хмурился: галльский полководец писал о своих мирных намерениях, требовал спокойствия и поддержки.

«Мои силы возрастают с каждым часом, а силы врагов тают, — читал Помпей, — я, популярен, стою за народ, а помпеянцы — за олигархию, которые губят родину. Все, кто пойдет за мной, будут вознаграждены. Кто не против меня, тот за меня».

Вспомнил о слухах, носившихся в лагере: Цезарь и галльская конница, надеясь на эту милость, превозносила своего императора.

— Демагог, злодей, — с бешенством говорил Помпей, — разве можно ему верить?

— Он лжив и изворотлив, как угорь, — с ненавистью сказал Лабиен, перебежавший на его сторону, — и если мы не будем медлить...

— Половина Италии в его руках, а прошел всего месяц, — злобно заметил Помпей: — Если бы я знал, что он перешел Рубикон с пятью тысячами, я раздавил бы его, как клопа...

— Почему же не была послана разведка? Помпей пожал плечами.

— Никто не верил, что он осмелится пойти против сената...

Посоветовавшись с сыновьями, он приказал консулам стянуть к Брундизию войска и отступить в Грецию.

— Там, на полях Эллады, решится судьба двух триумвиров. Боги должны дать преимущество справедливости.

— Она на твоей стороне! — вскричал Лабиен. — В Греции ты укрепись и разобьешь Цезаря.

Цезарь добивался мира. Аристократы недоумевали, можно ли ему верить. Всем было известно содержание эпистолы, полученной Цицероном. Скорбя о тяжелом положении Италии, Цезарь писал:

«Сила, движущая моими действиями и поступками, это любовь к родине. Видя страдания квиритов, продающих свое имущество для уплаты процентов по долгам, слыша проклятья торговцев и публиканов, испуганных падением цен на предметы первой необходимости, и нарекания голодных пролетариев на недостаток работы, я скорблю всей душой о бедствиях отечества и спрашиваю себя: «Не пойдешь ли ты, Цезарь, на какие угодно жертвы?» И отвечаю: «Да, пойду. Я готов вернуться к частной жизни и оставить Помпею первенство в республике, при условии, что он поклянется в моей безопасности».

Получив сведения, что Цицерон носится с его эпистолой и хлопочет о мире, Цезарь написал в Рим Оппию, приказывая распространить свою эпистолу среди оптиматов и плебеев.

«Я не стремлюсь стать демократическим Суллой, — писал он, — я наоборот, желаю мира и великодушного позволения Помпею отпраздновать триумф».

Рассылая эпистолы, он посмеивался: «Помпеянцы, несомненно, разделятся на два лагеря: одна сторона будет требовать мира, а другая — войны. И, пока они будут спорить, я буду идти вперед».

Двигаясь стремительно вперед, Цезарь отпускал сторонников Помпея, которых

захватывал на своем пути. Он хотел, чтобы даже враги говорили о его великодушии и милосердии. И не ошибся: Цицерон, взволнованный поступками Цезаря, остался в своем формийском имении, несмотря на приглашение Помпея бежать с ним в Грецию.

Под стенами Брундизия Цезарь остановился — прибыли послы Помпея с мирными предложениями. Но они медлили с переговорами и хитрили:

— Подождем приезда консулов, Помпей не может решить такого важного дела без главных магистров.

Прошло несколько дней. Однажды ночью Цезарь был разбужен шумом: посольство оставляло лагерь.

— Почему уезжаете? — опросил обеспокоенный Цезарь.

— Так приказал наш господин, — слышались разрозненные голоса.

На рассвете Цезарь получил известие, что Помпей вышел со всеми кораблями в море.

Взбешенный полководец бегал по лагерю и кричал:

— Они желают войны! Они жаждут крови! Слышите, коллеги? — обращался он к сбежавшимся легионариям. — Я хотел мира, а Помпей обнажил меч! Я предлагал ему власть и готов был подчиниться, а он ищет моей смерти! О горе! Горе!..

Притворно рыдая, он рвал на себе одежды и говорил:

— Готовы ли вы, коллеги, поддержать меня в этой борьбе? Согласны ли вы пойти со мной в Испанию?

— Да здравствует император! — кричали легионы. — Пойдем, куда прикажешь!

— Коллеги! У меня только четырнадцать легионов, но это непобедимые легионы Цезаря, завоевавшие Галлию! Помните: за нашей спиной усмиренная провинция. готовая восстать, у нас мало денег, мало провианта, нет кораблей... А у Помпея — испанские войска, в его руках море, богатые провинции! Он наберет на Востоке множество легионов... Ужас охватывает меня при мысли о борьбе, но, когда я смотрю на вас, дорогие коллеги, в сердце возникает твердая уверенность в победе...

— Разобьем Помпея! — крикнул Антоний, и его возглас, подхваченный тысячами здоровых глоток, обрадовал Цезаря.

— Слава Цезарю! Слава! — гремели легионы, направляясь по талому снегу к Брундизию.

Цезарь шел пешком впереди войска. Сияло солнце, ветер развевал полы его красного плаща, и длинный галльский меч сверкал на правом боку. На бледном лице Цезаря лихорадочно блестели черные глаза.

Италия была занята в два месяца, — к зимнему солнцестоянию он был в Брундизии.

II

«Победа зависит от быстроты действий», — думал Цезарь, посылая гонцов в муниципии юной Италии с приказанием оставаться войскам на местах.

Обязав приморские города послать суда в Брундизии, Цезарь приказал военачальникам приступить к постройке кораблей (Долабелла должен был занять Иллирию) и овладеть близко расположенными к Италии житницами — Сардинией и Африкой.

Пробыв в Брундизии одни сутки, Цезарь немедленно отправился в Рим.

Проезжая через Формии, он посетил Цицерона, желая укрепить с ним дружбу, и усиленно приглашал его в Рим.

— Едем вместе. Там ты займешься мирными переговорами с Помпеем.

— Мирными переговорами? Но разве ты, Цезарь, не собираешься в Испанию? А затем в Элладу?.. Но помни, я воспротивлюсь в сенате твоим походам...

— Неужели ты не видишь, Марк Туллий, что Помпей стремится к войне и не желает вступать в переговоры?

Приближенные Цезаря, молодые и наглые искатели приключений, кричали:

— Долой Помпея!

— Что ты там говоришь, Цицерон, о сенате и о мире?

Старый Помпей отжил свое время!..

Побледнев, Цицерон смотрел на полководца: губы его дрожали, и он не мог выговорить ни слова. Наконец, пролепетал, задыхаясь:

— Зачем же ты, Цезарь... говоришь... о мире?.. Они, — указал он на Мамурру и его друзей, — жаждут грабежа государственных ценностей и вовсе не помышляют о благе республики...

Цезарь смутился.

— Нет, ты ошибся, Марк Туллий!.. Твоя дружба с Помпеем — это заискивание слабого перед сильным. Вспомни, как поступил Помпей перед твоим изгнанием. Заступился ли он за тебя, когда Клодий мстил за Катилину и его друзей?..

Цицерон злобно усмехнулся:

— А кто, Цезарь, науськивал на меня негодяя Клодия? Не ты ли? Ты подстрекал Катилину к мятежу, а потом мстил мне преступными руками Клодия... Я не верю тебе, Цезарь!

Они расстались недовольные друг другом.

Прибыв в Рим, оставленный им девять лет назад, Цезарь созвал сенат вне померия и предложил послать в Элладу послов с мирными предложениями. Обратившись к народу, он сказал:

— Квиристы! Кучка оптиматов привлекла обманном путем на свою сторону моего друга «родственника Помпея, и теперь он стал моим и вашим врагом. Мы, оба популяры, стояли всегда на страже благосостояния плебса, но Помпей слабоволен, и нужно пожалеть старика, впадающего в детство... Ему ли, больному, воевать?.. Я уверен, что боги вразумят его и он примет мирные предложения...

Толпа закричала:

— Долой Помпея!

— Хлеба! Хлеба!

Цезарь горестно покачал головою.

— Я понимаю, квиристы, вашу суровость по отношению к мужу, изменившему вам... Я понимаю также бедственность, в которую вы попали по вине Помпея (Бешеные крики заглушили его слова)... и поэтому прикажу выдавать вам хлеб... Обещаю каждому из вас по триста сестерциев, как только... кончится эта братоубийственная война... Назначьте же, кого послать к Помпею с мирными предложениями...

— Долой Помпея!

— Не тебе просить мира!

— Пусть сдастся на твою милость!..

Крики усиливались. Цезарь видел яростные лица, ощеренные зубы и, подняв руку, сказал:

— Если никто не желает ехать к Помпею, пусть он сам приедет к нам!

— Да здравствует Цезарь! — закричала толпа, и сотни рук протянулись к нему. И вдруг его подхватили и подняли. — Да здравствует император! Vivat, vivat!

Заставив сенат назначить исполняющим обязанности консула Марка Эмилия Лепида, друга своего детства, зятя Сервилии и претора этого года, а Антония начальником войск, оставляемых в Италии, Цезарь потребовал выдать ему казну. Но сенат был против.

— Я не привык, отцы государства, останавливаться перед препятствиями, — резко заявил Цезарь и приказал кузнецам и воинам отправиться в подземелье храма Сатурна и разбить двери сокровищницы.

Посланный центурион вскоре вернулся.

— Вождь, народный трибун не разрешает проникнуть в подземелье.

— Что? — побагровел Цезарь. — За мной, коллеги! Клянусь Сатурном, я усмирю этого наглого человека!..

Пригрозив народному трибуну смертью, Цезарь смотрел, как кузнецы разбивали огромными молотами железные двери, как сыпалась твердая, как камень штукатурка, как Антоний спускался по каменным ступеням в подвал и воины выносили золотые и серебряные слитки и монеты.

— Пересчитать, — приказал полководец рабам-счетоводам, и, когда Антоний объявил, что казна составленная Помпеем, состоит из пятнадцати тысяч фунтов золота, тридцати пяти тысяч фунтов серебра и сорока миллионов сестерциев, Цезарь вымолвил, нахмурившись: — Мало.

Толпы народа, испуганные насилием над народным трибуном, угрюмо молчали. Воины весело увозили золото и серебро. Антоний обратил внимание Цезаря на общее недовольство, но полководец презрительно сказал:

— Выдай им хлеба — и они замолчат. Толпа, дорогой Антоний, это цемент, скрепляющий камни, которые в совокупности составляют твердую власть. Ты согласен, Марк Эмилий? — обратился он к Лепиду.

— Толпа, Цезарь, тебя поддержит. Обещай, ей побольше, и она понесет тебя на своих плечах... А давать.. Можно ей и ничего не дать, когда будешь у власти...

Цезарь засмеялся и взглянул на Антония:

— Софизм это или мудрая философия?

— Простая философия жизни, — сказал Антоний, поглаживая бороду. — Как верно то, что ты отправляешься из Рима без легионов, так же верно, что популярен Цезарь будет владыкою всего государства.

Повеселев, Цезарь обнял обоих друзей.

— Оставляя вас в Италии, я доверяю вам, потому что люблю вас и глубоко уважаю, — молвил он. — Помни, Антоний, что в твоём ведении находятся шесть легионов, с которыми я прошел Италию с севера на юг: три расквартированы в Брундизии, Таренте и Сопонте, один дан Квинту Валерию и два — Куриону...

— Итак, Цезарь, ты намерен воевать в Испании при помощи восьми галльских легионов, — задумался Антоний. — Но подумал ли ты, что Галлия может восстать?

— Я все обдумал.. Марк Котта должен быть изгнан из Сардинии, а Марк Катон — из Сицилии...

Лишь только Цезарь уехал, нобили, возбуждаемые сенаторами-помпеянами, подняли головы. Своими действиями Цезарь вооружил против себя оптиматов, а

Антоний, назначенный господином Италии, проводил время в диких увеселениях: чувственный, он позволял себе бесчинства; его можно было встретить в притонах разврата, в обществе обаятельной гетеры-девушки Кифериды, с которой он прогуливался, полулежа в ее лектике, по улицам Рима.

Похожий лицом на Геркулеса, красивый, с окладистой бородой, веселый и остроумный, он покорял женские сердца, и его бесчисленные любовные похождения оскорбляли сенаторов и всадников, втайне опасавшихся за своих жен и дочерей. И действительно, в его кубикулуме творились постыдные дела, но жалобы отцов семейств, обращавшихся к цензорам, оставались без последствий: магистры боялись всесильного начальника конницы.

Вскоре сенаторы с негодованием стали покидать Рим, и, когда Лепид упомянул имя Цицерона, замышлявшего уехать, Антоний запретил оратору трогаться с места.

Прошло несколько недель. Однажды Антоний, полулежа за столом рядом с Киферидой, беседовал с Лепидом, часто заглядывая в черные глаза гетеры и любуясь ее смуглым лицом.

— Нищета увеличивается, общественные работы прекратились, и толпы голодного плебса ропщут, — говорил Лепид, — публичные платежи приостановлены, в казначействе нет денег...

— Ну и что ж? Если нет хлеба, можно есть бобы; если никто не дает займы, можно обойтись; если отцы не платят приданого, пусть расстраиваются браки. Квириты должны понять, что война продолжается...

— Ты неправ, Антоний, — упрекнул его Лепид. — Золотые и серебряные изделия, драгоценности, дома и виллы — все упало в цене. Даже квартиронаниматели не платят владельцам домов!..

— Повторяю, война продолжается, — засмеялся Антоний, поднося к губам фиал. — Знаю, что скажешь еще, — захохотал он, ставя опорожненную чашу на стол: — я пирую, у меня есть хлеб, вина, устрицы, сыры и десятки вкусных блюд, приготовленных лучшими поварами, а плебс голоден... Что поделаешь, дорогой мой? Плебс на то и существует, чтобы поддерживать мужей, управляющие государством. Мозг — это мы, а мозг — владыка тела, следовательно, мы — владыки. Так, богоподобная нимфа? — с пьяным смехом обратился он к Кифериде и, обняв, привлек к себе. — Ты молчишь, Марк Эмилий? Моя мудрость не удовлетворила тебя? Но пойми, что сам Цезарь, будь он здесь, одобрил бы мои речи, клянусь Олимпом!

Антоний хмелел, голос его обрывался.

— Ты думаешь, Марк Эмилий, мы не придем когда-нибудь тоже к власти? Непременно придем — боги любят сильных воинственных мужей... А таким слабым и нерешительным, как Помпей, тягаться с нами нечего. Цезарь силен духом и волей, Он подобен Аннибалу побеждающему, а не побежденному...

Его речь была прервана возгласом гетеры:

Привет и большая радость!¹⁴

К столу подходил Саллюстий Крисп. Некогда любовник Кифериды, с которой он промотал большую часть своего состояния, теперь веселый муж, казалось, образумился и, равнодушно кивнув ей, шутливо сказал:

— Привет амфитриону, тонкому ценителю красоты.

— Привет и тебе, мудрый Фукидид, — в тон ему ответил Антоний.

¹⁴ «Одиссея», XXIV. 401.

В то время как раб снимал с него обувь, Саллюстий говорил, поглядывая на гетеру:

— Во всем Риме я не встречал такой умной, такой изящной, такой привлекательной девушки, как ты, Киферида! Глядя на тебя, молодеешь не только душой, но и телом.

Продолговатое лицо гетеры окрасилось легким румянцем, в черных глазах затеплилась нежность, на щеках выступили ямочки.

— Ты, как всегда, любезен, господин мой! Саллюстий повернулся к Антонию:

— Ты все пируешь, а новостей не знаешь... Говорят, Цицерон покинул Формии и отправился к Помпею!

Антоний побагровел

— Что? — выговорил он сдавленным шепотом. — Цицерон? Бежал?.. В погоню за ним!..

Он задыхался от бешенства, и тучное тело его вздрагивало, точно охваченное падучей.

Саллюстий поднес ему чашу с вином, подмигнул Кифериде. Гречанка придвинулась к Антонию и, обняв его, прижалась щекой к грубой волосатой щеке.

— Успокойся, господин мой, — шепнула она, — пусть шут забавляет своего старика.

Это был намек на Помпея, и Антоний громко захохотал.

— Гонец из Испании, — возвестил раб.

— Зови, — вскочил Антоний, освобождаясь из объятий гетеры.

Вошел Диохар, любимый гонец Цезаря, и, приветствуя Антония и Лепида, возгласил:

— Эпистола от Цезаря.

— Встать! — крикнул Антоний, и гости вскочили в знак уважения к великому полководцу. — Взгляни, — протянул он письмо сcribe, — подлежит ли оно оглашению?

— Господин, эпистола написана обыкновенными письменами.

— Читай

Сcribe развернул свиток пергамента:

— «Гай Юлий Цезарь, император — Марку Антонию, начальнику конницы.

Одновременно с настоящей эпистолой извещаю подробно сенат и римский народ о военных действиях, а тебя — вкратце: Децим Брут и Требоний осаждают с моря и суши Массалию, в которой заперся Домиций Агенобарб, а я отправляюсь на помощь Гаю Фабию, посланному в Испанию с пятью легионами. Узнав, что у Илерды соединились легаты Помпея Марк Петрей с двумя и Люций Афраний с тремя легионами (всего у них сорок тысяч пехоты и пять тысяч конницы), я хочу попытаться счастья и разбить их.

В Галлии я заключил мир с Коммием и другими враждебными вождями, набрал пять тысяч пехотинцев и шесть тысяч галльских всадников, заплатив им деньгами, вынутыми из сокровищницы Сатурна, а также динариями, взятыми в займы у военных трибунов и центурионов. Эти динарии я им верну с процентами; к тому же они — залог верности начальников. Галльской знати, принятой мною на службу, я обещал возратить отнятые имения.

Спокойно ли в Риме? Удержи в повиновении Италию, чтобы мне не пришлось вторично изгонять помпеянцев. Прощай».

Вскоре пришло известие о морской победе Децима Брута, а полтора месяца спустя Цезарь сообщил о сдаче Афрания и Петрея и о переходе двух легионов Варрона на его

сторону.

«Я оставил всем воинам жизнь и имущество, объявив, что каждый волен идти куда хочет, — к Помпею или к Цезарю, или возвратиться к частной жизни, — писал он, — теперь вся Испания в моей власти. Завтра отправляюсь на совещание в Кордубу, твердо решив дать большинству иберов права римского гражданства. Правителем Испании оставлю легата Квинта Кассия Лонгина, дав ему четыре легиона».

События следовали с невероятной быстротою. Известие о морской победе помпеянцев над Долабеллой и о битве у Баградаса, где нумидийский царь Юба, друг Помпея, уничтожил легионы Куриона, повергло Антония в ужас: Рим лишился африканского хлеба, предстояли волнения плебса... Подкрепления, посланные Долабелле, были разбиты, и пятнадцать когорт взяты в плен.

Все ждали прибытия Цезаря.

Не успел Цезарь приехать, как сенат, по предложению Лепида, назначил его диктатором, и известие об этом было спешно отправлено ему с сенатским гонцом.

Цезарь прибыл в Рим в конце ноября, а его ждали раньше. Он был хмур и озабочен. Гибель Куриона с легионами опечалила его; он думал, что этот мот и бездельник выказал себя бесстрашным военачальником и кончил жизнь, как подобало римлянину.

После выборов, на которых Цезарь был избран консулом следующего года, а Целий и Требоний — преторами, в Риме заговорили о мире с Помпеем. Но надежд на мир было мало, хотя друзья и влиятельные магистраты настаивали на переговорах.

«Буду играть в войну и перемирие, — думал Цезарь. — Зимой переправлюсь в Эпир и начну переговоры с Помпеем, как законный консул республики. Ведя переговоры, буду завоевывать страну, овладею побережьем до Диррахя, обеспечу себя хлебом, железом, оружием и выючными животными».

На лице его была усталость: приходилось председательствовать в комициях, на латинских празднествах, ¹⁵ предлагать законы: о даровании прав гражданства Цизальпинской Галлии, о возвращении из изгнания лиц, обвиненных по закону Помпея, о запрещении иметь у себя более шестидесяти тысяч сестерциев в золоте и серебре.

Последний закон был вызван острым положением должников. Ростовщики и всадники, услышав о ротации, обвинили Цезаря в желании провести отмену долгов по всей Италии.

— Популярь, он продолжает поддерживать бездельников и оборванцев, — с ненавистью говорили они, но, узнав, что Цезарь приказывает покрывать долги стоимостью имущества, оцененного до междоусобной войны, несколько успокоились.

— Этот закон проведен властью диктатора, — шептали недовольные землевладельцы, — и бороться с ним невозможно.

— Не быть же Цезарю пожизненным диктатором, — сказал Аттик, дрожавший за деньги, розданные многим нобилям. — Неизвестно еще, кто победит. Если Помпей — мы получим все с процентами.

Цезарь знал об этих разговорах от лазутчиков.

«Что же, — думал он, — пусть надеются на Помпея, а я буду делать свое большое дело».

С Кальпурнией он встречался только ночью. Жена, сидя на ложе, дожидалась мужа, по древнему обычаю. Это раздражало Цезаря; он ненавидел древность и

¹⁵ *Feriae latinae.*

осмеивал ее, а Кальпурния рабски следовала обычаям, которые давно уже отжили. «Она неспособна даже изменить, — думал Цезарь, раздеваясь донага — привычка, которой следовал всю жизнь — и ложаюсь, — а между тем есть ли хоть одна такая добродетельная матрона в Риме?»

Лежа, он беседовал с нею. Она откровенно рассказывала, что за ней пытался ухаживать Антоний, но получил отпор, и что Саллюстий звал ее в свою загородную виллу, чтобы показать дорогие картины, купленные у публикана.

— И ты, конечно, не поехала к нему? — со смехом спросил Цезарь.

— Неужели ты, Гай, мог подумать... Он прервал ее:

— Послезавтра я уезжаю в Брундизий. Позаботься, дорогая, собрать, что нужно, в дорогу...

— О, Гай, Гай, — всхлипнула она, прижимаясь к нему, — опять ты оставляешь меня надолго... За девять лет, проведенных тобой в Галлии, я виделась с тобой в Равенне не более шести раз!..

— Да, но не забудь, что каждый раз ты жила в Равенне не менее месяца!..

Она вздохнула и спросила, сколько тог и плащей, какие туники положить в его сундук и нужно ли приказать сcribeм приготовить папирусы и пергаменты. Но Цезарь молчал: он ровно дышал, слегка похрапывая.

Сложив с себя бесполезную диктатуру, Цезарь выехал из Рима, направляясь в Брундизий, где ожидали легионы. Он отправлялся в Грецию без денег, без хлеба, без рабов и без вьючных животных, разрешив воинам подвесить к концу копий небольшие узелки.

— Коллеги, — сказал он, сажая пятнадцать тысяч на корабли, — мы отправляемся в Элладу, где некогда грозный диктатор Сулла разбил несметные полчища царя Митридата. Он обещал ваннам сокровища, рабов и красивых невольниц, и они получили все это... А я обещаю вам то же в двойном размере и земли в Италии, которыми щедро наделю вас...

Радостные крики огласили пристань. Толпившийся народ выражал свою радость хвалебными песнями в честь Цезаря.

— Остальные войска посадить на корабли, как только биремы и триремы приплывут обратно из Эллады, — говорил Цезарь, сжимая руку Антония. — Поручаю это дело тебе, Габинию и Фуфию Калену...

— Будет сделано, вождь!

Цезарь взошел на корабль. За ним поднялись военачальники.

Загремела труба, и триремы, рассекая длинными веслами темные волны, двинулись в путь. Шел январский дождь, туман застилал острова.

— Что бы ни сулила мне Судьба, — молвил Цезарь, поглядывая на удалявшийся берег Италии, — я готов принять ее удар или милость. Об остальном пусть позаботятся боги.

Он покрыл лысую голову краем тоги, чтобы защитить ее от моросившего дождя, и устремил глаза на большие беспокойные волны, которые, ударяясь о борта, обдавали палубу пеной и брызгами.

III

Отступив из Италии в Элладу, Помпей поставил во главе пятисот кораблей, доставленных союзными восточными царями, консуляра Марка Бибула,

непримиримого аристократа, вызвал один легион из Киликии и присоединил его к пяти легионам, выведенным из Италии, набрал легион воинов, живших в Греции и Македонии, и два легиона — в Азии, нанял всадников, пращников и стрелков из различных народностей: здесь были димие черноволосые галлы, белокурые германцы, смуглые низкорослые галаты и каппадокийцы, юркие дарданы и мрачные приземистые бессы.

Центром вооружаемых войск была Македония, а главная квартира находилась в Фессалонике, куда сбегались сенаторы и всадники, покидавшие Рим.

Узнав о завоевании Цезарем Испании, Помпей приуныл: седой, с большими волосами и широким мужественным лицом, тучный, он сидел, наклонив голову, над хартией с нанесенными на ней городами и реками Греции, морями и островами.

— Путь от Берей над Галпакмоном в Диррахий долог и утомителен. Но в Македонии делать больше нечего. О Марс и Беллона, — вздохнул он, молитвенно воздев руки и упав на колени, — помогите Помпею поразить врага... О, мои испанские легионы!..

Встал и пошел навстречу входившим друзьям.

По лицам их Помпей увидел, что они принесли дурные вести, но не смутился — привык к преследованиям судьбы.

— Что нового, друзья? — спокойно спросил он, ожидая удара.

— Увы, Цезарь высадился в Акрокеравнии...

— Это где?

— В Палеасском заливе. Склонившись над хартией, искал залив.

— Где же он? — нетерпеливо восклицал он, подвинув к друзьям хартию. — Где Акрокеравния? Позвать географа!

Низенький старичок стоял перед ним, кланяясь. Помпей повторил вопрос, готовясь сбить скриба ударом кулака в лицо, но старичок протянул палец и, обведя им черный кружок и извилистую береговую линию, сказал:

— Вот, господин мой, Акрокеравния — взгляни на надпись. А вот и Палеасский залив.

Помпей покраснел и, стараясь скрыть свое смущение, спросил:

— А скажи, откуда ближе до Диррахия: от Фессалоники или от Акрокеравнии?

— От Акрокеравнии ближе, господин мой, и путь легче. На пути находятся Орик и Аполлония...

— Ну, иди, — нахмурившись, сказал Помпей. — А теперь, друзья, объявите военачальникам мое приказание: двигаться большими переходами к Диррахию, куда я переносу главную квартиру.

Через час легионы двинулись в путь. Помпей с друзьями ехал впереди. Лошадь под ним была горячая, и он ежеминутно сдерживал ее.

Вечером почти одновременно прискакали два гонца.

— Орик и Аполлония заняты... Города не сопротивлялись законному консулу...

— А ты от кого? — повернулся Помпей к другому гонцу.

— От Цезаря.

Губы полководца дрогнули. Он сорвал печать, пробежал глазами эпистола.

— Подлый лицемер! — крикнул он побагровев. — Предлагать мир, и не прекращать военных действий! — И, скрипнув зубами, прибавил: — Зачем же было высаживать легионы в Греции, если он жаждет мира?

Нахмурившись, он отвернулся от гонца.

— Будет ответ? — спросил посланец.

— Ответа не будет, — холодно ответил Помпей.

Прибыв под Диррахий, полководец занял город и расположил войска к югу, вдоль берега Апса.

— Укреплять лагерь, — приказал он и отправился в Диррахий, где в главной квартире собрались начальники на военный совет.

Ночью Помпей, дремавший в полном снаряжении над хартией, был разбужен рабом. Через несколько мгновений перед ним стояли друзья. Они сообщили, что подошедший Цезарь расположился лагерем на противоположном берегу Апса и прислал эпистолу с мирными предложениями.

Помпей возмутился.

— Друзья, муж, предлагающий мир с обнаженным мечом, — разбойник!.. — крикнул он. — Пусть он сложит оружие, если не лжет, что согласен мне подчиниться... Иных условий я не приму. Неужели Помпей Великий согласится вернуться в Италию из милости Цезаря?

Он резко отвернулся от друзей и, не глядя на них, вышел. Через несколько минут его громовой голос загудел в атриуме:

— Пиши, сcribe! Объявить Марку Бибулу строгий выговор за недостаточную бдительность на море: высадка Цезаря с легионами в Акрокеравнии — недопустимая оплошность. Приказываю Марку Бибулу послать Либона с пятьюдесятью кораблями к Брундизию для наблюдения за гаванью, а самому Бибулу зорко наблюдать за морем, дабы легионы, оставленные Цезарем в Италии, не могли переправиться в Грецию...

Выйдя на улицу, Помпей вскочил на коня и поехал в лагерь.

Несмотря на дождь и холод, воины работали, укрепляя вал. Он слышал окрики центурионов, резкие голоса военных трибунов, угрюмые ответы легионариев и подумал, вспомнив Корнелию, последовавшую с ним на чужбину, и непримиримых сыновей, жаждавших борьбы: «Не лучше ли помириться?.. Если он не лжет и первенство останется за мною... Но нет! Не таков Цезарь: вероломный, он готов на измену; лживый, он способен отказаться от своих слов; нечестный, он будет изворачиваться и меня же обвинять в вероломстве и подлости!.. О, чудовище, грязный выродок, порожденный Венерой и одним из семи царей!»

Он злобно засмеялся и зашептал:

— Почему нет во мне каменного спокойствия, железной воли и холодной жестокости Диктатора? Сулла раздавил бы Цезаря, как вредное насекомое... А я? Какой дух удерживает меня от решительных действий? Неужели Фатум, предназначения которого неизменны?

Подъехав к воинам, он спросил, давно ли они работают и когда их сменят. Выступил центурион:

— Вождь, смена придет на рассвете.

— Хорошо. Какой работает легион? Пятый? Где караульные трибуны?

Он долго находился в лагере, объезжая укрепления, беседуя с начальниками, в палатки которых заходил запросто, не как вождь, а как равный к равным.

Войдя в шатер Брута, который работал при свете тусклой лампы, переписывая исчерченную во всех направлениях рукопись, он любезно заговорил с ним, восхваляя его научные занятия, но не мог отделаться от чувства виновности перед ним. «Разве я не убил его отца? А сын из любви к республике перешел на мою сторону».

Брут сидел, несколько сгорбившись. Ему было тридцать семь лет, — низкий

упрямый лоб, бледное лицо с черной бородой и выдающимися скулами, болезненный вид. Он только что отправил эпистола в Фессалонику, где осталась его жена, дочь Аппия Клавдия, со своей сестрой, супругой Гнея, старшего сына Помпея, и работал рассеянно, под впечатлением воспоминаний. В Риме остались Лепид, женатый на сестре, и вторая сестра, жена Кассия.

«Что их влечет к Цезарю?» — думал он, просматривая греческие исследования о Демосфене, страстным поклонником которого он был. И вдруг вспомнились остроты Цицерона: «Что можно ожидать от этих мужей? Один Брут, а другой — Легад». «Brutus» означало «глупый», а «Lepidus» — «снисходительный», и эта игра слов была неприятна. «Неужели я делал только глупости, а Лепид своей снисходительностью потворствовал изменам жены?»

— Над чем работаешь? — спросил Помпей, которого удручало тягостное молчание Брута. — Цицерон говорил мне, что ты пишешь сочинение «О добродетели».

— Да, я задумал это рассуждение, но братоубийственная война мешает сосредоточиться. Пришлось отложить эту работу и заняться Демосфеном и Полибием.

В это время послышались голоса, и в шатер вошли несколько человек. Прищурившись, Брут старался разглядеть их при скудном свете лампы, но пламя мигало, и лица мужей оставались в тени.

— Цицерон и мой сын, — шепнул Помпей.

После взаимных приветствий Гней сказал, обращаясь не то к отцу, не то к Цицерону:

— Цезарь уверяет, что поднял оружие с целью вернуть квиритам свободу...

— Свободу? — вскричал Цицерон. — Но, друзья мои, скажите, когда народ ее потерял? Разве не было у него законов, неприкосновенных трибунов, которые имели право прерывать политическую жизнь и отменять распоряжения сената?.. Нет, всё у него было: свобода слова и трибуны, избирательное право, которым он даже торговал, как своей собственностью, и беспрепятственный доступ к магистратурам... Чего же больше?.. Какую же еще свободу этот наглый муж хотел вернуть плебсу?

— Цезарь утверждает, что нет равенства между плебеем и нобилем, — перебил Гней. — Он кричит, что некоторые знатные фамилии из рода в род занимают главные магистратуры...

Цицерон рассердился:

— Плебс, плебс! Кто это? Стадо. А Цезарь разыгрывал из себя преемника Гракхов: «Моя цель — освободить угнетенный плебс». Но разве стадо может ходить без пастуха? Я согласен даже на то, чтоб этим пастухом был потомок Венеры, — засмеялся он, — но, друзья мои, подумайте, во имя богов, что представляет из себя эта кучка, именующая себя популярями! Все они — разорившиеся бездельники и искатели приключений: Антоний, Долабелла, Целий, Курион, Мамурра и десятки им подобных...

Брут сидел задумавшись: темная морщина глубоко залегала между бровей.

— Ты прав, — резко сказал он и удивился звуку своего голоса. — Он идет, чтобы отнять у нас свободу... И все, что было честного в Риме, поднялось на помощь республике и свободе...

— Тем более, — подхватил Помпей, — что, сражаясь, мы знаем твердо, все, как один: мы должны победить или умереть свободными.

Помпей знал, что Цезарь со своими пятнадцатью тысячами находится в западне, — против него он имел войск втрое больше и мог уничтожить врага внезапным

нападением, но медлил, решив ослабить Цезаря голодом. Вызвав из Азии Сципиона, он следил за действиями неприятеля. Сведения, получаемые от разведки, не беспокоили его: враг отсиживается в палатках... Цезарь посылает отряды на розыски хлеба... мешает кораблям Бибула брать воду на побережье... ожидает подкреплений из Брундизия...

В то время как часть воинов укрепляла лагерь, а разноплеменная толпа знати, состоявшая из сенаторов, всадников, восточных царей и вождей варварских наездников, роптала на медлительность Помпея (нобили стремились вернуться поскорее в Рим, мечтая поделить между собой богатства «изменников», перешедших на сторону Цезаря, угрожая расправой Аттику, который предпочел остаться в Риме, и открыто выражая недоверие Афранию и Цицерон), он обучал легионариев, соперничая с ними, несмотря на свою старость, в ловкости: верхом, на скаку, выхватывал меч и рубил головы куклам, вылепленным из глины... Однажды, когда он беседовал с халдеями, вошел Лабиен. Нахмурившись, Помпей отвернулся от него.

«Будущее — как на ладони, — подумал Лабиен. — Зачем предсказания? Стоит лишь двинуть легионы!»

— Вождь, в войске Цезаря голод, — вымолвил он, — легионарии слабеют... Прикажи...

— Уйди, разве не видишь, что я занят?

— Вождь, пока Цезарь не получил подкреплений...

— Он и не получит их — Бибул охраняет море...

— Умоляю тебя, вождь...

Помпей высокомерно взглянул на него.

— Кто здесь вождь — ты или я?.. Если ты, то я готов тебе подчиниться, если я — изволь исполнять мои приказания...

Побледнев, Лабиен выбежал из шатра. Он дрожал от бешенства и негодования: «Мы бы разбили Цезаря и взяли бы в плен... Гражданская война кончилась бы... О боги, боги! Что он делает? Пойду к Катону, может быть, он повлияет на Помпея и заставит его принять необходимые меры...»

Покинув с Помпеем Рим и оставив свою сестру Сервилию с ее сыном на Родосе, Катон находился в состоянии грусти и растерянности. Его угнетало тяжелое положение отечества, и он, облачившись в траурную одежду, перестал стричься и бриться, не надевал на голову венка. Так же, как и прежде, он, по примеру Ромула, ходил босиком и без туники — в темной тоге, надетой на голое тело.

Он беседовал с друзьями, когда вошел Лабиен.

Взглянув на мрачное лицо сурового мужа, подражавшего Катону Цензору, Лабиен подумал: «Вот неприятный человек, живущий в идеальном государстве Платона! Цицерон прав, утверждая, что Катон одинок в мире: не замечает никого — ни друзей, ни выродившихся потомков Ромула...»

Лабиен заговорил о слухах, носившихся в лагере, будто Помпею суждено поражение, и выразил опасение, что легионарии, услышав о предсказании халдеев, могут растеряться и во время битвы перейти на сторону Цезаря, но Катон перебил его:

— Удивляюсь, Лабиен, что здравомыслящие люди могут еще верить восточным прорицателям, которые обманывают за деньги легковерных мужей... Успокойся и успокой своих друзей. Наш вождь Бибул примет необходимые меры...

И, обратившись к любимому стоику, прибавил:

— Что такое Фатум и можно ли верить предопределению? — спрашиваешь ты. Трудно утверждать, что это божество, наделенное разумом, а если Фатум не божество, то, может быть — совокупность законов, движущих жизнями, своеобразный порядок мироздания? И если это так, то...

Лабием не стал слушать и поспешил уйти.

IV

Положение плебса, голодного, обремененного долгами, становилось с каждым днем все тяжелее, и Сальвий, изверившись окончательно в обещаниях Цезаря, вспомнил о Целии и Долабелле, на которых указывал некогда Клодий как на мужей, способных вести борьбу. Понимая, что собственные выгоды должны толкнуть их к одновременной защите плебеев, он отправился к Целию.

Целий, сын путеолского ростовщика, друг Цицерона, был муж легкомысленный, честолюбивый, не имевший твердых политических убеждений: некогда сторонник аристократов, он стал цезарьянцем и исполнял должность претора. Теснимый кредиторами, требовавшими уплаты огромных долгов, он возымел мысль предложить законы, но медлил, не будучи уверен в поддержке комиций и боясь выступить против Цезаря.

Войдя в атриум, Сальвий увидел молодого мужа с землистым оттенком лица, с синеватыми кругами под глазами и преждевременными морщинами на лице. Он был в одной тунике и занимался тщательным рассматриванием ваз, полученных от Цицерона.

«Если я продам три лучшие вазы, — размышлял он, — у меня останется еще пять... Конечно, жаль лишиться изображений нагой Данаи, ласкаемой золотым дождем, Одиссея и сирен, Приама над телом Гектора... Но что же делать? Без денег — смерть. А Цицерону скажу, что вазы разбились рабы...»

Стоя на пороге, Сальвий смотрел на Целия.

«Будет ли он бороться? Сторонник Цезаря, он если и пойдет с нами, то не из любви к плебсу».

Целий поднял голову:

— Что тебе нужно, друг мой? — спросил он, подходя к нему. — И почему проник ты в мой дом незамеченным? Уж не вор ли ты или наемный убийца?

Сальвий вспыхнул:

— Не суди, господин, о человеке по старой тунике: нередко под рубищем таится честность, а под тогой с пурпурной каймой подлость и злодейство...

— Ты прав, друг мой! Но скажи, что тебе нужно? Если ты голоден, я повелю тебя накормить, если ты...

— Господин мой, я не нищий, а вождь пролетариев, избранный вместо погибшего Клодия... Я пришел предложить тебе сотрудничество в борьбе с нобилиями...

Целий задумался: в голове промелькнула мысль о ротациях и выгоде, которую можно извлечь из поддержки неимущими...

— Если ты обещаешь мне помощь, я выступлю в комициях, — сказал он. — Что думаешь о законах, которые я предложу: квартиронаниматели не должны платить за прожитое время; все долги отменяются?..

Лицо Сальвия порозовело.

— Господин мой, — радостно вскричал он, — если ты предложишь эти законы, все пролетарии и городской плебс поддержат тебя... И, если прикажешь, — понизил он

голос, — мы выступим с оружием в руках...

— Хорошо, подготовь народ, а я сделаю свое дело. Сальвий вышел, дрожа от нетерпения. Борьба! Она представлялась ему продолжением деятельности Клодия, неумолимого трибуна, священным заветом великого популяра Сертория, непримиримостью Мульция и Малы, любовью к свободе Спартака и ненавистью к нобилям Катилины!..

Лициния встретила его на пороге: она месила грубое тесто из отрубей, и руки ее по локоть были выпачканы.

— Что с тобой? — вскричала она, заглянув в веселые глаза мужа.

— Борьба начинается... Да помогут нам боги добиться лучшей жизни...

— Лучшей жизни? — шепнула Лициния, и слезы покатались по ее исхудалому лицу.

Она плакала, прижавшись лицом к плечу мужа, о долгих годах тяжелой жизни, яростной борьбы за существование. Став давно плебейкой в силу безвыходности, она забыла о далеком прошлом. А потом — годы борьбы... годы унижений и тайной проституции, чтобы заработать несколько ассов на существование... ложь и увертки перед мужем: «Заработала, помогая волшебнице собирать травы».

— Не лучше ли было погибнуть в темной яме, чем медленно умирать, как мы умираем? — говорила она, рыдая и размазывая руками в тесте слезы по лицу.

Сальвий рассказал о готовности Целия возобновить борьбу.

— Муж мой, — вздохнула Лициния. — Целий маленький человек, — не чета Катилине...

— Кто знает? И Спартак был неизвестен, когда начинал борьбу у Везувия, а лотом...

— Делай, как находишь лучше, но я не доверяю силе и влиянию Целия и Долабеллы...

Сальвий рассердился:

— Не каркай, как ворона, а то накличешь беду-. Сомневаться в удаче — не начинать дела. А мы должны всегда быть уверены в победе...

Рогации Целия были встречены противодействием консула и магистратов. Особенно резко выступал городской претор Требоний. Но законы прошли в комициях. В городе происходили беспорядки, а на форуме — побоища. Требоний, сброшенный разъяренной толпой с его судейского места, спасся бегством.

Народ неистовствовал. Пришлось вызвать конницу. Толпа разбегалась, не помышляя об участии своего вождя. Консул, взбешенный выступлением Целия, запретил ему отправлять служебные обязанности, и Целий, не подчинившийся приказанию его, был силою стащен с трибуны. Народ не выступил в защиту вождя, и Целий не мог оставаться в Риме после такого публичного бесчестия.

— Поеду искать правосудия у Цезаря, — заявил он друзьям и, решив выехать из города, отправился вечером к Сальвию.

— Сегодня я послал гонца в Массалию к изгнаннику Милону, — сказал Целий, садясь у очага, — он нас поддержит...

— Кто? Убийца Клодия? — возмутился Сальвий. — Нет, вождь, ни один популяр не пойдет с вами!

— Но не всё ли равно кто будет способствовать общему благу? — удивился Целий.

— Смерть Клодия еще не отомщена! — холодно возразил Сальвий.

Целий нахмурился.

— Значит, ты отказываешься нас поддержать? Что же, боритесь сами, а мы... Но, если мы добьемся победы, помни, Сальвий, я объявлю на форуме, что победить помогли нам рабы и гладиаторы!

— Пусть так! Но — клянусь Немезидой! — одно имя Милона заставляет меня обнажить нож!

Узнав, что Сальвий отказался сотрудничать с убийцей Клодия, Лициния захлопала в ладоши:

— Я рада, муж, что ты, наконец, образумился.

— Я пошел бы с ним до конца, — хмуро ответил Сальвий, — если бы он не вызвал Милона.

Целий подстрекал рабов и гладиаторов к восстанию, произнося зажигательные речи в грязных тавернах Субурры. А потом отправился в приморский городок, где решил дожидаться Милона.

Однажды утром на берегу высадился бородатый Милон и тотчас же предложил Целию послать эпистолы в италийские муниципии.

— Мы соблазним их щедрыми обещаниями, и они возьмутся за оружие, — говорил он, — а когда начнется гражданская война, ни один Цезарь не потушит великого огня.

Гонцы возвращались, нанося им страшные удары привозимыми ответами:

— Муниципия не восстанет.

— Муниципия отказывается.

Оставалось одно: бежать. И они выехали ночью на юг, с бешенством и отчаянием в сердцах. Проезжая через города, они освобождали преступников из тюрем, призывали под знамена рабов, пастухов и гладиаторов.

Совместная работа становилась невозможной: раздражительный Милон портил всё дело ненужными строгостями. Рабы и гладиаторы роптали. Решив освободиться от злобного коллеги Целий послал его овладеть городком, где находился один легион под начальством претора. Через несколько дней пришло известие, что Милон убит камнем из пращи, а войско его рассеяно.

Слухи о смерти Милона пришли в Рим, и Сальвий поспешил в Неаполь, где находился Целий.

Он встретил его на дороге из города. Вождь мятежников, окруженный рабами и гладиаторами, покидал Неаполь, проклиная его и Кампанию:

— Подлецы, подлецы! — кричал он, грозя кулаком городу, оставшемуся позади. — Они не хотят свободы, предпочитая восстанию рабство! Пусть же Юпитер поразит трусов своими молниями!

Узнав Сальвия, Целий улыбнулся — лицо его просветлело.

— А, это ты! Я знал, что ты присоединишься к нам!

— Вождь, смерть Клодия отомщена, злодей погиб, и я готов пойти с тобою...

— А где же твои люди?

— В Риме. Я подыму их и пришлю тебе на помощь... Целий рассмеялся.

— Пока ты доедешь до города, пока соберешь декурга и центурии, пока они дойдут... Не думаешь ли, что будет поздно?.. Друзья пишут из Рима, что против нас послана конница...

— Всё же я попытаюсь...

— Спешу. И ударь коннице в тыл — да помогут тебе боги!

Отступая к Турию, где некогда боролся и погиб Ветгий, племянник всадника

Муция Помпона, Целий увеличивал войско, призывая рабов постоять за свободу. Он расположился лагерем в гористой местности на берегу речки, приказав рыть окопы и воздвигать вал.

Дружно работали беглые невольники и гладиаторы, — малейшее промедление грозило смертью. День и ночь звенели заступы и кирки. Женщины и дети из соседних деревень приносили мятежникам живность. Люди выбивались из сил, но работы не прекращали.

Три дня спустя разведывательный дозор сообщил, что по дороге движутся турмы испанской и галльской конницы из Рима.

«Сальвий не успеет подойти», — подумал Целий, отдавая приказание приготовиться к бою.

Варвары ворвались в лагерь со стороны равнины, где вал не был закончен.

Необученное войско не могло устоять перед стремительным налетом галлов и иберов и, отчаянно сопротивляясь, гибло.

Целий хотел броситься на меч, но не успел: мимо проскакал огромный седобородый галл и, точно шутя, задел его голову длинным мечом — она покатилась под копыта его лошади.

V

Внезапная смерть Бибула и бездеятельность Помпея решили всё дело: начальника над кораблями не стало, а Помпей никого не назначал на его место, и надзор за морем заметно уменьшился.

Пользуясь ослабевшей бдительностью неприятеля, Антоний высадился с четырьмя легионами в небольшом заливе возле Лисса, к северу от Диррахия.

Узнав об этом, Цезарь и Помпей двинулись к месту высадки: первый — чтобы соединиться с Антонием, второй — чтобы разбить его до прибытия Цезаря.

Попытка Помпея окончилась неудачей. Цезарь прибыл к Лиссу быстрее, и Помпей принужден был отступить к югу от Диррахия, где расположился лагерем у Аспарагия.

— Знаешь, Цезарь, — сказал однажды Антоний, целуя ему руку, — наш друг Целий погиб!..

Но Цезарю было не до мятежа претора. Теперь он чувствовал себя сильнее, забота о продовольствии легионов вынудила послать часть войск в Фессалию, Этолию и Македонию с приказанием добыть хлеб. Вскоре пришло известие о Сципионе, который, не особенно торопясь, шел на помощь Помпею, собирая повсюду деньги и присваивая вклады азийских храмов.

В лагере Цезаря свирепствовал голод: воины питались корнями деревьев и болели. Стычки не прекращались.

Исхудалый, удрученный ужасным положением, не зная, где искать выход, что делать, полководец сидел в шатре, обхватив голову руками, и думал.

Вдруг вскочил, зашептал проклятья и кликнул скриба.

Он решил послать эпистолу Сципиону с просьбой посодействовать скорейшему заключению мира.

Гонец поскакал на рассвете.

Цезарь прилег, покрывшись плащом, но заснуть не мог. Одолевали мысли. Будущее представлялось в мраке, и не было просвета. Голод принимал чудовищные размеры: воины падали от истощения. Что делать?

Вдали слышались крики. Он вскочил. Перед ним стоял караульный трибун и говорил, задыхаясь от быстрой ходьбы:

— Обычная стычка, вождь, грозит превратиться в большую битву...

Цезарь выбежал из шатра, вскочил на коня и помчался к холмам Диррахийского залива, где кипел яростный бой.

Легионы Помпея бились с отчаянным мужеством, и войска Цезаря подавались под их натиском.

— Коллеги, вперед! — громко закричал Цезарь.

Но легионарии, не слушая его, бежали. Сам Цезарь, захваченный людским потоком, мчался на коне, испуганном топотом и криками.

Войска укрылись за лагерным валом и готовились отразить приступ. Однако враг не нападал.

— Узнаю Помпея по медлительности и нерешительности, — засмеявшись, сказал Цезарь.

— Это так, — кивнул Антоний, — но знаешь ли, вождь, что мы потеряли тысячу убитыми и тридцать два знамени?

Цезарь закрыл лицо руками. Долго он оставался в этом положении. Наконец вымолвил, тяжело вздохнув:

— Отступать в Македонию, где Домиций Кальвин и Люций Кассий сражаются со Сципионом, а раненых охранять в Аполлонии четырьмя когортам.

Оставив Катона и Цицерона с пятнадцатью когортами в Диррахии, Помпей двинулся вслед за Цезарем, отступавшим в Фессалию.

Эта гражданская война, лагерная жизнь, от которой он отвык и которая вовсе не привлекала его, старость, спутница частых болезней и недомоганий, ропот и насмешки нобилей и, наконец, громкие требования дать бой Цезарю, — все это наполняло его душу таким отвращением к жизни, что временами он готов был отказаться от борьбы, броситься на меч. Он думал о Корнелии и Сексте, отправленных недавно в Митилену, думал о покинутой Италии, где прожил несколько счастливых лет в обществе стоиков, перипатетиков и софистов, и чем чаще оглядывался на пройденный путь, тем больше грусть стесняла старое сердце: прошлое не вернется, а будущее несет горести, неудачи, быть может, даже смерть.

Ночью ему донесли, что Цезарь остановился у Фарсалы на левом берегу Энипея. Помпей равнодушно выслушал Сципиона, соединившегося с ним накануне, и на его вопрос, не даст ли полководец решительной битвы, приказал своему вольноотпущеннику вывесить перед палаткой красный плащ.

Это был знак легионам готовиться к бою.

На рассвете он выехал верхом за лагерь с целью осмотреть местность. Между Отрисом и киноскефальскими холмами, перерезанная Энипеем, впадавшим в Пенейос, фарсальская равнина дымилась в предутреннем тумане: она лежала прекрасная, молодая, в буйной зелени трав, как простоволосая гречанка, разметающаяся мо сне.

Помпей приказал войскам, находившимся на правом берегу, переправляться через Энипей.

Брут, спокойно делавший в палатке выписки из Полибия, присоединился к войскам.

Пламя розоперстой Эос охватывало полнеба. Легионы переходили вброд реку.

Сняв шлем, Помпей пригладил рукой непослушные нихры седых волос и, обратившись лицом на восток, удерживал левой рукой прыгавшего под ним нетерпеливого жеребца. Губы его шептали слова пифагорейской песни-молитвы; он

обращался к Гелиосу, умоляя послать ему победу, заклинал Фатум числами, повторяя их в прямом и обратном порядке, молился Юпитеру, Марсу и Беллоне.

— О боги, — шептал он, — помогите Помпею Великому в его борьбе с тираном, даруйте победу старшему триумвиру и посрамите младшего — вероломного злодея!

Спешился и, ведя за собой коня, отошел от приближенных.

— О тень великого диктатора Люция Корнелия Суллы, — вымолвил он задрожавшими губами, — сопутствуй мне в этом решительном бою и научи, как победить.

Сев на коня, он обернулся к военачальникам и повелел выстроить легионы.

— Правому крылу, где буду я, опираться на Энмей, — говорил он, — а на левом, где начальствовать будет Домиций Агенобарб, расположиться всадникам. В центре поставлю Сципиона Метелла. Приказываю тебе, Лабием, опрокинуть малочисленную конницу Цезаря, а затем, с помощью богов, ударить по его правому крылу. Помните, где находится X легион Цезаря, — там и полководец.

— У нас сорок семь тысяч пехотинцев и семь тысяч всадников, — сказал Сципион, — а у Цезаря двадцать две тысячи ветеранов и одна тысяча конников... И мы победим!..

— Должны победить, — поправил его Нигидий Фигул.

Цезарь не мешал переправе противника. Он наблюдал за легионами Помпея, оглядывая три ряда своих войск. План Помпея был для него ясен.

«Каждый шаг должен быть рассчитан и строго обдуман», — решил Цезарь и, повелел шести когортам третьего ряда образовать четвертый ряд и укрыться позади конницы, чтобы отразить стремительный налет Лабиена, послал гонцов на левое крыло, над которым начальствовал Антоний, к Кальвину, стоявшему в центре, и к Публию Сулле, находившемуся на правом крыле, с лаконическим приказанием: «Ободрить войска».

Цезарь обходил X легион, когда заиграли трубы. Воинственный клич разнесся по равнине. Два первых ряда войск Цезаря двинулись стеною и вдруг побежали вперед: засвистели копья, зазвенели мечи, крики боли, отчаяния, ярости и ужаса огласили поле.

Цезарь волновался — ветераны были отражены после ожесточенной схватки.

«Неужели опять поражение?» — думал он.

Стиснув зубы, весь внезапно ослабев, ожидал с бьющимся сердцем налета Лабиена. Он знал этого бесстрашного военачальника, оспаривавшего у него победы над галлами, и ценил очень высоко.

«Если устоим против Лабиена, — думал он, — победа наша».

Публию Сулле приказано было отразить Лабиена и перейти в наступление, а воинам — поражать аристократов копьями в глаза и лицо. Цезарь уверен был, что изнеженные щеголи и красавцы отступят, чтобы не остаться обезображенными на всю жизнь.

Мчалась конница Помпея, с обнаженными мечами, и впереди скакал доблестный Лабием, в гривастом шлеме.

«О, Лабием, Лабием! — с завистью подумал Цезарь, любуясь им. — Будь ты у меня, я покорил бы полмира».

С радостью смотрел, как ветераны, не уступив ни пяди земли, отражали всадников, а когда они перешли в наступление и копья, засверкав, полетели в лица помпеяпцев, произошло замешательство: четвертый ряд, обратив в бегство левое крыло неприятеля,

двинулся вперед. Цезарь крикнул:

— Отвести на отдых первый и второй ряд! Двинуть в бой триариев!

С воем и грохотом бросились вперед белобородые старики, доведенные голодом до бешенства.

Глядя на резню, Цезарь вспомнил приготовления к пирам, которые он давал народу во время своего эдилата: в огороженном месте происходила страшная резня домашней птицы — сыпались перья, дико кудахтали куры, надрывно гоготали гуси, хрипя и захлебываясь в своей крови... Не так же ль хрипят эти люди?!

— Победа! победа! — закричал Цезарь, выхватив меч, и помчался, размахивая полой красного плаща, в самую гущу боя.

Передние ряды неприятеля дрогнули, смешались, задние остановились, и войско, расстроенное, никем не управляемое, обратилось в бегство.

В вихре наступления воины проносились перед глазами Цезаря, как во сне. В плен никого не брали, — озверевшие ветераны с дикими криками погружали мечи в тела.

Вот берег Энипея... Кто это переправляется верхом на коне, без шлема?.. По седой голове и широким плечам он узнал Помпея, и сердце дрогнуло, ослабели руки.

Бежит старый триумвир, бывший зять... Бежит полководец, прославленный навеки... И гонит его муж, презираемый всеми!.. Образ умершей Юлии встал перед глазами... Дружба и любовь, где вы? Неужели все это был сон?..

Очнулся.

— Взять приступом лагерь! — загремел властный голос Цезаря. — Взять в плен Помпея!

Он вступил в лагерь, когда там происходила страшная бойня. Глядя на палатки, увешанные миртами и украшенные пестрыми коврами, на столы, уставленные фиалами с вином, полководец горько сказал:

— Эти люди, привыкшие к роскоши и тунеядству, осмеливались еще обвинять в излишествах голодное войско Цезаря!

С несколькими друзьями мчался Помпей, как помешанный, по дороге в Лариссу. Знал, что войско рассеялось, — погибли тысячи, но что значили эти люди, когда была поколеблена власть, умалены способности полководца и борьбу приходилось вновь начинать?

В Амфиополь!

Эдиктом он призывал под знамена молодых греков и римлян, приказывая им собраться в Амфиополе, куда прибыл сам с несколькими друзьями.

В Амфиополе он провел ночь и, взяв у клиентов займы денег, выехал в Митилену.

Встреча с сыном и женой расстроила его. Корнелия, рыдая, упала ему на грудь и, причитая, целовала его руки, обнимала колени.

— О, супруг мой возлюбленный, — всхлипывала она, — почему Фатум преследует тебя? Отчего клятвопреступнику шлют боги победы, а тебе, честному, любящему республику, позор и унижения?

— Не плачь, Корнелия, — сказал Помпей. — Жизнь стала для меня тягостью, и я жду, когда услышу шаги Мойр. Пусть скорее будет перерезана нить жизни!..

— О, не говори так! Бывают и после неудач крупные успехи...

— Я молился Солнцу, богам и тени великого Суллы... Но никто мне не помог!..

В мрачных глазах Секста сверкнул огонек.

— Не думал ли ты, отец, что все это суеверия? Кому молиться? Цезарь не верит в

богов, а побеждает. Ты же, отец, полагаясь на их милость, терпишь поражения. Значит, сила не в молитвах, а в чем-то другом.

— Но Фатум? — шепнула Корнелия.

— Фатум, Фатум! — рассердился Секст. — Верить в предсказания — значит верить в Фатум и в то, что все совершается по заранее намеченному пути... Скажи, отец, правда ли, что халдеи предсказали тебе поражение и гибель?.

Помпей не ответил.

От многочисленных разведчиков и соглядатаев Цезарь знал о вождях разгромленных войск Помпея. Афраний и Лабиен бежали, во главе галлов и германцев, в Диррахий, а оттуда отплыли к Керкире; с ними отправились Катон, Цицерон и Варрон. Туда собирались все уцелевшие начальники: Гней Помпей, Гай Кассий, Марк Октавий, Сципион. На большом военном совете под председательством Катона Цицерон предложил заключить мир, и Гней Помпей, выхватив меч, чуть не зарубил оратора.

Цезарь хмурился, получая эти известия; он ожидал, что Помпей образумится и заключит с ним мир, а упрямый старик и его сторонники собирались бороться.

Вскоре стали поступать новые вести, и они приходили каждый день, неожиданные, волнующие. Разведчики докладывали:

— Кассий отплыл с кораблями к Понту, а Сципион и Лабиен — в Африку...

— Марк Октавий занял Иллирию...

— Катон и Цицерон отправились в Патры... С ними находятся Петрей и Фавст Сулла, которых они взяли на борт у берегов Греции.

— Кассий сдался с кораблями на милость Цезаря...

— Цицерон высадился в Патрах, а Катон с друзьями отплыл к Африке, не желая сдаться подошедшему Калену.

В глубокой задумчивости ехал Цезарь впереди легионов: «Брут сдался — слава богам! И если он искренно раскаялся, то будет моим утешением в старости».

Шесть дней шли войска к Амфиополю, делая по тридцать римских миль в сутки (Цезарь надеялся взять в плен Помпея), и, когда конница въехала в город, старого полководца в нем не оказалось: Помпей отплыл в неизвестном направлении.

— Пусть Кален продолжает покорение Греции, — сказал Цезарь Антонию, — а ты, друг, отправляйся с легионами в Италию и добивайся назначения меня диктатором, а себя — начальником конницы. Ты — моя правая рука.

— А ты, император, что будешь делать?

— Сперва я узнаю, где Помпей, а затем отправлюсь преследовать его. Он мог удалиться или в Египет, или в Азию, или в Африку...

Антоний взглянул Цезарю в глаза:

— Как прикажешь поступить с пленными?

— Сенаторов и всадников, ранее отпущенных мной и вновь попавших в плен, казнить. Письма Помпея, о которых ты говорил, сжечь...

— Но, император...

— Ты хочешь сказать, что я мог бы выловить всех своих врагов, если бы прочитал эти эпистолы... Но ты забываешь, друг, что я не Сулла!..

— Воля твоя, Цезарь! И да хранят тебя боги!

Время шло.

Известие о покорении Каленом Греции и занятии Афин было приятно, но яростное

сопротивление Мегары омрачало радость.

— Слышите, друзья, — говорил Цезарь. — Они, эти грекулы, выпустили против моих ветеранов голодных львов, предназначенных для игрищ... Кален пишет, что львы убивали ударами лап ветеранов, перегрызали им глотки, вспарывали животы... О боги! Я предпочел бы не поручать Калену завоевание Греции, лишь бы сохранить верных воинов!..

Но горесть, слышавшаяся в его голосе, противоречила спокойному выражению лица.

«Притворяется, — подумал Децим Брут, избегая смотреть Цезарю в глаза. — Такие, как он, не знают, что такое жалость...»

А Цезарь продолжал говорить, восхвалял ветеранов и военачальников, порицая Помпея за его упрямство.

В сентябрьские иды пришло известие, что Помпей, высадившись на Кипре, взял у италийских публиканов денег и отплыл с двумя тысячами воинов, женой и сыном в Египет, где царствовали дети Птолемея Авлета, которого Помпей восстановил на престоле при помощи Габиния.

— Тринадцатилетний Птолемей Дионис и двадцатилетняя сестра его Клеопатра грызутся из-за престола, — сказал Цезарь, читая эпистола, — и Помпей напрасно рассчитывает на их гостеприимство. Опекун Потин, старая оскопленная лисица, вот кто опасен, друзья, не только для Помпея, но и для нас! Завтра отплывем в Египет...

— Неужели ты будешь преследовать безвредного для тебя мужа? — вскричал Децим Брут.

Посадив на корабли более трех тысяч пехотинцев и около тысячи всадников. Цезарь дождался попутного ветра и отплыл по направлению к Египту.

VI

Стоя на борту корабля, Помпей смотрел на приближавшийся берег Египта. Тяжелое предчувствие томило его. Друзья советовали выйти в море.

— Не доверяй подлым варварам, — сказал вольноотпущенник, упав перед ним на колени и целуя ему руку. — Взгляни на хитрое лицо этого египтянина с зеленой бородой, и сердце тебе скажет, что в его душе вероломство...

Корнелия плакала, Секст угрюмо молчал.

— О Гней, — говорила жена, прижимаясь к мужу. — Судьба тебе изменила, не искушай же ее... остановись!..

С лодки донесся голос центуриона, кричавшего по-римски:

— Какое счастье, какая радость, император, что ты прибыл в Египет! Мудрый Потин шлет тебе приветствия и призывает благословение богов на тебя, твою жену, сына и друзей!..

Египтянин тихо вымолвил по-гречески, мрачно сверкнув глазами:

— Привет!

Приказав войти в лодку двум сотникам, вольноотпущеннику и рабу, Помпей обнял плакавшую жену, поцеловал сына и произнес стихи Софокла:

Тот раб царя, кто в царский дом

Вошел хотя бы и свободным.

Лодка отплыла. Темно-голубые волны мерно ударились о борта, и пена шипела, как масло, вылитое на огонь.

Глядя на мрачные лица египтянина и центуриона, Помпей думал о превратности

судьбы и проклинал Цезаря, доведшего его до такого позора.

Берег быстро приближался.

Помпей видел зловещие лица придворных, и сердце его сжималось.

Лодка ударилась о берег. Он вышел первый, за ним — египтянин и центурион.

Никто не приветствовал его. Все молча ожидали чего-то. И вдруг он ощутил удар в спину и, застонав, оглянулся: перед глазами сверкнула рукоятка меча центуриона, затем блеснули мечи невольников.

«Конец», — не подумал, а почувствовал он и, накинув на лицо тогу, упал, под ударами предателей.

Через несколько минут берег опустел. Центурион отрубил Помпею голову, а рабы раздели его, жадно оспаривая дорогую одежду и перстни.

Это вероломное убийство произошло в четвертый день октябрьских календ семьсот шестого года от основания Рима.¹⁶

В беспамятстве упала Корнелия на руки подхвативших ее невольниц и долго оставалась неподвижной, несмотря на старания лекарей и прислужниц привести ее в чувство. Мрачный Секст, нахмурившись, смотрел на нее и не видел — перед глазами было убийство отца: Помпей Великий, гордость и слава Рима, погиб!

— Проклятье Цезарю! — шепнул он и пошел к рулевому, седому греку, зорко вглядывавшемуся в голубизну неба, отраженную в потемневших волнах. — Скажи, не ждешь ли нам бури?

— Посейдон милостив, — сказал грек, — но боги не могли пойти против предначертания, — намекнул он на смерть Помпея.

— Боги, боги! — зарычал Секст. — Да будут они прокляты с Судьбой и со всем миром! Прав Демокрит — нет ничего и никого, — все выдумки суеверных людей!..

Вернулся к Корнелии. Бледная, с синевой под глазами, она покоилась на ложе, привешенном к двум столбам, и, мерно покачиваемая волнами, оплакивала смерть супруга.

Секст равнодушно смотрел на нее. Но, когда она обратила к нему искаженное горестью лицо, он подошел к ней и, наклонившись, спросил:

— Ты хотела что-то сказать мне? Или присутствие мое тебе в тягость?

— Нет, Секст!.. Но за что... за что такие удары... и смерть?..

— За то, благородная Корнелия, что отец был не такой, как Сулла... О, если бы он был хоть наполовину Суллой, с неумолимо-жестоким сердцем и непреклонной волей, — разбойник Цезарь лежал бы у его ног!

И, помолчав, прибавил с мрачной усмешкой, испугавшей Корнелию:

— Пока я жив и руки мои способны держать меч, я буду мстить Цезарю за отца...

VII

Диохар, самый быстрый и любимый гонец Цезаря, примчался в Рим с известием о гибели Помпея. Он говорил, что, когда Цезарь прибыл в Египет и ему поднесли на серебряном блюде голову Помпея, этого льва с седой гривой, гордым, величественным лицом и широко раскрытыми остеклянившимися глазами, полководец, отвернувшись, заплакал, взял перстень-печать своего врага, изображавшую льва с мечом, и поклялся казнить убийц.

Слушая Диохара, Антоний громко восторгался действиями Цезаря, называя

¹⁶ 28 сентября 48 г. до хр. эры.

императора величайшим из смертных, и приказал снять статуи Суллы и Помпея, невзирая на ропот, поднявшийся в рядах магистратов. Он презрительно поглядывал на сенаторов, которые недавно, еще презирали Цезаря как преступника, а теперь восхищались им. И он предложил даровать Цезарю диктатуру, право выбора магистратов и распределения провинций преторам, вместо назначения их по жребию, и пожизненный народный трибунал, а себе, правой руке полководца — начальствование над конницей. Возражений не было, и Антоний стал правителем Италии на время отсутствия диктатора.

— Республика осталась без магистратов, — роптали сенаторы на пиршестве у правоведа Требация Тесты. — Цезарь должен председательствовать на всех выборах, а его нет... Такое безначалие усиливает только власть популяров...

— И Антония, — послышался чей-то голос, и Аттик, привстав, поднял руку. — Разве квириды слепы?.. Он пьянствует с мимами и плясуньями, а развратная Киферида не стесняется появляться среди гостей как Афродита Анадиомена... Говорят, Публий Долабелла...

Выслушав Аттика, Опций возмутился:

— Ложь, Долабелла — народный трибун, и Цезарь ценит его...

— Но не Антоний, — возразил лысый старичок, одергивая на себе тогу с пурпурной каймой. — Он ревнует, и не без основания, Долабеллу к своей жене, а если бы Долабелла тронул Кифериду...

— Но Долабелла женат на Туллии, дочери Цицерона, а так как оратор, неустойчивый в своих политических убеждениях, не знает, кому выгоднее служить — Помпею или Цезарю..

— Всё это сплетни, — прервал Аттик, — у Цицерона были ошибки, но разве человеку не свойственно ошибаться?..

— А разве ложь, что зять его развратен? — смеясь и кашляя, захрипел старичок. — Вспомните мое слово: если Цицерон не заплатит ему приданого Туллии, Долабелла потребует развода...

— Говорят, эта начитаннейшая женщина влюблена в него до безумия, а он обращается с ней грубо, — молвил Опций, проглатывая устрицу.

— Ну и что ж, — пожал плечами амфитрион. — В республике женского мяса больше, чем нужно, а денег, денег нет... Все разорены... Цицерон стал нищим, распродает мебель и посуду, долгов никто никому не платит, и владельцы домов не знают, как получить хоть сколько-нибудь с квартиронанимателей. Разве я не прав, благородный Тит Помпоний?

Аттик не успел ответить, — за него сказал Опций, вытирая рукой губы:

— Вернется Цезарь — всё будет хорошо.

— Вся беда в том, — продолжал старичок, — что Цезарь запретил эдиктом возвращаться помпеянкам в Италию — Цицерон не в счет, — а ведь если бы вернулись все сенаторы, денежное положение республики изменилось бы...

— Нет, — возразил Опций, — Цезарь предусмотрителен: возвращение помпеянцев повергло бы государство в новые бедствия.

Все молчали. Аттик незаметно поднялся из-за стола и вышел из атриума: злословие и насмешки над Цицероном оскорбляли его как друга оратора.

— Цицерон скрывается в Брундизий, он взбешен, что Теренция грабит его (а может быть и изменяет) с вольноотпущенником; огорчен, что брат Квинт после Фарсады отправился к Цезарю, чтоб оправдаться, и опечален болезнью Туллии и изменами

Долабеллы.

— Неужели Антоний разрешит ему покинуть Брундизий? — спросил Требаций Теста. — Когда Цезарь вернется из Египта...

— ...Цицерон прискачет, чтобы лицемерно произносить хвалебные речи и просить у него денег, — торжествуя, закончил старичок.

— А разве Антоний — враг Цицерона? — усмехнулся пожилой консуляр.

— Цезарьянцы относятся к оратору с презрением, а общество с недоверием, — хрипел старичок. — И, в самом деле, какая может быть цена мужу, который мечется между триумвирами?

— Ты ошибся: двух из них уже нет...

— А его сторонники, его сыновья? Ха-ха-ха! Неизвестно еще, что будет, — понизив голос, шепнул старичок консуляру. — Лучшие мужи готовятся к борьбе: в Африке — Гней и Секст, сыновья Помпея, Катон, Сципион Метелл, Лабиев, нумидийский царь Юба... В Азии — Фарнак, сын Митридата, собирается поднять оружие против Рима... О боги! Только мы одни сидим в бездействии и боимся Антония, которому мало дела до благосостояния республики!

Слова его были прерваны хором девичьих голосов. Юные спартанки, краснощекие и полногрудые, пели пеан сильными резкими голосами, и, когда они кончили, Требаций Теста кликнул атриененса:

— Прикажи повару угостить девушек черной похлебкою.

Гости с шумом обратились к хозяину, прося и им подать спартанской похлебки, но Требаций, поморщившись, сказал:

— Вы не знаете, чего хотите. Не нам, римлянам, наполнять желудки такой гадостью. Эта знаменитая похлебка готовится из крови на говяжьем наваре, с примесью уксуса и соли. Кто желает испортить себе желудок — пусть ест, но не обвиняет амфитриона в своей болезни...

Все отказались, только один Оппий прошел в таблинум, где спартанки толпились вокруг большой миски и черпали из нее чашками темную жидкость.

— Дайте мне попробовать, — обратился он к девушкам, и одна из них, черноглазая, черноволосая, улыбнувшись, подала ему чашку.

Сделал глоток, чуть не поперхнулся от отвращения, но тут же пересилил себя и поцеловал девушку в губы;

— Это вместо хлеба, которого ты мне не дала.

Спартанка засмеялась и, ласкаясь, сказала:

— Выкупи меня, господин, из рабства и ты не пожалеешь: я буду твоей верной вольноотпущенницей.

— Как тебя зовут?

— Называй меня Эрато, по имени музы сладких песен любви, сопровождаемых звуками лиры.

Оппий угадывал под дорическим хитоном крепкую, точно высеченную из мрамора, фигуру, крутые бедра и высокую грудь, видел голые руки, стройные ноги и, взглянув на мужественное лицо девушки, невольно залюбовался ею.

— Я куплю тебя, а потом отпущу на волю, — тихо вымолвил он, — если добрые боги помогут мне в этом деле.

И вышел из таблинума, напевая песню Орфея:

Отец, имеющий разум и добрый совет...

VIII

Полгода не было известий о Цезаре, и Антоний, громко выражая беспокойство об участи диктатора, втайне надеялся, что он погибнет в Египте и власть перейдет к нему, второму лицу после Цезаря и начальнику конницы. Враги императора и притаившиеся помпеянцы шептались, предсказывая, что он найдет себе могилу в Египте, и обдумывали, как поступить, когда придет известие о его гибели.

Долгое отсутствие Цезаря было использовано Сальвием для укрепления тайных обществ, учрежденных Клодием, и для привлечения на сторону популяров народного трибуна Долабеллы.

Публий Долабелла, зять Цицерона, обремененный долгами до такой степени, что готов был на какой угодно шаг, лишь бы освободиться от них, искал выхода из тяжелого положения. Предложение Сальвия возобновить законы Целия об уничтожении долгов и наемной платы домовладельцам отвечало его стремлениям.

Ротация Долабеллы вызвала тревогу среди оптиматов. Домовладельцы, во главе с Аттиком, волновались. Народные трибуны, подстрекаемые нобиллями, выступили против закона. Тогда Сальвий и Долабелла стали возбуждать толпу против Антония, сената и враждебных народу трибунов,

— Квириты, — кричал на форуме Долабелла, — вы знаете, как живут и чем занимаются наши правители, а вы голодаете, не имея работы, и подвержены с семьями выселению из жилищ! И это зимою, когда холод гонит собаку в конуру и хозяин не отказывает ей в убежище! А платит ли собака за свою конуру? А вас, римлян, владык мира, хотят лишить убежища на зиму — и кто хочет? Моты, пьяницы, богачи, негоциаторы, купцы! Вчера мне приснилось, что Юпитер, спустившись через комплювий в мой атриум сказал мне: «Разве владыки мира, эти бедные квитиры, не имеют оружия, чтобы добиться справедливости?» Взгляните на толстого Антония, готового лопнуть от полнокровия, на его любовницу Кифериду, гетеру бесспорно прекрасную, но чрезвычайно расточительную! Вы думаете, что Цезарь поставил его во главе государства затем, чтобы он пировал, пьянствовал и спал с женами нобилей? Нет, Цезарь поставил его во главе республики для того, чтобы он управлял Италией и заботился о благе народа! Как только Цезарь вернется из Египта, мы, популяры, спросим его: «Скажи, диктатор, хорошо ли, по твоему мнению, управлял Антоний, совершая беззакония?» Или взгляните на нобилей, которые связались с негоциаторами: Атик набивает свои сундуки золотом, взимая огромные проценты, а он друг Цицерона, запятнавшего себя убийством Катилины и его сподвижников! Или же на враждебных вам народных трибунов! Они хвастаются дружбой с Цезарем, а работают против него, превышая свою власть! Неужели вы потерпите, чтобы кучка олигархов, против которой всю жизнь боролся наш диктатор, угнетала вас?

— Долой Антония! — кричали пролетарии.

— Долой сенат! — подхватили ремесленники, и гул голосов охватил форум; казалось, шел прибой, нарастая, вздымая с грохотом морские валы выше и выше.

— Долой Атика!

— Смерть враждебным трибунам!

Толпы народа, вооружившись, чем попало, двинулись по улицам, избивая попадавших навстречу оптиматов.

К вечеру жизнь в городе замерла. Декурии и центурии восставшего народа заняли площади и улицы.

Узнав, что сенат, заседавший в курии Помпея, поручил Антонию восстановить

порядок, Долабелла удивлялся медлительности начальника конницы: вместо того, чтобы подавить движение популяров, Антоний обдумывал, как поступить с легионами, возвратившимися из Греции; они угрожали восстать, если не получат отставки и обещанных наград.

Пришлось созвать спешное заседание сената.

— Отцы государства, — резко сказал он в курии, — для нас не так опасны плебеи, как легионарии. Поэтому я в первую очередь двину войска в Кампанию, чтобы потушить мятеж разнузданных легионов...

Во время недолгого отсутствия Антония, подавлявшего мятеж в Кампании, Долабелла и Сальвий вооружали декурии и центурии, воздвигали на форуме крепкую преграду против войск Антония, которые должны были подойти...

Дни и ночи работали толпы народа, укрепляя вал камнями, песком, деревом, обкладывая землю, громоздя столы и скамьи, вытащенные из базилик.

— Братья, — воскликнул Сальвий, — вспомните Клодия и Катилину, которые боролись за нас! Вспомните десятки храбрых вождей и сотни мужей, погибших за справедливость, за лучшую для нас жизнь! Поклянитесь, что не отступите перед развратным толстяком!

— Клянемся!

— Да поможет нам Марс-мститель!

Однажды утром Антоний, подойдя во главе легиона, в изумлении остановил коня: форум казался крепостью — высокий вал преграждал доступ со всех улиц, и за этой оградой гудели голоса людей, готовых дать бой ненавистным угнетателям.

Взбешенный неожиданным препятствием, Антоний послал прекона со стороны Via Sacra. Глашатай закричал на весь форум:

— Постановление сената: Антонию, начальнику конницы и правителю Италии в отсутствие отца нашего диктатора, приказано подавить восстание народного трибуна Публия Долабеллы и популяра Сальвия. Антоний, начальник конницы, желая избежать кровопролития, предлагает плебсу выдать оружие и скрыть вал...

На валу появился Долабелла. Лицо его пылало.

— Я, народный трибун, призываю народ к восстанию. И вас, воины, сыновья плебеев, бедняков и нищих! Обратите оружие против нобилей, помогите плебсу добиться прав, за которые сражались и погибли Клодий и Катилина!

Легионарии угрюмо молчали. Антоний взмахнул мечом.

— Воины, враги отечества и помпеянцы, прикрываясь хитрыми речами, готовят смуту в тылу Цезаря, чтобы ударить ему в спину, ему, диктатору и императору, который борется с врагом ради вашего блага! Воины, приказываю взять это укрепление и рассеять изменников!..

Не успел кончить, как народные центурии выпустили тучу камней, одновременно засвистели стрелы и метательные копья.

Прикрываясь щитами, плебеи сбрасывали на легионариев глыбы камня, лили смолу, засыпали глаза песком. Дружно работая ножами, железными пестами и копьями, они сбрасывали с вала взбиравшихся воинов и выкрикивали оскорбления.

В воздухе носилась желтая пыль. Крики убиваемых и раненых оглашали форум и прилегавшие к нему улицы.

— Приступ отбит! — крикнул Сальвий, когда легион отступил. — Держитесь, братья! Они опять идут, опять!..

Легион бросился на вал под завывание труб. Теперь ничто не могло остановить

воинов — они лезли вперед, ни на шаг не отступая, быстро сменяя раненых и поверженных, и Долабелла понял, что плебеям не устоять.

— Сальвий! — крикнул он, озираясь и не находя друга, и вдруг увидел его на земле: раненный в грудь, Сальвий выдергивал из нее дротик. — Сальвий...

Голос осекся. Долабелла бросился к вождю популяров и, обхватив его, потащил, волоча по каменным плитам, к храму Сатурна. Подозвав скриба, работавшего в сокровищнице, он шепнул:

— Приюти его... укрой от врага... Да помогут тебе боги!

— Где прикажешь?

— В эрарии, друг! Там его не будут искать!.. Когда Долабелла выбежал из храма, бой шел уже на форуме. Разъяренные воины рубили плебеев, не щадя ни пленных, ни раненых. Крики и стоны сливались временами в надрывный вой. Форум гудел от топота людей — началось бегство.

— В плен не брать! — кричал Антоний. — Бейте злодеев, посягнувших на божественную власть Цезаря!

Все было кончено. Долабелла скрылся в храме Сатурна. На плитах форума громоздились сотни трупов, мешая беглецам и легионариям, а стрелы все звенели, и мечи продолжали поражать людей.

Антоний был озабочен. Грозные вести, как черные тучи, надвигались на республику: помпеянцы приготовились к борьбе, и Сципион Метелл собирался, по слухам, напасть в Африке на Цезаря, а Фарнак, разбив Домиция Кальвина у Никополя, захватил Фанагорию и начал отнимать земли у Дейотара.

В это время Диохар привез эпистола от Цезаря:

«Гай Юлий Цезарь, диктатор и император — Антонию, начальнику конницы.

Хвала бессмертным! Александрийская война кончена, благодаря дружеской помощи Митридата Пергамского, который привел с собой киликийцев, либанцев, туренцев и иудеев... Лицемерный Потин казнен. Птолемей утонул в Ниле, престол достался прекрасной Клеопатре... Пусть она царствует, мудро управляя Египтом, и сохранит дружбу с Римом, который помог ей занять трон Лагидов.

Некоторые дела задержат меня не надолго в Египте. Напиши подробно о событиях в Риме (я говорю от Италии и провинциях) и о слухах, которыми полон город мира. Знаю, что помпеянцы опять затевают борьбу, но не страшусь нисколько — звезда Цезаря не может закатиться так быстро. Прощай».

Антоний задумался.

«Некоторые дела? Какие дела? Неужели... Но не может быть! Для него дело прежде всего!»

Посылая Диахара с ответной эпистолой, он спросил его, чем занят Цезарь, как проводит время и красива ли царица.

Диохар рассказал о пирах и увеселениях при египетском дворе, о прогулках Цезаря с Клеопатрой по Нилу и, нагнувшись к Антонию, шепотом прибавил:

— Клеопатра — любовница Цезаря. Она прекрасна, умна, умеет притворяться, льстить и лицемерить: она может быть бесстрастной и холодной, как снега Скифии, скромной и стыдливой, как Диана, покорной, как Леда или Европа, ревнивой, как Юнона, пылкой и страстной, как простибула, желающая заработать. Она знает греческую литературу, блестяще рассуждает об эллинских искусствах, играет на лире, кифаре и сестре, хорошо поет, а еще лучше пляшет... Однажды я подал Цезарю в ее присутствии эпистола от Потина, и она пошутила, как вообще шутят лагерные

простибулы: «Что лучше — портить глаза чтением или созерцанием моей наготы?» При этом, господин, она употребила грубое слово и сделала непристойное телодвижение...

— Красивее она Клодии, -дочери Аппия Клавдия? Диохар поднял голову:

— Ты спрашиваешь, господин, о прекрасной развратнице? Да, Клодия прелестна, но ведь она — римлянка, а в жилах Клеопатры течет кровь эллинов... Лицо Клодии не согревают лучи божественной души, ее смех грубоват, изящество — тяжеловесно... А Клеопатра... О господин мой, не влюбись в нее, когда она приедет в Рим, умоляю тебя Венерой! Помни, что любовь к эхидне смертельна...

Антоний налил в чашу вина и протянул ее Диохару.

— Пей. И говори правду — когда она прибудет в Рим?

— Она беременна от Цезаря, — шепнул гонец, — но не выдай меня, умоляю тебя!

— Будь спокоен, — сказал Антоний, подходя к зеркалу и расчесывая густую черную бороду и усы: «Чем не Геркулес?» — А за службу возьми.

И он протянул Диохару золотой перстень с крупным хризопрасом.

IX

Обсудив положение зарубежных царств и силы, на которые он мог опереться, Цезарь в начале июня выехал в Сирию. Он сознавал, что девять месяцев было потеряно — шесть на умиротворение Египта и три на любовные утехы с Клеопатрой, но считал, что имел право вознаградить себя за долгие годы галльской войны, за Диррахий и Фарсалу. Однако предстояло опять воевать, трудиться и бороться — он готов был совершать титанические подвиги, умиротворять Восток, награждать достойных, казнить и наказывать изменников и виновных. Его воля и ум не только не ослабели от любовных излишеств с египетской царицей, но, казалось, окрепли.

Брут, сопровождавший Цезаря в Египет, привязывался к нему с каждым днем, а когда диктатор, покинув Антиохию, встретился при устье Кидна с помпеянскими кораблями, над которыми начальствовал Гай Кассий, и тот сдался Цезарю, — Брут с жаром благодарил имперася основать новое правительство, новый Рим, провести ворил:

— Веришь ли, дорогой Гай, что мы служим величайшей идее, которую вдохнул в жизнь Цезарь? Он стремится основать новое правительство, новый Рим, провести ряд законов, видоизменить республику...

— Видоизменить? — удивился Кассий. — Но я не понимаю, Марк, что можно прибавить или отнять у Римской республики. И, если тебе известно, в чем заключается это изменение, и оно, действительно, разумно, мы поддержим Цезаря всеми силами...

Брут смутился.

— Не знаю, Цезарь подробно не говорил... Когда он вернется в Рим и начнет работать, мы спросим, что он намерен делать.

Высадившись в Эфесе, Цезарь двинулся с малочисленным войском навстречу Фарнаку, который шел к Зеле, приветствуемый азийскими племенами: его встречали как освободителя от римского ига, всем памятли были громкие подвиги его великого отца — царя царей, всю жизнь боровшегося против Рима, а льстецы называли Фарнака преемником Митридата Эвпатора, хотя он некогда был в заговоре против отца.

Цезарь шел, собирая налоги и деньги силой, хитростью, всевозможными средствами.

Брут и Кассий хмурились — так не поступал Помпей Великий: он умел ладить с

царями и мирным населением и, если его не любили, то, по крайней мере, терпели. А Цезарь?..

Однако Брут не смел порицать диктатора, а Кассий молчал.

Блестящая победа над Фарнаком при Зеле, съезд в Никее, на котором победитель, распределяя царства и домены, получал от восточных царей богатейшие подарки, прощение Дейотара (за него просил Брут) и награждение Митридата Пергамского Боспорским царством за помощь, оказанную в Египте, все это казалось Кассию изумительным сном.

«Столько событий в течение одного месяца! — думал он. — Помпей потратил бы на это не менее полугода!»

Жадно следя за этим мужем, высоким, худощавым, с круглым бледным лицом, Кассий испытывал чувство человека, попавшего в приятную западню: все красиво, чудесно, все идет гладко, как бы нарочно для того, чтобы обворозжить противника быстротой действий, заранее рассчитанными мероприятиями и в конечном итоге — удачами, а между тем стоит оглянуться и видишь себя в железной клетке, созданной волей и гением этого необыкновенного мужа, который является господином Рима, диктатором и императором, и который хочет казаться добрым, человеколюбивым и доступным для всех.

Кассий терялся, не зная, что думать. Он пытался беседовать с Брутом и удивился, когда вдруг, взяв его под руку, сказал, прохаживаясь с ним по лагерю:

— Цезарь — изумительный муж. Я боготворю его и сожалею, что присоединился тогда к Помпею, убийце отца. Но я смотрел на Помпея, как на вождя отечества, а Цезаря считал врагом родины.

— Но не думаешь ли ты, что Цезарь готовит нам рабство? Не кажется ли тебе, что он замыслил создать из Рима Мамертинскую тюрьму?

Брут засмеялся.

— Ты всегда был подозрителен, дорогой Гай! Даже на Родосе, когда мы изучали красноречие, ты подозрительно относился к смелым фигурам и сравнениям...

— Ты судишь по тому, что я не был поклонником Платона, хотя Цицерон восхваляет его, особенно за диалоги: «Если бы Юпитер захотел говорить человеческим языком, он избрал бы язык Платона».

— Разве Цицерон порицает Аристотеля? Вспомни его слова: «Аристотель — река, катящая золото вместо волн».

— Пусть так. Но Цезаря, надеюсь, ты не будешь сравнивать с этими философами?

— Конечно, нет. Цезарь скорее историограф. Однако я не понимаю, почему ты начал этот разговор? Сожалеешь, что сдался Цезарю? Желаете бежать к сыновьям Помпея? Или к Сципиону, который, ограбив Азию, скрыл сокровища от своего зятя, вынудив его дать поскорее битву при Фарсале?.. О Кассий, Кассий! ты слеп, как крот в своей норе!

Кассий толкнул его в бок:

— Тише... Вот император...

Навстречу шел Цезарь в пурпурном плаще, оживленно беседуя с Мамуррою. На морщинистом лице его весело блестели молодые глаза.

— Привет друзьям! — крикнул он первый и поднял руку. — Завтра мы отплываем в Рим!

— Да здравствует Цезарь! — воскликнул Брут. — Слава во веки веков.

Высадившись во второй половине сентября в Таренте, Цезарь был приятно

изумлен, увидел Цицерона, который выехал навстречу не потому, что ему было приятно увидеться с диктатором, а оттого, что надеялся извлечь для себя выгоду.

«Поддерживая с ним хорошие отношения, — думал Цицерон, — я, несомненно, разбогатею и стану влиятельным мужем республики. А если Цезарь потерпит поражение в борьбе с помпеянами, друзья добьются для меня прощения... Катон, Сципион Метелл, Гней и Секст Помпой не посмеют поднять руку на консуляра и оратора, любящего отечество».

— Привет Демосфену великого Рима, — сказал Цезарь и, обняв его, сердечно расспрашивал о жене, дочери и зяте.

— Увы, Цезарь! — вздохнул оратор. — В Риме недовольство: ты оставил не пастыря над народом, а волка в овечьей шкуре. Антоний возмутил против тебя общество: вместо того, чтобы управлять страной, он проводит дни и ночи в пирах и увеселениях, а народ бедствует. Долабелла вступился за бедняков, а как действовал твой заместитель? Он перебил на форуме более восьмисот человек!

Цезарь побагровел.

— Антоний... не может быть! Это самый преданный друг.

— Спроси Лепида, если мне не веришь... Что же касается меня, то я с трудом получил позволение жить в Формиях... Увы, я обеднел, жена стала моим врагом, я лишился спокойствия, и жизнь для меня не мила...

Цицерон заплакал.

Цезарь, прищурившись, смотрел на него.

«Помпеянец... Можно ли ему верить? Эти худощавые опасны... Нужно приглядеться к ним... А Брут и Кассий разве не помпеянцы? Но за Брутом стоит Сервилия, за Цицероном — Долабелла, а за Кассием — Юния, сестра Брута, на которой он женат. Однако родня не ответственна за поступки близких и наоборот. Пусть старик поплачет, а потом увидим. Можно пообещать ему всего, а исполнить — покажет будущее».

— Философ, плач — плохой помощник в жизни, — шутливо сказал Цезарь, — и только мудрые деяния раскрывают двери к благополучию и счастью. Поэтому поезжай с миром в Рим и помоги мне в моих трудах мудрыми советами, своей славой и величием.

Цицерон был польщен и взволнован.

— После нас, Цезарь, о тебе и обо мне будет много споров, и мы, без сомнения, переживем тысячелетия...

Цезарь не ответил. Он давно был уверен в этом, и каждый свой шаг, каждое действие обдумывал, прежде чем совершить: «Как отнесутся к этому потомки? Как оценит история? Не будет ли упрекать меня какой-нибудь историограф в хитрости, жестокости, жажде власти?»

Цицерон ушел. А Цезарь сидел, глубоко задумавшись.

«Кто выше как полководец? — спрашивал он себя. — Сулла? Да, он. Как государственный деятель? Тоже он. Ведь я, Цезарь, еще ничего не сделал! Нужно торопиться, торопиться, чтобы затмить своими деяниями кровожадного тирана!»

«Да, Цицерон прав, — Рим не тот. Так ли он встречает меня, как в прошлом году? Где радость и улыбки? Знать ненавидит, — значит примирение ее было неискренне; народ охладел — виною Антоний! Верные легионы колеблются... О боги, стоит ли жить после этого? Я устал... Столько войн, столько потрясений в прошлом и кровавых побоищ в будущем!.. Продолжать ли борьбу или отдать им республику?»

Быстро ходил по атриуму, не обращая внимания на смятые полы и нерасправленные складки пурпурной тоги, и щелкал пальцами, что выражало высшую степень озабоченности.

— Нет! — резко сказал он, остановившись. — Бороться до конца. Не для того распался триумvirат и погибли Кресе и Помпей, чтобы не отомстить за смерть первого и не уничтожить приверженцев второго!..

Х

На другой день, выступая на форуме, он смотрел на угрюмых плебеев и пролетариев, видел бледное лицо стоявшего в первом ряду Сальвия и, подозревая Долабеллу, сказал:

— Я рад, что ты стоял за народ, который я люблю и за который я боролся всю жизнь! Разве я не популярен? Катилина и Клодий были моими друзьями. — И, повернувшись к Антонию, резко выговорил: — А ты обманул мое доверие, превысил свою власть, не заботился о народе! Вся Италия возмущена твоими поступками! Ты запятнал мое имя, Антоний!..

Антоний хотел возразить, но Цезарь поднял руку.

— Я утверждаю предложение Долабеллы не полностью, а частично, — продолжал император, — не всеобщее уничтожение долгов и квартирной платы, а скидку с нее, чтобы никто не мог сказать, что Цезарь несправедлив... Запрещаю отдавать в залог земельную собственность, приказываю оптиматам поместить часть денег в земельное имущество, налагаю обязательные займы на богачей и города и...

Он помолчал, взглянул строгими глазами на нобилей и прибавил:

— ...приказываю продать с публичного торга имущество наших врагов, погибших во время гражданской войны... и, конечно, в первую очередь виллы, дома, рабов и сокровища Помпея и его приверженцев...

Вскочил, отбросил манускрипт и зашагал по таблинуму.

Дверь приоткрылась — заглянула Кальпиурния.

— Ложись, Гай, скоро рассвет, — шепнула она. — Я ждала тебя, ждала...

Остановился, топнул ногою.

— Нет, нет! Я усмирю их! — крикнул он. — Или же подвергну децимации!

Не понимая, Кальпурния смотрела на него.

— О ком ты говоришь? — спросила она, обнимая его. — И кого хочешь усмирять? Если помпеянцев, то не раздражай их: они усиливаются...

Цезарь засмеялся.

— Жена, не твоего ума дело рассуждать о политике! Сегодня помпеянцы и ветераны одинаково враги. И потому я должен усмирить вторых, чтобы победить первых...

И он направился к кубикулуму.

Легионы ворвались в Рим, не встречая препятствий. Не успели они пройти стадию, как перед ними появился Цезарь.

Лицо его было гневно. Он размахивал пурпурным плащом, который снял, услышав разъяренные голоса, и шел навстречу ветеранам в сопровождении Саллюстия, Мамурры и обоих Брутов (Антоний был в немилости).

— Воины, что вам нужно? — громко крикнул Цезарь, и ветераны остановились.

— Отставки! — загремели легионы.

— Хорошо, вы свободны...

Ветераны молча опустили головы. Они ожидали, что Цезарь, не могший обойтись без них, будет упрашивать, быть может, даже умолять, а он не дорожит ими и отпускает как воинов, которых легко заменить другими.

— Квириты, — сказал Цезарь, не называя их уже коллегами, — вы требовали земель и подарков, и вы получите их, но не раньше того дня, когда я буду идти в триумфе с другими войсками...

В задних рядах возник едва уловимый ропот и покотился, ширясь и нарастая, к передним рядам. Но не подняли голов седые ветераны, с подстриженными бородами и бронзовыми лицами, общий крик, похожий на стон, огласил улицы:

— Прости, император! Виноваты!

— Не позорь нас отставкою!

— Хотим называться «воинами Цезаря»!

— Воевать с тобою!

— Умереть под твоими знаменами!

Крики превращались в бурю голосов. Цезарь не разбирал уже слов — видел только преданные лица, детски-виноватые глаза, слезы на обветренных лицах... Ветераны расстроили ряды и, окружив его, целовали руки и плечи, умоляя о прощении.

— Прости, император, прости! — гремели улицы. Но Цезарь молчал, сурово сдвинув брови.

И опять они умоляли его, опять обещали умереть, если он прикажет.

— Накажи нас, — кричали ветераны, — наложи какое угодно взыскание, и мы с радостью подчинимся!

— Вспомни, император, Алезию, Рубикон, Корфиний! Вспомни Фарсалу, где мы разбили Помпея! Разве мы не сражались за тебя, нашего бога и царя?

«Царя!»

Это магическое слово разгладило морщины на лбу Цезаря... Он взглянул в преданные лица своих боевых товарищей и сказал:

— Коллеги, я готов вас простить, если вы поклянетесь, что никогда больше неповиновение не омрачит вашего рассудка!

— Клянемся, клянемся!

— Марсом, Беллоной!

— Юпитером! Цезарь продолжал:

— Но кто ответит за убийство трибунов, за покушение на Саллюстия, за грабежи по дороге в Рим? Кто? Вы, только вы! И я, ваш император, должен вас наказать по закону: ваши триумфальные награды будут уменьшены на одну треть!

Обрадованные прощением, легионарии кричали:

— Воля твоя, император!

— Мы покажем в боях свою доблесть! Полководец взмахнул плащом.

— Коллеги, завтра на рассвете в путь... Мы идем в Африку — бить помпеянцев!

Слышал ропот оптиматов, видел злые бледные лица, но, казалось, не замечал.

Он возвратился домой, провожаемый толпами народа, а вечером Мамурра докладывал:

— Нобили кричат, что ты, Цезарь, стал тираном, что мстишь раскаявшимся помпеянкам: ведь многие из них ожидали получить наследство погибших... Антоний оспаривает у всадников дворец Помпея и угрожает занять его вооруженной силою...

Отмени, Цезарь, публичную продажу, иначе прольется кровь...

— Чья кровь? Моих врагов? Пусть льется, Мамурра, пусть льется! А постановления Цезаря не подлежат отмене.

Спустя несколько дней, председательствуя на выборах магистратов, он распределял должности и пропретуры между своими сторонниками и способствовал избранию консулами Ватиния и Калена до окончания этого года, а себя и Лепида на следующий год.

Голос его звучал несколько глуховато, когда приходилось перечислять провинции и назначенных магистратов:

— В Цизальпинскую Галлию пошлем Марка Брута, в Трансальпинской оставим Децима Брута, в Ахаию поедет Сервий Сульпиций Руф, в Иллирию — Публий Сульпиций Руф, а Азию — Публий Сервилий Исаврийский, в Вифинию — Панса, в дальнюю Испанию — Требоний, в ближнюю — Педий и Фабий Максим...

— А в Африку? — донесся чей-то насмешливый голос.

Цезарь вспыхнул, но овладел собою.

— В Африку поедет Гай Юлий Цезарь с легионами, чтобы усмирить мятежников, — спокойно сказал он, — Цезарь выедет из Рима диктатором, а с нового года начнет военные действия в должности проконсула, так как срок диктатуры к этому времени истечет.

Встал и, провожаемый друзьями и приверженцами, быстро вышел из курии.

Приказав Саллюстию отправиться к легионам, находившимся в Кампании, и отвести их в Сицилию, откуда они должны были переправиться в Африку, Цезарь торопился кончить дела и выехать поскорее из Рима.

Несколько дней спустя прискакал гонец на взмыленной лошади и без доклада ворвался в атриум, где Цезарь беседовал с друзьями.

— Император! — крикнул он, задыхаясь. — Легионы восстали и идут на Рим... Трибуны, пытавшиеся их успокоить, растерзаны. Саллюстий спасся бегством.

Цезарь побледнел. Силою воли подавил волнение и на вопрос Мамурры, как поступить с бунтовщиками, спокойно ответил:

— Подождем новых известий.

Ночью примчался Саллюстий в разорванной одежде с кровоподтеками на лице. Цезарь был один. Полулежа в таблинуме, он работал над «Комментариями о гражданской войне».

— Цезарь! Воины идут сомкнутыми рядами, опустошая все на своем пути...

Полководец отложил манускрипт. Темная морщина залегла между бровей.

— Расскажи, как спасся, — спросил он, едва владея собою.

— Чудом, Цезарь, чудом! Они набросились на меня с криками, что ты обманул их: «Где обещанные подарки? — вопили они. — Не желаем служить... Требуем отставки!» Я стал уговаривать их... Меня ударили по лицу, сбили с ног. Я бросился к знамени, обнял древко... Они не посмели напасть на меня и бросились к палаткам трибунов... А я, Цезарь, побежал на луг, где паслись лошади, вскочил на одну из них и ускакал...

Цезарь молчал.

— Как прикажешь поступить с бунтовщиками? Завтра они подойдут к городским воротам.

— Впустить в город.

— Впустить? — с удивлением воскликнул Саллюстий. — Но они, Цезарь, способны совершить насилия над мирными жителями...

— Впустить в город. — повторил полководец и взял отложенный манускрипт.

Саллюстий понял, что Цезарь желает работать,- и вышел.

Но работать он не мог.

«Дела плохи, помпеянцы усиливаются, ветераны ненадежны... Был ли случай, чтобы легионы не повиновались Сулле? Нет!.. Диктатор был сильнее меня, знал тайну власти над людскими сердцами... А я»?..

XI

Сальвий хирел. После тяжелого ранения на форуме у него появился легочный кашель, и врач-иудей посоветовал пребывание на горном воздухе и усиленное питание.

— Побольше молока, масла, меду и бараньего жира, — говорил он, — и поменьше лука, чесноку и редьки.

Лициния побледнела. Дома был голод. Где найти работу, чтобы поддержать мужа?

Когда Сальвий заснул, она, опечаленная, бродила по улицам. Смеркалось.

Дойдя до Палатина, она остановилась. Навстречу двигалась лектика, в которой возлежала девушка. При свете факелов Лициния разглядела мужественное лицо, с черными блестящими глазами, и черные волосы, охваченные золотистой сеткой. Девушка обмахивалась веером — вечер был душен, — ни малейшего ветерка.

Вдруг она уронила веер на мостовую. Лектика остановилась.

Лициния проворно подбежала и подала ей веер.

— Кто ты, женщина? — спросила девушка. — Свободнорожденная или вольноотпущенница? Где работаешь и замужем ли?

Лициния рассказала о себе, о муже, о тяжелой жизни.

— Кажется, я могу быть для тебя полезной. Не хочешь ли поступить ко мне в услужение? Ты будешь сыта и одета, а мужа твоего...

Она запнулась и прибавила:

— Я поговорю о нем с моим господином Оппием... Ведь я — не госпожа, а только вольноотпущенница...

Но Лициния не поверила ей.

— Нет, ты госпожа! — воскликнула она. — Иначе не несли бы тебя в лектике и не освещали бы тебе путь факелами!

Лектика двинулась. Лициния не отставала от нее и шла рядом. И, когда рабы остановились перед богатым домом с мраморными колоннами и поставили лектику, в пропилеях появился господин с надменным лицом. Это был Оппий.

Девушка бросилась ему навстречу, сделав знак Лицинии следовать за собою.

Оппий с улыбкою протянул ей руки:

— Эрато, — сказал он, — я рад, что тыходишь в мой дом...

— Господин мой, — засмеялась спартанка, — я вхожу не одна, а с прислужницей, которую вздумала нанять, не посоветовавшись с тобою...

— Я рад, — повторил Оппий, сжимая ее крепкие мясистые руки.

— Господин мой, я взяла эту женщину, — повернулась она к Лицинии, — потому, что она бедствует, а ее муж тяжело болен... Сделай для меня милость...

— Эрато, Эрато! О какой милости ты говоришь? Делай, что хочешь... Лучше сделай для меня милость и войди в этот дом.

Низко поклонившись, девушка взволнованно вымолвила:

— Рабыней ты меня увидел, и вольноотпущенницей я переступаю порог твоего дома... Кем же хочешь, господин, чтобы я была для тебя?..

Оппий заглянул ей в глаза:

— Сколько дней прошло с тех пор, как мы встретились на пиршестве у Требация Тесты? И сколько раз я навещал тебя в твоём рабском кубикулуме? О, Эрато, Эрато!..

— Кем же, господин, я буду? — повторила спартанка, бросаясь к его ногам.

— Половиной моей души, Эрато, — ласково сказал Оппий и, подняв ее, прижал к груди. — Войди же, дочь Спарты, в этот дом и будь госпожой!..

В этот день Оппий долго раздумывал, как могло случиться, что он, избалованный ласками матрон и дочерей всадников, увлекся невольницей и купил ее у Требация Тесты. Крепкая, как дуб, неистовая в страсти, как вакханка, она резко отличалась от вялых римлянок и изнеженных девушек, с которыми он привык делить ложе.

«Цезарь одобрит мой выбор, — думал он, — лучше иметь постоянную любовницу, чем временных простибул из фамилий нобилей и всадников».

Эрато подружилась с Лицинией, и Сальвий был отправлен отдыхать и лечиться в сицилийскую виллу Оппия. Эпистолы его, редкие и лаконические, не удовлетворяли жену, и она писала ему, заклиная богами чаще извещать о здоровье.

Однажды виллик, приехавший к Оппию с отчетом о хозяйственных делах, передал Лицинии маленькую табличку, на которой были нацарапаны два слова: «Приезжай, умираю».

Лициния разрыдалась.

— Не плачь, — шепнула спартанка, — мы поедем вместе...

Вызванный виллик подтвердил, что Сальвий очень плох, и прибавил, покачивая головой:

— Он весь высох... не ест и не пьет... кашляет кровью...

Оппий не препятствовал поездке, и обе женщины, в сопровождении виллика, выехали на другой же день.

Вилла Оппия находилась у подножия Этны и белела мраморными колоннами сквозь зелень виноградников. Этна дымилась на голубом безоблачном небе, и ливень жарких солнечных лучей лобзал плодородные поля.

Сальвий, задыхаясь, медленно шел по дорожке, усыпанной морским песком. Он опирался на палку — длинный, бронзовый, тощий, как жердь.

Лициния бросилась к нему:

— О Сальвий, Сальвий!..

В ее крике была такая скорбь и мука, что виллик и Эрато отвернулись.

— Ничего, ничего, — шептал Сальвий, пошатываясь, и улыбка мелькнула по бескровным губам, — сядем... вот здесь, на траву... Я устал...

Виллик и Эрато удалились. Муж и жена молча сидели. О чем говорить?

Наконец Сальвий взглянул на Лицинию:

— Жена, столько лет борьбы — и все напрасно... Я все отдал — силы, здоровье, жизнь... А чего мы добились? Чего?.. Долабелла боролся, а популярь Цезарь, — хрипло засмеялся он, — частично утвердил его законы... чтобы задобрить плебеев...

Он закашлялся, голова поникла.

— Сальвий, мы доживем до лучших дней! Разве ты не веришь?..

— Верю, но не мы увидим эти дни... не мы поразим злодеев.. А как хотелось,

Лициния, дождаться новой жизни!..

Слезы покатались по худому бронзовому лицу.

— Если не мыждемся охлократии, дождутся наши дети...

— Дети? — вскричал он. — Но у нас с тобой, Лициния, нет детей!..

Да, у них не было детей. И жена подумала, что если бы у них был хотя бы единственный сын, жить было бы, возможно, легче.

«Он скрасил бы нашу трудную жизнь, а выросши, продолжал бы наше святое дело... О боги! Зачем вы послали нам голодное существование, вынуждавшее вытравливать плод?»

— Да, детей у нас нет, Сальвий, но они есть у других... И они будут бороться, как боролись их деда и отцы!

Сальвий молчал, голова его свесилась на грудь, а тело мягко повалилось на бок.

— Сальвий, Сальвий? — с ужасом закричала Лициния. — Что с тобою?

Она повернула его навзничь и смотрела в помутневшие глаза: тяжелое дыхание вырывалось со свистом из полураскрытого рта, что-то булькало в горле и клокотало в груди, и Лициния шептала:

— Сальвий, взгляни... Ты меня видишь, слышишь?. Но глаза мужа были такие же мутные, невидящие.

Он открывал рот и жадно ловил воздух, хрипя и задыхаясь, а в горле и груди все настойчивей и настойчивей булькало и клокотало... Вдруг он широко раскрыл рот, хотел захватить воздух, поперхнулся, сился закашляться, — лицо посинело, хрип вырвался из груди.

Сальвий не шевелился, и Лициния, рыдая, целовала его руки и лицо.

Когда к ней подошла Эрато, Лициния всхлипывала, дрожа всем телом.

— Госпожа, позволь мне похоронить его, — вымолвила она, — и я последую за тобой, куда прикажешь, как верная служанка...

Эрато не ответила. Она впервые видела такое сильное горе и думала, что не богачи, а бедняки способны бескорыстно любить и искренно оплакивать своих близких. «Богачи ждут и желают смерти родных, чтобы получить наследство, и кого могут растрогать их притворные слезы на похоронах? А эта плебеянка, которой муж не оставил ничего, оплакивает его как друга и человека»...

Она искоса взглянула на труп и медленно направилась к вилле, — оттуда доносилось тоскливое пенье невольниц, работавших на огороде.

В вилле они пробыли неделю вместо трех дней. Похороны отдалили отъезд. Эрато уводила Лицинию в поля, на пчельник, в сад и на речку, стараясь рассеять черные мысли о смерти.

— Зачем грустить? — говорила Эрато. — Смерть неизбежна, и все мы уйдем в землю, но душа останется жить, вселится, как учил Пифагор, в другое тело, и так будет продолжаться вечно... Мы бессмертны, Лициния, и только безумец готов оспаривать истину, которую чувствует сердцем каждый человек...

Однажды, когда Лициния понесла цветы на могилу Сальвия, а Эрато дремала в траве пчельника под жужжание пчел, в виллу приехал Опий. Он был раздражен долгим отсутствием вольноотпущенницы и, узнав от рабов, где она, быстро направился к пчельнику, поклявшись проучить зазнавшуюся девушку.

Она лежала раскинув руки, и косые лучи клонившегося к западу солнца алели на ее щеках. Грудь ее мерно вздымалась под хитоном, и крепкие обнаженные ноги с мясистыми икрами утопали в траве. На сонном лице ее застыла улыбка.

Оппий тихо опустился на колени. Чувство радости, охватив сердце, разметало гневные мысли.

Эрато вскочила в испуге, протирая глаза, и, узнав его, засмеялась.

— Это ты... ты, господин?! А я... прости, что задержалась в вилле...

Она лепетала полуиспуганно, целуя его руки, а глаза ее смеялись, и Оппий видел в них любовь и преданность.

Когда они вышли в сад, Эрато, не отнимая своей руки, заглянула ему в глаза:

— Господин мой, хочешь — мы останемся здесь еще на день?

Оппий подумал, что дела могут подождать, и — согласился.

Вместо одного дня они прожили целую неделю. Накануне отъезда он сказал Эрато, лаская ее в беседке:

— Вижу, тебе понравилась эта вилла... И я дарю тебе этот дом с полем, садом, виноградником и пасекой, с рабами, невольницами и хозяйственными орудиями...

Эрато упала к его ногам и, целуя колени, шептала:

— Господин мой, ты снизошел до белой рабыни, возвысил ее и приблизил к своей особе... Чем я могу отблагодарить тебя за доброту и милость? Увы, нет ничего у меня, кроме этого тела и верной души!..

Она ударила себя в грудь и, всхлипнув, прибавила:

— Как была твоей невольницей, так и останусь до самой смерти!

Он поднял ее, усадил рядом с собою.

— В Риме я составлю дарственный акт и введу тебя во владение поместьем! А теперь пойдем к виллику, чтобы он собрал рабов: они должны знать новую госпожу...

Эрато шла за ним, как пьяная. Госпожа! Возможно ли такое счастье? Она подумала, что это имение приносит доход, она будет приезжать сюда со своим господином (он — гость, а она — хозяйка), и радость ее была так велика, что она сказала Оппию:

— Сердце мое преисполнено благодарности, но для того, чтобы счастье мое было полнее, обещай, господин, приехать ко мне в гости со своими друзьями!..

Оппий улыбнулся. Радость Эрато была его радостью.

— Приедешь? — с беспокойством заглянула она ему в глаза, боясь, что он откажется.

— Приеду с нашим властелином, когда он вернется из Африки.

Смотрела на него с недоумением.

— С кем? Я не понимаю...

— Узнаешь позже.

ХII

Высадившись в Африке с малочисленным войском (буря рассеяла корабли, на которых находилось шесть легионов), Цезарь попытался взять Гадрумет, но это ему не удалось. А когда корабли, бросив поблизости якорь, высадили три легиона, император двинулся во главе войск в глубь страны.

В бою при Рупсине, где помпеянская конница, под начальством Лабиена, едва не разбила легионы Цезаря, стало ясно, что враг сильнее.

— Отступать, — приказал полководец, — будем ждать ветеранов, иначе мы погибли.

Но Лабиен не давал покоя: он тревожил Цезаря днем и ночью, отбивал обозы и лошадей во время водопоя, жег сено и солому, снимал часовых и караулы. Цезарь думал, что делать. Решив наконец разослать надежных людей в соседние города, он

приказывал им:

— Склоняйте города на нашу сторону, работайте над тем, чтобы население восставало против Юбы, не жалейте золота на подкуп, раздавайте оружие бедноте и недовольным...

Недели бежали за неделями.

Сам Цезарь не бездействовал: он объехал мавританских царей — Богуда из Тингиса, Бокха из Иола и старого пирата Ситтия, а затем и вождей кочующих гетулоа, подстрекая их выступить против Юбы и прислать подкрепления. Бокх, Ситтий и вожди гетулов, соблазненные богатыми подарками и обещаниями Цезаря, согласились; колебался один Богул, но Цезарь, тайно увидевшись с царицей Эвнойей, маленькой грудастой мавританкой, лестью и хитростью уверил ее в своей любви и просил повлиять на супруга.

Он покинул Тингис, узнав о восстании против нумидийского царя и измене нескольких городов.

«Прибудут ветераны, — радостно подумал полководец, — дадим решительную битву!»

Войска помпеянцев, состоявшие из десяти римских и четырех нумидийских легионов, ста двадцати слонов и большой конницы под общим начальствованием Метелла Сципиона, находились в окрестностях Гадрумета, Рупсины и Тапса.

Два месяца спустя прибыли ветераны, и Цезарь немедленно двинулся к Тапсу.

Стоя на холме, император наблюдал за боем. Зоркими глазами различил он Афрания и Марка Петрея, победителя Катилины, царя Юбу во главе слонов и нумидийской конницы, старого Метелла Сципиона, стоявшего в центре, видел Лабиена и Фавста Суллу, объезжавших его конницу, сыновей Помпея, рубившихся в передних рядах. А потом всё внезапно смешалось — помпеянцы дрогнули.

Цезарь вскочил на коня и, выхватив меч, бросился в гущу рубившихся воинов.

— Враг бежит, — кричал Цезарь, хотя неприятель еще держался, — воины, бейте, рубите злодеев!

Он охрип от криков и, работая мечом, наблюдал за боем. И вдруг увидел побежавшие толпы помпеянцев, услышал рев убиваемых слонов, перед глазами мелькнули Афраний и Фавст Сулла, окруженные всадниками: они бились с мужеством отчаяния. Афраний пал, пораженный в грудь, а Фавст еще держался. Лицо его было окровавлено, лошадь под ним убита. Теперь он сражался, укрываясь за лошадью и за горой трупов.

«Кровь Суллы», — подумал Цезарь, залюбовавшись на мгновение его храбростью, и крикнул:

— Убить!

Страшное бегство неприятеля окрылило его гордостью: «Легионы Цезаря непобедимы»...

Мчался за бегущими, поражая их и крича воинам не щадить пленных. Искал глазами Лабиена, Юбу, Петрея и сыновей Помпея... Где они? Убиты? Ранены?

Остановил коня.

Поле на большом протяжении было покрыто трупами. Стоны раненых доносились со всех сторон, прерываемые проклятиями на римском, галльском, нумидийском и мавританском языках. Жалобно ржали сбитые с ног, окровавленные лошади, и надрывно трубили, издыхая, стоны с распоротыми брюхами.

Император повернул шарахнувшегося коня, — раненый помпеянец, привстав,

метнул копье: оно пролетело мимо груди полководца.

Цезарь подъехал к упавшему в изнеможении воину. Рука легионария шарила по земле и, найдя меч, сжала его.

— Ты кто? — спросил Цезарь, взглядываясь в искаженное ненавистью лицо.

Помпеянец молчал. Император повторил вопрос.

— Проклятье врагу республики! — хрипло ответил воин, пытаясь приподняться.

Цезарь пожал плечами и, ударив бичом коня, помчался к лагерю, не разбирая на пути убитых и раненых.

Вечером Саллюстий доложил, что Метелл Сципион и Манлий Торкват бросились на меч, а Катон, Лабиен, Петрей, Юба и сыновья Помпея бежали.

— Я узнал, — говорил Саллюстий, — что Катон бежал в Утику, Петрей и Юба — в Заму, а Лабиен и сыновья Помпея — в Испанию.

— Диохар! — закричал Цезарь, — поезжай в Рим с эпистолой к сенату и римскому народу, — и прибавил, обращаясь к Саллюстию: — Победа при Тапсе отдает в наши руки Африку...

«Пока жив Катон — борьба не кончена, — думал он, диктуя письмо скрибу, — и, пока живы Лабиен и сыновья Помпея, я не могу жить спокойно».

На другой день легионы двинулись по дороге в Утику. Цезарь ехал впереди, беседуя с друзьями об одержанной победе. Лицо его было весело.

«Гай Юлий Цезарь, проконсул — благородной Сервилиии.

Милостью богов одержана мною победа над помпеянами. Часть неприятельских вождей погибла, а часть бежала. Но война еще не кончена. Иду на Утику, где старый волк Катон засел в своем логовище. По полученным сведениям Юба и Марк Петрей бежали в Заму, где дикий нумидиец хотел сжечь себя на костре вместе с сокровищами и гражданами, которых решил умертвить. К счастью, Зама заперла перед ними ворота. Тогда свирепый африканец, остановившись в своей вилле, приказал приготовить роскошный обед, желая превратить смерть в опьяняющий пир. После обеда он заставил Петрея драться с ним на мечах и, убив его, повелел любимому рабу заколоть себя. Так кончили свою жизнь убийцы Катилины и жестокий царь, ненавидимый согражданами.

Что нового в Риме? Говорят, Цицерон пишет историю римского красноречия в форме диалога между Брутом, Аттиком и собою. Узнай у нашего Брута, какие мысли он проводит, и сообщи мне. Прощай».

Находясь в нескольких стадиях от Утики, Цезарь получил эпистолу, привезенную эфиопом, которая чрезвычайно обрадовала его:

«Египетская царица Клеопатра из великого рода Лагидов — Гаю Юлию Цезарю, римскому диктатору, императору и проконсулу — горячий привет, лучшие пожелания счастливой жизни и славы во веки веков!

Радостную весть, что ты находишься в Африке, узнала я случайно и спешу сообщить тебе, возлюбленный супруг, величайший муж и владыка мира, что я благополучно родила сына, зачатого от тебя в Александрии, и жажду увидеться с тобой и показать тебе младенца! Помнишь часы, проведенные в моих объятиях? Я отдала тебе всё, что имела, а ты сказал: «Когда стану римским царем, ты будешь римской царицею». А сын? Конечно, он унаследует от тебя корону и власть над Римом. Напиши о своем здоровье. А мы с сыном поручаем тебя покровительству богов и умоляем их о даровании тебе славы, побед и могущества».

Цезарь был растроган.

— Клеопатра, — шепнул он, — о, если бы я был простым человеком, а ты простой женщиной!

На привале он написал краткую эпистолу, припечатал перстнем-печатью Помпея и велел эфиопу мчаться в Александрию.

Известия об успехах Цезаря следовали одно за другим — смерть Катона, присоединение к Риму восточной части царства Юбы под именем «Новая Африка» (западная часть была отдана Бокху), занятие Утики, преследование остатков помпеянских войск, — всё это вызвало в Риме радость одних и злобу других.

Сторонники Цезаря, расценивая эти победы как укрепление своего могущества, потребовали для него в сенате десятилетнюю диктатуру, цензорское достоинство и право предлагать кандидатов в народные трибуны и эдилы. Аристократы и помпеянцы с ужасом шептались о наступающих временах Суллы.

Цицерон, полулежа в таблинуме, слушал Тирона, который читал эпистолу, полученную от сына Катона. Слова вольноотпущенника мерно падали в тишину опустевшего дома, — Теренция, с которой Цицерон поссорился, уехала в виллу, испуганная разводом, которым он ей пригрозил.

Тирон читал:

— «Отец мой, Марк Катон, получив приказание защищать Утику, немедленно отправился в город, хотя понимал, что сопротивление бесполезно. Стоик Аполлопид, перипатетик Деметрий, философ Статилий и я не покидали его. Разведчики доносили, что Цезарь приближается к Утике.

Катон был спокоен. Во время обеда беседа велась о философии. Отец защищал с жаром парадоксы стоиков и остановился на самом любимом: «Свободен только честный человек, все негодяи — рабы». Деметрий возражал: «Часто человек, считающий себя честным, нечестен и — наоборот. Где же мерило честности? В признании граждан? Но каждый гражданин судит согласно своему мнению, а мнение одного и многих может быть ошибочно, следовательно, честность — понятие относительное, а потому свобода несоизмерима с нею; а если это так, то и рабство — понятие относительное». Но Катон был не согласен и привел в доказательство честность Сципиона Эмилиана. Чем кончился спор — не знаю, потому что я, вызванный по делу, принужден был выйти из-за стола. Когда я вернулся, собеседники прогуливались в саду, обсуждая диалог Платона «О бессмертии души». Вдруг отец приказал принести меч. Нас охватил ужас. Побеседовав с нами, Катон удалился в дом и стал читать Федона. Потом опять потребовал меч. Вольноотпущенник умолял его не делать себе зла. Но отец, расвирепев, ударил его в зубы и поранил себе руку; врач тут же перевязал ее. Взглянув на меня, Катон сказал: «Принеси меч. Неужели ты хочешь, сын мой, чтобы я пережил республику и стал рабом Цезаря?» Повесив меч над ложем, отец лег и заснул. Пели петухи, когда он проснулся. Мы слышали, как он ходил, и вдруг шум упавшего тела охватил нас ужасом. Вбежав к нему, мы увидели его на полу полуобнаженного, в крови: живот был вспорот, внутренности вывалились. Он был еще жив и тихо стонал. Врач старался вложить в живот выпавшие внутренности, но Катон оттолкнул его и стал разрывать их. Вскоре он умер... Статилий хотел тоже покончить самоубийством, но мы не допустили»...

Цицерон заплакал.

Тирон молчал. Скорбь господина была его скорбью: Катона он уважал и преклонялся перед ним.

— Что делать? — говорил Цицерон. — Отовсюду сыплются удары: Катон погиб, Туллия ушла от Долабеллы, который позорил ее изменами, Теренция обобрала меня с вольноотпущенником и уехала; а друзья, друзья! Сколько их погибло! И Катон, Катон!..

В Африке люди сражались и умирали, а он, старик, обласканный цезарьянцами, бывал на обедах у Гиртия и даже у Долабеллы, опозорившего его дочь! «Что это — подлость? Долабелла добился у меня прощения лестью, ласковым обхождением, притворными слезами. А Туллия, Туллия! Беременная, она оплакивает свою поруганную любовь, а я и Долабелла...»

Но о ком бы он ни думал, что бы ни делал — перед глазами стоял суровый Катон; казалось, глаза строгого республиканца смотрят с укором: «Проданся Цезарю, стал рабом!», а рука подымается, чтобы наградить презрительной пощечиной. Это было невыносимо. — Подай манускрипт «Брут», — тихо вымолвил он.

Когда Тирон проворно развернул свиток пергамента, Цицерон принялся перечитывать похвалы Брута первому консулу республики, уничтожившему монархию, и Доказательства Аттика, что от этого консула происходит род Брута-современника.

«Да, — думал он, — если один Брут уничтожил монархию, то другой Брут должен пресечь в корне возникновение ее. Но о таких вещах не пишут. Сопоставление двух Брутов само собой напрашивается на выводы, и кто поймет их, тот сделает, что нужно».

Стал быстро писать, не отделявая слога, торопясь; знал, что кое-что исправит Тирон, кое-что Атик при издании книги. Видел, она становилась мрачной, но где было искать радость, когда его земное странствие кончалось в этой «ночи республики»?

Прибытие Цереллии оторвало его от работы. Надушенная, оживленная, она вбежала в атриум, и, протягивая руки оратору, воскликнула:

— Друг мой, бедный друг! Я узнала о вашей ссоре и хочу вас примирить! Такая примерная супружеская чета — и ссориться! Я не узнаю тебя, Марк Туллий!..

Она опустила в биселлу и слушала Цицерона, который жаловался на Теренцию, на ее жадность к деньгам и темные сделки с торговцами и публиканами.

— Я не могу ее видеть! — кричал пискливым голосом Цицерон. — Она опротивела мне, как старая грязная калига... Она, сварливая, не ладила с Квинтом и его женой Помпонией, поссорила меня с Клодием, впутала в грязные дела, презрительно относилась к моей литературной славе. А своей набожностью, верой в чудеса и преклонением перед прорицателями ставила меня в глупое положение...

— Тридцатилетняя супружеская жизнь не может быть расторгнута глупым стечением обстоятельств, — перебила Цереллия, — вспомни, друг мой, что Теренция — хорошая и заботливая хозяйка, любящая порядок в доме; она из знатной богатой семьи, ты получил за ней в приданое сто двадцать тысяч драхм, дома в Риме и лес в окрестностях Тускулума. И можешь ли ты обвинять ее в том, что она вздумала увеличить ваше состояние?

Цицерон вспыхнул.

— Неужели ты на ее стороне? Клянусь Юпитером, я не ожидал от тебя...

— Друг мой, сейчас ты раздражен и потому так говоришь, но ты любишь ее: она показывала мне твои страстные письма из изгнания, эпистолы из Каликии, в которых ты называл ее нежно-любимой и желанной. Цицерон побледнел.

— Она ревновала меня к Туллии, — выговорил он, задыхаясь, — она, мотовка, занималась ростовщичеством с хитрым Филотимом, который, имея рабов и вольноотпущенников...

— Не сердись, — перебила Цереллия, — но и ты, друг мой, пользовался его услугами. Вспомни имения Милона, скупленные по дешевой цене!..

Цицерон побагровел. Он не мог спокойно слушать, когда напоминали об этом постыдном деле.

— Замолчи! — крикнул он. — И это говорит Цереллия, которая величает себя моим другом! — обратился он к

Тирону.

Однако Цереллия не смутилась и продолжала беспощадно наносить ему удар за ударом:

— Конечно, честность Филотима сомнительна, тем более, что он, управляя твоими виллами, оставлял себе прибыль, особенно с имущества Милона, а потом предъявил тебе счет, требуя с тебя же денег.

— Филотим — вор, — прервал Цицерон, — но и Теренция тоже воровка: она взяла шестьдесят тысяч сестерциев из приданого Туллии, а сегодня я узнал, что она утаила две тысячи из денег, которые должна была мне возвратить...

Цереллия продолжала спорить. Взбешенный оратор взглянул на нее дикими глазами.

— Молчи! — крикнул он. — Я не ожидал от тебя такой наглости.

Они расстались врагами.

Вечером Цицерон послал Теренции разводное письмо и, приступая к обработке манускрипта «Paradoxa stoicorum», поручил Тирону внимательно просмотреть сочинение «Orator», которое посвятил Бруту.

ХIII

Цезарь возвратился в Рим в конце квинтильня.

Празднование четырех триумфов — галльского, египетского, боспорского и нумидийского — продолжалось четыре дня. В первом триумфе была осмеяна в картинах и изображениях галльская знать и Верцингеториг, который шел — тень прежнего вождя — с цепями на руках и ногах, за колесницей императора, чтобы погибнуть потом, по обычаю, в Мамертинской тюрьме. А воины пели, осмеивая, по обычаю, победителя:

Галлию покорил Цезарь, а Цезаря — Никомед.

Празднует триумф Цезарь, покоривший Галлию.

Нет триумфа Никомеду, покорившему Цезаря.

Эта песня вызвала всеобщий смех, шутки, но, когда грянула вторая песня, лица оптиматов вытянулись, глаза с беспокойством обратились к женам и дочерям.

Воины пели:

Граждане, жен берегите: везем лысого развратника.

Во втором триумфе осмеивались Потин и сварливые александрийцы, в третьем — Фарнак, а в четвертом — Катон, Сципион Метелл, Афраний, Фавст Сулла, Марк Петрей и Юба.

После пиршеств полководец отправился на форум.

Стоя на ораторских подмостках, он говорил сенату и толпившемуся народу:

— Квириты, в неустанных заботах о благе дорогого отечества вел я без отдыха

кровавые войны с варварами, готовившими второе нашествие кимбров и тевтонов, сражался с Помпеем и его приверженцами, посягавшими на порабощение римского народа, и должен объявить, что сам Юпитер Капитолийский помогал мне своей мощью, а Беллона и Венера — советами. В самом деле, разве Галлия и Британия не завоеваны? Разве не распространяется романизация на варварские страны? Разве в Египте боги не поразили Помпея, которого я разгромил при Фарсале? Разве не усмирена Александрия и не возведена на трон Лагидов дружелюбная нам царица? Разве не усмирена Азия и не разбит Фарнак, сын Митридата Эвпатора? И, наконец, разве не очищена Африка от помпеянцев громкой победой при Тапсе, где противник потерял убитыми пятьдесят тысяч? Всё это сделано, квириты, для блага дорогого отечества и римского народа, и будет сделано еще больше, если нам помогут боги и вы, квириты, владыки мира!..

Рев голосов прервал его речь:

— Да здравствует Цезарь!

— И вот, квириты, — продолжал император, когда шум утих, — мы имеем области, завоеванные в Африке: плодородные, они изобилуют хлебом, в котором вы не будете больше терпеть недостатка... Думая об этих землях, я согласен с идеей Гая Гракха, который хотел основать колонии для пролетариев. Ибо забота о неимущих — лучшее украшение правителя, хотя помпеянцы распространяют ложные слухи, будто я стремлюсь к тирании... Не так ли, квириты, погибли братья Гракхи, несправедливо обвиненные нобилиями? Не так ли были умерщвлены Сатурнин, Главция и Сафей, Катлина и

Клодий?..

— Проклятье богатым! — кричала толпа, угрожая сжатыми кулаками сенаторам и всадникам, которые, бледнея, с ужасом смотрели на Цезаря.

— Скажите: может ли популярь, годы боровшийся за плебс, стать тираном? Никогда! Поэтому, квириты, я, вождь народа, отказываюсь от предложенной за мои заслуги десятилетней диктатуры, боясь, что она вызовет злобные нападки врагов...

— Долой помпеяниев!

— Будь диктатором!

Крики толпы усиливались. Теперь гремел весь форум, и даже сенаторы, подняв руки, умоляли триумфатора принять диктатуру.

— Я благодарен квиритам и отцам государства за почетную награду, но сейчас не могу ее принять... Достаточно будет, если я сохраню за собой консулат, цензуру и избирательную власть.

Довольный народ выражал громкими криками радость и расположение к Цезарю. А когда полководец объявил, что готов исполнить обещание, данное три года назад, буря приветственных криков потрясла форум.

— Квириты, из Африки, я привез шестьсот миллионов сестерциев и драгоценные металлы, — громко звучал голос императора, — и хочу распределить их между вами, легионарями и военачальниками: каждый квирит получает триста сестерциев, легионарий — восемьдесят тысяч, центурион — сто шестьдесят тысяч, военный трибун — триста двадцать тысяч... А на днях начнутся публичные пиршества и бесплатная раздача хлеба и оливкового масла...

Народ неистовствовал. Десятки мускулистых рук овладели Цезарем, когда он сходил с ростры, и понесли его по улицам. С крыш и с балконов сыпались на него цветы и зеленые листья.

И все-таки он не пользовался таким могуществом, как Сулла. Кровавый диктатор, имя которого внушало ужас и напоминало о славе титанических побед, спас отечество от гибели и избавил аристократию от политического уничтожения, — а он, Цезарь? Знал, что из триумвиров он способнее всех не потому, что победил Помпея Великого, а оттого, что готовился создать новое правительство, провести законы, упорядочить магистратуры и начать завоевательные войны, которые способствовали бы романизации захваченных стран.

«Неужели я должен возвратиться к завоевательной политике прежних лет? — думал он, шагая взад и вперед по таблинуму. — Да, да, отомстить за смерть обоих Крассов, которые были ко мне расположены, завоевать Парфию и дойти до Индии по примеру Александра Македонского...»

Кликнул скриба и велел записать для памяти намеченные законы и мероприятия.

Ходил по таблинуму в глубокой задумчивости.

— А теперь запиши: закончить исправление римского календаря, начатое в прошлом году.

Отпустив скриба, стал собственноручно писать эпистола:

«Гай Юлий Цезарь — божественной Клеопатре.

Чем больше думаю о тебе и сыне, тем больше жажду увидеться с тобою. Боги свидетели, что, воюя с помпеянами в Африке, я не мог отправиться в Египет, — спешные военные и государственные дела заставили меня торопиться в Азию, а затем в Рим. Но желание увидеться с тобой преследует меня день и ночь. Поэтому прошу тебя: приезжай с сыном в Рим. Заодно привези с собой лучших египетских астрономов, которые могли бы помочь нам исправить римский календарь. Буду рад, если согласится тебе сопутствовать знаменитый астроном Созиген... Думаю, что ты, божественная, сделаешь всё, о чем я тебя прошу. Прощай».

Вспомнив, что на конец сентября было назначено освящение храма Венеры Родительницы, он приказал высечь из мрамора статую Клеопатры и поставить ее к этому дню в храме.

В сенате Цезарь говорил о своих планах. Слыша одобрение непримиримых аристократов, ненавидевших его за смерть Катона и Помпея, он сказал:

— Надеюсь, отцы государства, вы поддержите меня ради блага дорогого отечества.

Сенат рукоплескал.

Когда император выходил из курии, подошел Цицерон.

— Слава Цезарю, — сказал он вместо приветствия. — С большой радостью и удовлетворением я слушал речь, в которой ты открыл перед нами свои замыслы... Законы, задуманные тобою, укрепят и вознесут государство на недостижимую высоту... Но ты умолчал о форме правления...

— Форма правления? — удивился Цезарь. — Разве она не осталась прежней?

Цицерон молчал.

«Лжет и притворяется, — думал он, удаляясь. — Со смертью Катона республика почти умерла, и мы должны бороться за восстановление гражданского правительства».

Цезарь занимался государственной деятельностью, не щадя сил.

Эдикт о роспуске коллегий, учрежденных Клодием, и уменьшении хлебных раздач вызвал бурю в комициях. Популяры понимали, что Цезарь, подкупая плебс деньгами, бесплатной раздачей хлеба и масла, пиршествами и зрелищами, одновременно старался умалить его мощь. А выселением пролетариев из столицы в колонии наносил удар ядру пролетариев, одновременно освобождаясь от недовольных, которые могли

бы злоумышлять против него. И народ резкими криками выражал свое негодование.

— А свободные союзы для взаимопомощи и профессиональных нужд? — крикнул кто-то.

— Упраздняются, — сказал Цезарь, — они не нужны; обо всем и о всех будет заботиться государство. — И, возвысив голос, прибавил: — Квириты, когда мы боролись с олигархами, коллегии были необходимы, а теперь, когда аристократия сломлена и ей больше не подняться; когда во главе народа стоит популар, ваш вождь и сподвижник Каталины, — чего вы боитесь? Я буду на страже ваших дел, и никто не посмеет посягнуть на ваши права... Возобновляя идеи Гракхов о колониях, я, популар, желаю вам блага. Сначала будут основаны колонии в Кампании и иных местах Италии, затем выведем колонии в Лампсак, Эпир, Синопу, Гераклею, на берега Понта Эвксинского, в Нарбоннскую Галлию... Отстроим Коринф и Карфаген...

Не слушая возражений, он произвольно распустил комнции и удалился с Марсова поля.

Пообедав в обществе Кальпурнии, Оппия, Бальба, Фаберия и Долабеллы, Цезарь позвал друзей в таблинум.

— Что же Антоний, — спросил он, — так и отказывается заплатить за дворец и имущество Помпея?

— Господин мой, — вкрадчиво сказал лысый сплетник Фаберий, — он не только отказывается, но и всюду жалуется на тебя и угрожает...

— Что же он говорит? — криво усмехнулся Цезарь.

— Он утверждает, что*служил тебе честно, а награды не получил... в то время как ты, господин, вознаградил себя...

Голос Фаберия, дрогнув, оборвался.

— Чем? — побагровел Цезарь.

— Не осмеливаюсь, господин!

— Говори, — сурово сказал Цезарь, — но смотри — только правду...

Фаберий, прищурившись, как будто не решался; все знали, что он притворяется, и неприятно было смотреть на этого проходимца, который втерся в доверие Цезаря.

— Любовью Клеопатры, — шепнул он, потупившись. Цезарь рассмеялся.

— Какая глупость! — сказал он. — Удивляюсь тебе, Фаберий, что ты повторяешь такие сплетни. Антоний не таков — я его знаю. Он провинился, и я не хочу его видеть. Но это не значит, что можно пятнать его честное имя...

— Ты прав, Цезарь! — радостно вскричал Оппий. — Антоний любит тебя, и не верь распространяемым слухам, будто он подкупил наемного убийцу, чтобы тот ударил тебя ножом. Антоний женился на Фульвии, вдове Клодия и Куриона (ты, конечно, помнишь эту женщину, которая мечтает управлять правителем и начальствовать над начальником?), и скромно живет, не злоумышляя против тебя... Что же касается имущества Помпея, — прибавил он, видя нетерпеливое движение Цезаря, — то он, быть может, и неправ, вознаградив себя самовольно за бескорыстную службу своему императору, но разве ты не знаешь, Цезарь, что он увяз в долгах? А женившись...

— Не нужно было жениться! — крикнул Долабелла. — Фульвию мы знаем: она расточительна и требовательна...

— Тише, тише, — прервал Цезарь, заметив на пороге Кальпурнию. — Садись с нами, жена, я хочу немного отдохнуть среди друзей...

— Прости, но мне некогда. Разве ты забыл, Гай, что завтра у нас соберутся родные

и друзья? Вспомни, что Децим Брут, вызванный тобой из Трансальпийской Галлии должен приехать сегодня вечером?

Цезарь улыбнулся.

— Весь дом готовится к пиршеству, и все, кроме Цезаря, знают об этом, — сказал он, — но Цезарю простительно: другие заботы и иные мысли роятся в его голове, — и всё это для блага отечества!

XIV

Триклиний был уставлен столами и ложами, покрытыми пурпуром. Рабы убрали цветами и зеленью стены, слушая шум голосов, доносившихся из атриума. Смуглые невольницы, вывезенные Цезарем из Азии, и бронзовые африканки расставляли фиалы, вносили амфоры, перекликаясь между собою: гортанные наречия Мавритании, Нумидии, Египта и Эфиопии переплетались с мягким говором греков, понтийцев и пергамцев.

Гости прохаживались по атриуму, оживленно беседуя. А в стороне, прислонившись к колонне, стоял молодой семнадцатилетний муж с равнодушным выражением лица. Это был Гай Октавий. Болезненный от рождения, он воспитывался в доме своей бабушки, сестры Цезаря, после смерти отца, велибрийского ростовщика. Антоний утверждал, что Цезарь взял его под свое покровительство, воспользовавшись им как наложницей, но не все верили Антонию, зная, что он недоволен императором. Зато заботы Цезаря по отношению к племяннику были всем известны: Гая Октавия обучали наукам опытные преподаватели — Афенодор из Тарса и Дидим Арей, неопифагорец.

Постаревшая Сервилия, беседуя с Кальпурнией, украдкой наблюдала за Цезарем.

«Конечно, я старуха, — думала она, — желая приблизить его к себе, я свела с ним дочь Терцию, но он воспользовался ею и ускользнул от меня. Теперь он занят Клеопатрой... Может быть, Брут удержит его в нашей семье? Брут и Терция»...

Цезарь был в дурном настроении: государственные дела и заботы утомляли, а советы Оппия и Бальба сложить с себя часть власти раздражали его. Но больше он был уязвлен сочинением Цицерона.

— Говорят, он превозносит Катона, этого дурака, а ведь восхвалять его — не одно ли и то же, что прославлять водовоза, который кончил самоубийством потому лишь, что у него издохла лошадь? Какое влияние имеет водовоз на дела республики? Так же и Катон. Древние обычаи смешны, а стоическая кончина ни для кого не убедительна... Гиртий будет писать ответ Цицерону... Может быть, напишу и я...

— Пусть пишет один Гиртий, — неосторожно перебил Долабелла, — с тебя. Цезарь, достаточно «Комментариев о гражданской войне». Тем более, что, узнав о смерти Катона, ты воскликнул: «Завидую, Катон, твоей смерти; ты позавидовал мне в славе спасти твою жизнь».

Цезарь вспыхнул:

— Разве я так сказал? Не помню, друг! Но неужели ты думаешь, что я не сумею возразить Цицерону, который, по-видимому, опять на стороне аристократов?.. А ведь эти люди грабили имущество (Помпей захватил вклады частных лиц) и нарушали права квиристов, а я спас сокровища эфесского храма Дианы... Об этом я писал в своих «Комментариях».

— Я слышал, — сказал Лепид, — что Цицерон утверждает, будто ты с целью разрушал республику, стремясь к единовластию. Он говорит, что, став триумвиром, ты управлял единолично, вынудив Бибула к бездействию, а сенат к молчанию; что в

Галлии добраться до тебя было трудно, — это испытал на себе Требаций Геста, тщетно добивавшийся у тебя приема и уехавший со словами: «Легче попасть к царю, чем к Цезарю!»; что твои «Комментарии о галльской войне» — ложь, которой ты хотел обмануть общество; что после Фарсалы ты назвал диктатора Суллу безумцем за то, что он отказался от власти, чем, — утверждает Цицерон, — ты подтвердил, что сам никогда от нее не откажешься; что, прикрываясь демократизмом, ты стремишься к монархии...

— Довольно! — прервал Цезарь. — Если перо может мстить за нападки, учиненные пером, то пусть Гиртий ответит Цицерону и опубликует свой труд. А если Гиртий не справится с этим делом, я сочиню своего «Анти-Катона»...

— Но монархия, монархия, — заметил Лепид. Цезарь пожал плечами.

— Республика, дорогой мой, фантазия. Пусть же она сохранит хотя бы одну видимость, если это приятно республиканцам.

— А общественная жизнь?..

— Она сохранена. Разве я не возвратил из изгнания большую часть противников?..

Но Долабелла, нахмурившись, перебил его:

— Ты был неправ, Цезарь, поступив таким образом! Враг не должен находиться в Италии, иначе он будет подтачивать здание, воздвигаемое тобою!

— Нет, я должен примирить враждующие слои населения и создать иное общество...

Подошел Гай Октавий.

Полуобняв племянника, Цезарь спросил, заглянув ему в глаза:

— Как здоровье, Гай? Прекратились ли головные боли и хорошо ли варит желудок? Если нет, то обратись к моему медику, который...

— Я здоров, слава доброй Валетидо! — ответил Октавий, краснея и пытаясь освободиться из его объятий. — Жду, когда ты назначишь меня начальником над иллирийскими легионами...

— Подожди еще... Не желая расставаться с тобой и не кончив одной войны, я не могу начинать другой...

Это был намек на Испанию, где сосредотачивали свои силы сыновья Помпея, и на Парфию, куда Цезарь замышлял отправиться в поход.

— А где же твой друг Марк — Випсаний Агриппа? — продолжал Цезарь после некоторого молчания. — Я привык встречать вас, ровесников, вместе, и, не видя его, подумал, не заболел ли он?

— Увы, — вздохнул Октавий, — ты угадал, Цезарь! Агриппа заразился в лупанаре и теперь лежит. Его лечит старуха, делая примочки и заставляя лить настой из каких-то трав...

— О, молодежь, молодежь, — покачал головою Цезарь. — Побереги себя, Гай, от пагубной любви...

Октавий тонко улыбнулся.

— Ты знаешь, Цезарь, что я не любитель матрон и простибул. Ни одна красота, даже красота Венеры, не может соблазнить меня. Я ненавижу гинекократию и смотрю на женщину как на существо, способное поработить слабого духом мужа...

— Ты ошибаешься, Гай! Даже мужи, сильные духом, подвластны законам природы...

— В этом их слабость! Я согласен с неопифагорейцем Дидимом Ареем, который учит, что воздержание и умерщвление плоти — наивысшие добродетели...

— Но для кого и для чего эти добродетели? — возразил Лепид. — Если для внутреннего усовершенствования, то они способствуют отдалению от жизни, а если для чего-либо иного, то скажи, и мы с радостью послушаем тебя...

Но Октавий, нахмурившись, освободился из объятий Цезаря и отошел к Дециму Бруту и Гаю Кассию, обсуждавшим силы помпеянцев в Испании и меры, которые следовало бы предпринять против них.

Цезарь поспешил к Сервилии, оставленной Кальпурнией, удалившейся в триклиниум.

— О чем мечтает дорогая матрона? — обратился он к ней.

Очнулась, взглянула на него.

— О Цезаре, которого любила и который продолжает ее любить в образе Терции...

— Почему она не пришла? — смутившись, спросил Цезарь.

— Увы, муж ревнует ее, а слухи, сам знаешь, чаще всего не лишены правды...

В это время триклиниарх появился на пороге и возвестил, что всё для пиршества готово.

По знаку Цезаря гости веселой толпой направились к двери.

Статуя Клеопатры, изваянная Аркеэнлаем, вызвала всеобщее негодование в день освящения храма Венеры Родительницы. Но Цезарь не обращал внимания на общество: нобили, всадники, сенаторы? Он давно старался унижить сенат, пополняя его никому неизвестными людьми и гаруспиками. И, видя, что народ доволен празднествами, чувствовал силу на своей стороне.

Не раз наблюдал он за толпами, торопившимися в цирки: охота на диких зверей и бои гладиаторов происходили во всех кварталах для различных народностей Рима; наумахия, представляемая на искусственно вырытом озере, радовала пресыщенный глаз императора, и на трупы зверей, гладиаторов и моряков, погибших на потеху зрителей, смотрел равнодушно. Этот год тянулся медленно, длинный, пятнадцатимесячный, а Цезарь жаждал военной деятельности, и в первую очередь — победы над сыновьями Помпея.

Александрийские астрономы, во главе с Созигеном, прибыли раньше Клеопатры, а к концу года в Рим въехала египетская царица, окруженная толпой придворных.

Она остановилась во дворце Цезаря и жила под одной кровлей с обманываемой Кальпурнией. Общество, само развратное, негодовало, обвиняя Цезаря в разврате.

— Какой позор! — шептали сенаторы. — Он принимает любовницу в доме, где находится его супруга! Что скажут честная Туллия и неутешная Корнелия?

Даже друзья были недовольны, — это было видно по их лицам, однако Цезарь делал вид, что ничего не замечает.

На пиршестве, данном в честь Клеопатры, присутствовали друзья и сторонники Цезаря, а также Кальпурния. Она притворялась веселой и, беседуя с египетской царицей, громко восхищалась ее жемчужным ожерельем, стоившим десятки миллионов сестерциев, и богатым греко-восточным нарядом.

Гай Октавий, прислушиваясь к лстивой речи Кальпурнии, равнодушно смотрел на царицу. Да, она была прекрасна: стройная, выше среднего роста, с золотистой кожей обнаженных рук, с большими черными, несколько продолговатыми глазами, излучавшими ласковое сияние, со смуглым румянцем на щеках, она напоминала бы эллинку-гетеру, если бы головы ее не украшала царская диадема, усыпанная драгоценными камнями.

Беседуя с Цезарем, она взглянула на Октавия, не спускавшего с нее глаз, и опросила, кто он. Цезарь поспешил представить юношу.

— Ты смотрел на меня, как влюбленный, — певучим, голосом сказала Клеопатра, и в ее сияющих глазах Октавий ощутил ласку, — и это меня смутило...

— Прости, царица, — сдержанно ответил Октавий, — я не привык еще влюбляться...

— Привыкнешь, — уверенно засмеялась Клеопатра. — Ни один смертный не способен защитить себя от стрелы Амура... Правда, ты не смотрел на меня с таким восхищением, как муж, похожий на Геракла, которого я встретила на Палатине, но ты еще молод, у тебя нет, по-видимому, вкуса, потому что римлянки не могут похвалиться красотой и обаятельностью эллинок...

Октавий молчал. Его раздражала самоуверенность царицы, а преклонение Цезаря, его друзей и приверженцев возмущало.

«Неужели слухи справедливы? — думал он. — Гинекократия Клеопатры? Влюбленный Цезарь? Не может быть! Но в таком случае почему она живет в его доме? Любовь? Нет. Кальпурния не перенесла бы такого оскорбления».

Недоумевая, он следил за ними. Радость Цезаря, взгляды, которыми они обменивались, шопот. когда они возлежали за столом против него (беседовали по-гречески), — всё это волновало Октавия. В шуме голосов услышал певучую речь Клеопатры:

— Помнишь, ты обещал, когда станешь царем, жениться на мне?.. Добивайся же скорее короны, чтобы дать свое имя нашему сыну...

— Пусть носит он теперь мое имя... Назови его Цезарион... Довольна ли ты?

— Я рада, Гай... Но когда ты вызовешь меня в Рим и я стану для всех царицей мира, а для тебя — верной служанкой или рабыней, я смогу сказать себе: «Теперь душа моя спокойна, а сердце в руке Цезаря».

Затаив дыхание, Октавий смотрел остановившимися глазами на фиал, наполненный вином.

Подошел Бальб и, нагнувшись к императору, зашептался с ним.

— Пусть простят меня царица, друзья и дорогие гости, — вымолвил Цезарь, покидая ложе, — я отлучусь на две клепсы... спешное государственное дело...

В таблинуме дождался человек, покрытый с ног до головы грязью.

— Ты. Диохар? — вскричал Цезарь. — Что нового?

— Гней Помпей и Лабиен завоевывают Испанию. Спешу, господин, пока не поздно!

— Что? Уж не усомнился ли ты в звезде Цезаря?.. Однако ты прав: с помпеянами нужно кончить одним ударом и навсегда!

Ходил по таблинуму, покачивая головою: «Отложить парфянский поход ради этих щенят? Но я уже стар и успею ли выполнить, что задумал? В моих руках сосредоточены все государственные магистратуры... Пора принять теперь диктатуру, добиться избрания единственным консулом?..

— Консул без коллеги,¹⁷ — тихо выговорил он, останавливаясь.

— Что прикажешь, господин? — спросил Диохар, не расслышавший его слов.

— Позови Марка Эмилия Лепида...

— Ты прав, Цезарь! — сказал Бальб, когда Диохар вышел. — Так должно быть...

¹⁷ Единственный консул.

Диктатор и единственный консул... Это... это... автократор... монарх...

— И ты, Корнелий Бальб...

— Я, Оппий, Лепид, Октавий и Антоний готовы поддержать тебя...

— И Антоний? — задумался Цезарь. — Но я не могу простить его...

Лепид вбежал в сопровождении Диохара.

— На-днях я принимаю диктатуру, а тебя, Марк, назначаю начальником конницы...

— Но я, Цезарь, управляю ближней Испанией и Нарбоннской Галлией...

— Ничего, я разрешу тебе управлять провинциями при помощи легатов...

— Но сенат...

— Сенат? — побагровел Цезарь. — Что такое сенат? Я сам сенат и делаю, что нужно. Сенат только скрепляет мои распоряжения. — И, успокоившись, прибавил: — Предстоит война с сыновьями Помпея, и ты, Марк Лепид, будешь управлять Италией... Под твоим ведением и под руководством Бальба и Оппия должны находиться восемь городских префектов, которые будут исполнять обязанности преторов и квесторов и управлять казначейством.

Из триклиниума доносились звуки арф, кифар, систров и флейт, иногда нежно пела лира, а Цезарь ничего не слышал, — думал.

Отпустив Бальба и Лепида, он приказал невольнице египтянке вызвать незаметно для гостей царицу. Хмурясь, Клеопатра вошла в таблинум.

— Что тебе нужно? — с раздражением спросила она. — Пир еще не кончился, и я...

— Я хотел предупредить тебя, чтобы ты завтра утром выехала из Рима...

— Гонишь? — вскричала царица. — Меня, дочь Лагида? Меня...

— Тише. Зачем гневаешься? Ты должна покинуть Рим, — начинается война с сыновьями Помпея...

Он хотел обнять ее и проститься, но Клеопатра увернулась со смехом.

— Простимся ночью в кубикююме, — молвила она. — Рабыня проводит тебя...

Желая до отъезда своего в Испанию сдержать обещание о наделе ветеранов землею, Цезарь, решив возобновить свой аграрный закон, обнародованный в начале триумvirата, приказал произвести розыски в Италии и Цизальпинской Галлии остатков общественных земель, а также полей, купленных у частных лиц.

В обществе распространились слухи, вызывавшие ужас. Нобили, привыкшие не доверять Цезарю, роптали:

— Он лжет, утверждая, что дело в общественных землях!

— Он пошел путями Суллы!

— О горе! Когда, наконец, мы избавимся от диктатуры этого демагога?

Так говорили оптиматы, владевшие крупными участками земель, но, узнав, что слухи преувеличены, несколько успокоились.

А диктатор, не помышляя о страхах нобилей и недовольстве народа (комиции не были созваны), уезжал в это время из Италии. С ним ехали скрибы, которым он решил диктовать своего «Анти-Катона» — книгу, задуманную с той целью, чтобы опровергнуть республиканскую идеологию и нанести ей такой же сокрушающий удар, какой должны были получить помпеянцы в Испании.

XV

Цицерон ухаживал за юной миловидной Публилией, опекуном которой стал после смерти ее отца. Ему исполнилось шестьдесят три года, ей — четырнадцать.

Он знал, что в Риме посмеиваются над разводом его с Теренцией (сплетни о любовной связи ее с Филотимом довели его до бешенства) и ухаживаниями за Публилией, но делал вид, что ничего не замечает. А Теренция распускала слухи о его любви, однако Тирон опровергая их, доказывая, что Цицерон если и женится, то для того, чтобы поправить свои денежные дела.

Но старик, действительно, увлекся опекаемой девушкой. Смуглая, веселая, она бегала в одной тунике яз атриума в таблиум и в кубикулум, оживляя дом смехом и песнями. А после свадьбы, отпразднованной в Тускулуме, она подчинила его себе.

Однако, счастливые дни оратора были омрачены столкновениями юной жены с Туллией. Хмурая и раздражительная, дочь не могла простить отцу развода с матерью и смотрела на мачеху как на любовницу его. Она задевала ее и жаловалась Цицерону на беспокоившие ее песни Публилии.

Наконец, она слегла и вскоре умерла от тяжелых родов. Велико было горе Цицерона, потерявшего любимую дочь! Он не находил себе места.

— О боги, — шептал он дрожащими губами, — долго ли еще будете наносить мне удары? Почему я должен пережить друзей и родных, остаться одиноким?

— Одиноким? — удивилась Публилия. — Разве у тебя нет любящей жены?

— Увы, Публилия! Я так любил Туллию...

Но Публилия, довольная смертью падчерицы, села ему на колени и сказала:

— Теперь мы заживем, Марк, счастливо и мирно. С начала моего замужества она ворчала и бранилась, и я не видела ни одного тихого ясного дня.

И она запела песню, закружившись в атриуме. Цицерон побагровел.

— Публилия! — яростно крикнул он. — Ты радуешься ее смерти?

Побледнев, Публилия вымолвила сквозь слезы:

— Не кричи. Разве я виновата, что она умерла? Цицерон встал и вышел на улицу.

Несколько дней он не возвращался домой, поселившись у Гиртия, и, наконец, поручил ему отправиться к Публилии с разводным письмом.

Она зарыдала, узнав о решении Цицерона, и стала посылать к нему рабынь с эпистолами, но оратор был непреклонен: радость жены по поводу смерти дочери он считал преступлением и на ее письма отвечал лаконически: «Оставь мой дом». Гиртий, видя его удрученность, предложил ему в жены свою сестру. Но Цицерон грустно покачал головою: — Я достаточно наказан, что женился на юной девушке. Теперь я вижу, что неудобно заниматься одновременно женщиной и философией, потому что страсть, хотя бы и старческая, рассеивает мудрые мысли.

Цицерон получал эпистолы с выражением соболезнования по поводу смерти дочери: Цезарь писал из Испании, старый друг Сульпций, знаменитый правовед, из Эллады, которой он управлял, писали Атик, Брут, Долабелла, десятки и сотни знакомых и неизвестных людей.

Особенно взволновала его эпистола Сульпиция: «Когда я возвращался из Азии, направляясь из Эгины в Мегару, я смотрел на страну, лежавшую передо мною: против меня была Мегара, сзади — Эгина, направо Пирей, а налево Коринф. Некогда это были цветущие города, а теперь — развалины. И, созерцая их, я сказал себе: «Как смеем мы, жалкие смертные со своей краткой жизнью, жаловаться на чью-либо

смерть, когда видим вместо стольких городов, бывших великими, одни мертвые развалины?»

Диктуя Тируну ответ, Цицерон плакал:

— «...у меня, дорогой Сульпиций, оставалась дочь. Было где отдохнуть и преклонить голову. Беседуя с ней, я забывал горести и заботы...»

Он всхлипнул и продолжал шептать прерывистым старческим голосом. Вдруг лицо его сморщилось, но он овладел собою:

— «...до этого времени я находил в семье средство, чтобы забыть о несчастьях республики. Но что может предложить мне республика, чтобы я забыл о несчастьях семьи? Я должен избегать свой дом и форум, ибо дом не утешает меня в горестях, причиняемых республикой, а республика не может заполнить пустоту моего дома».

В этот вечер он задумал написать на смерть дочери сочинение, увековечивающее ее имя, и назвал его «De consolatione». ¹⁸

Мысли Тирана были иные: «Настолько ли виноват Долабелла, чтобы порицать его за любовные увлечения? Он любит веселых девушек и женщин, а Туллия была сухая телом и душою; плоская, как рыба, некрасивая, начиненная философскими рассуждениями. Кому нужна такая жена? Наверно, она и любила по-философски, избегая телесного общения, а такая женщина — горе и несчастье для мужа. И не таким ли горем, несчастьем для Публилии был бы через некоторое время Цицерон? Импотентный старик, с дрожащими руками, расстроенным желудком и иными немощами. Как я рад, что он отказался от женитьбы на сестре Гиртия!»

— Напиши Аттику, — прервал Цицерон его размышления, — что я благодарю его за заботы о ребенке Туллии и частые посещения кормилицы. Пусть он уговорит Теренцию сделать завещание в мою пользу и запретит Публилии добиваться свидания со мною.

Тиран, не возражая, писал. Скорбная складка залегла у него между бровей, — он жалел господина, которого любил всем сердцем.

Дни и ночи работал Цицерон над сочинением «De finibus bonorum et malorum», ¹⁹ изредка отрываясь, чтобы заняться своей любимой «Academica». Стихи он отложил, решив возвратиться к ним, как только успокоится от волнений, ниспосланных судьбою. Обширная переписка с рабами и клиентами, с Аттиком и Квинтом была сведена к нескольким безотлагательным эпистолам.

— Сын мой, — говорил Цицерон, обнимая каждое утро и целуя любимого волноотпущенника, — прости, что я надоедаю тебе, глаза твои красны от непосильной работы, но труд, задуманный мною, должен быть завершен...

— Господин мой, — отвечал Тиран, целуя ему руку, — ты знаешь мою любовь, преданность и готовность помогать тебе...

— Да наградят тебя боги, Тиран! Когда я умру, ты отдохнешь...

Вольноотпущенник, скрывая слезы, опустил голову.

— Господин, я слабее тебя телом, — шепнул он, — и не тебе первому говорить о смерти...

Цицерон с грустью взглянул на него.

— Я устал жить, Тиран, очень устал... Нет никого у меня из близких, кроме тебя и

¹⁸ Об утешении.

¹⁹ О пределах добра и зла.

Аттика... Но у Аттика свои дела, а ты всегда при мне...

— Ты забыл, господин, — упрекнул его вольноотпущенник, — что у тебя есть брат Квинт и сын Марк...

— Увы, сын мой, они не так любят меня, как ты...

Тирон вздохнул. Да, они мало любили оратора и писателя. Квинт, неудачно женившийся на Помпони, сварливой сестре Аттика, находился под влиянием раба Стация, и это возмущало жену. Бешеные ссоры супругов кончались нередко взаимными оскорблениями, грязными намеками на власть раба над господином. Квинт готов был избить жену, но Стаций выпроваживал его из дому и нередко сопровождал в таберну «Галльский петух», где они пьянствовали в обществе гладиаторов и простибул до самого рассвета. И если Квинту мало было дела до знаменитого брата, то Марку еще меньше. С отроческого возраста он не любил риторики и не хотел учиться, а в Афинах, куда был послан к ритору Горгию, вместо учения посвящал время попойкам и празднествам. Фалернское и хиосское вина стали его страстью. Тирон упрекал его в лени и расточительности, но Марк писал эпистолы, в которых клялся, что уже исправился.

«При Фарсале он начальствовал над турмой всадников, — думал Тирон, — но что пользы в мече, когда голова пуста? Цезарь помиловал его, а что он будет делать? Уедет в Афины?»

Таковы были брат и сын Цицерона. И Тирон, думая о них, соглашался с оратором, что ближе всех для него — он, бывший *verna*.

Слыша кругом обвинения Цезаря, Цицерон молчал, думая:

«Его упрекают в том, что он дал свое имя сыну Клеопатры, учредил новую магистратуру — восемь городских префектов, стремится к царской власти, клеветает на Катона»...

Взглянул на лежавшего на столе «Анти-Катона»; книга, изданная Аттиком, недавно появилась на книжном рынке, и о ней говорил весь Рим. Цицерон не знал, как держать себя: восхвалять или порицать диктатора. Но так как похвалы легко кружили голову честолюбивого старика, а Цезарь восхвалял его, называя знаменитым оратором, то Цицерон кликнул Тирона и продиктовал ему благодарственную эпистолу к диктатору.

— Пошли ее через Бальба или Долабеллу, — шепнул он, — но помни — Аттик не должен знать об этом.

Тирон молча запечатывал письмо воском.

— Вчера, сын мой, прошел срок, данный мною Долабелле. Скажи, думает ли он возвратить приданое Туллии? Говоришь, он не вносит денег даже по частям? Негодный человек! Это он, он вогнал ее в гроб, а теперь препятствует воздвигнуть ей мавзолей!..

— Господин мой, когда я сказал ему об этом, он ответил: «Оратор может взять денег у ростовщика Аттика, своего друга».

Цицерон побагровел.

— К счастью, — продолжал Тирон, не замечая его гнева, — я могу обрадовать тебя: горячий почитатель твой Клювий завещал тебе богатое наследство. Возблагодари же богов, господин мой, за милость их и успокойся.

— Клювий умер? — вскричал оратор. — О благородный муж, мой благодетель, с сердцем, преисполненным любви и доброты! Я воздвигну тебе мавзолей, и каждый год буду чтить твою память и умолять Аида о милосердии к тебе!..

Взволнованно ходил по таблинуму. Мысли его приняли иное направление, когда

взгляд упал на черновики эпистолы, написанной, но не посланной Цезарю.

Это было письмо, составленное под влиянием эпистолы Аристотеля к Александру Македонскому: Цицерон советовал Цезарю, по мнению великого философа, управлять народами Азии, как монарху, и Италией — как первому гражданину, соблюдающему республиканские учреждения.

— Что советует Аттик, по поводу этого письма? Следует ли послать его лысому?

— Аттик сказал, чтобы ты поговорил с Олпием и Бальбом...

Цицерон нахмурился.

— Зачем? Аттик против этой эпистолы?.. Ты не договариваешь чего-то, мой сын!

Тирон смущенно опустил голову.

— Да, Аттик против, — сказал он, — а так как он уверен, что Опий и Бальб отсоветуют тебе посылать письмо, то...

— Понимаю! Лысый не потерпит советов старого дурака!.. Не поговорить ли мне с Требонием?

— С Требонием? — вскричал Тирон. — А разве ты не знаешь, что он принадлежит к правому крылу цезарьянцев, которые недовольны диктатором? Он завистлив, зол, считает себя обиженным, что другие осыпаны большими милостями, чем он, и, говорят, сблизился с аристократией, обвиняет Цезаря за аграрный закон...

— Все они обвиняют, боясь возвышения плебса! — махнул рукою Цицерон. — Но как сопоставить заботы диктатора о простом народе и уменьшение бесплатной выдачи хлеба беднякам? Получали хлеб триста двадцать тысяч, а теперь только сто пятьдесят тысяч...

Тирон молчал.

— Не понимаешь? — продолжал Цицерон. — А я понимаю. Это, сын мой, демагогия, и мы будем свидетелями еще не таких безбожных деяний!

XVI

Цезарь наступал на Кордубу во главе восьми легионов, имея против себя тринадцать легионов под начальствованием сыновей Помпея, старого Лабиена и Аттия Вара.

Страдая припадками падучей, уставший от длительной борьбы, плохо подготовленный к войне, он, кроме того, был удручен голодом в лагере, хмурыми лицами ветеранов. Несколько сгорбленный, с морщинистым лицом, он, появляясь перед легионами, брал себя в руки: глаза его весело сверкали, с губ срывались шутки и обещания высоких наград.

— Коллеги, — спрашивал он ветеранов, встречавших и провожавших его громкими криками «слава, слава», — разобьем помпеянцев? Могу надеяться на вас?

— Ты сказал, император! — гремели легионы, и морщины разглаживались на лице Цезаря, а в глазах появлялась прежняя уверенность в победе.

Эту ночь он провел в шатре, раздумывая над эпистолами, полученными от Оппия и Бальба: один сообщал о разводе Брута с дочерью Аппия Клавдия и женитьбе на красавице Порции, дочери Катона и вдове Бибула, другой — об увеличивающемся расколе в рядах цезарьянцев.

Оппий писал:

«Ты осыпал Брута милостями ради Сервилии (не гневайся, господин, за откровенность), но он — приверженец аристократии, которая тебе ненавистна, друг Цицерона и помпеянцев. Женитьба же на Порции не предвещает ничего хорошего,

хотя Сервилия старалась расстроить этот брак. Берегись и не доверяй Бруту, который как будто к тебе расположен. Сегодня твой, завтра он может принять сторону врага. Помни: не может быть мира между цезарьянцем и помпеянцем!»

«Советы Цезарю! Зачем? Как будто предрешенное можно изменить!» — подумал он и взял эпистола Бальба.

«В Риме только и слышно: «Что несет Цезарь отечеству — тиранию или свободу?» Одни горою стоят за тебя, другие — недовольны и колеблются. Антоний, с которым я виделся на днях, прославляет тебя, хотя ты отстранил его от государственных дел и не пожелал видеть. Он говорил, что друзья твои должны добиваться для тебя царской власти. Да, я согласен с ним, но сейчас не время: нужно выждать. Когда ты разобьешь помпеянцев и выйдешь победителем из парфянского похода, путь к монархии будет расчищен. Антоний говорит, что нужно провозгласить тебя после победоносной испанской войны... Возвращайся, господин, поскорее в Рим, иначе помпеянцы попытаются склонить на свою сторону недовольных из числа твоих сторонников, а тогда начнутся волнения в городе и битвы на форуме. Скажу откровенно — Лепид не Антоний: он не сумел бы подавить мятежа»...

— Трусы! — шепнул он. — Боятся мелких волнений, когда я не страшусь превосходства вражеских легионов и надеюсь раздавить их!..

Мысли были прерваны воем труб и топотом тяжелых калиг. Легионы строились перед Преторией и, не дожидаясь полководца, выходили на каменистую дорогу.

Цезарь смотрел с претории на уходившие войска. Ждал известий. Вскоре начальник разведчиков донес, что Гней Помпей, ожесточившийся под влиянием неудач, поклялся на военном совете победить или умереть.

— Он говорил, что у него осталось одно в жизни — это сыновний долг, и нет силы в мире, которая помешала бы ему отомстить за смерть отца...

Образ Помпея Великого возник перед глазами Цезаря: широкое мужественное лицо с седой гривой волос и горячими юношескими глазами раздваивалось, — выступало красивое лицо сына с орлиным носом, тонкими губами и черными волосами.

«Гней Помпей, орленок, посягающий на мощь и волю державного орла!» — подумал император.

А там старый Лабиев, и молодые — сын его и Секст... Что привело его, Цезаря, к смертельной борьбе с друзьями, во имя чего он попрал дружбу, родство и ввергнул республику в тягчайшие бедствия?

— Коня! — закричал он и через минуту мчался уже по дороге, приветствуемый легионами.

Вдали возвышались каменные стены горной крепости Мунда, а перед ней простиралась зеленая равнина, на которой строились войска помпеянцев.

Весь день шел яростный бой. Трудно было сломить дикую злобу и отчаянное мужество помпеянцев. Цезарь сражался в первом ряду, — его щит был пробит сотней копий и стрел. Лязг мечей и жужжание камней, стоны раненых, крики убиваемых — звуки привычные для его уха. Сражаясь, полководец ободрял воинов. Издали видел старого Лабиева и Гнея Помпея, руководивших битвой.

Наступал вечер, а судьба боя оставалась нерешенной. Была минута, страшная, как лезвие меча, направленное в грудь: ветераны дрогнули, смешались. Цезарь едва не был разбит и приготовился броситься на меч.

Взял себя в руки.

— Вперед, коллеги! — закричал он. — Они не устоят перед нами!

Оставив поле, послал приказание Богуду обрушиться всеми силами мавританской конницы на правое крыло помпеянцев и ударить им в тыл.

Смотрел — Лабиен отводит когорты — и вдруг, вскочив на коня, вздумал обмануть воинов, смутить неприятеля.

— Бегут, бегут! — закричал он и помчался в гущу боя.

Ветераны подхватили его крик и ударили одновременно с конницей Богуда.

Замешательство охватило помпеянцев. Бежали воины, трибуны и вожди вражеских легионов. Битва сменилась бойней. Лабиен и Вар погибли, сражаясь рядом.

Гней Помпей, тяжело раненный, ползком пробирался к лесу с несколькими друзьями. В сумерках они натыкались на кучи трупов, пачкали одежду и руки в крови.

Гней думал: «Притаиться, бежать, продолжать борьбу... Тень отца требует мести. Кто убьет тирана? Кто освободит Рим от его владычества?»

В лесу они укрылись в пещере. Усталые, голодные, они спали на сырой земле, сжимая мечи. Шум голосов и ржание лошадей разбудили их.

В пещеру ворвались ветераны. Смертельная схватка происходила при свете единственного факела.

Гнем хотел броситься на меч, но не мог подняться: в боку сочилась рана, и каждое движение вызывало нестерпимую боль.

Друзья были перебиты, только жив еще он один, сын Помпея Великого!

Узнав Гнея, ветераны с яростью набросились на него: кололи копьями рубили мечами, хотя он давно уже перестал стонать.

Сообщая в Рим о победах, Цезарь писал:

«При Мунде убито тридцать три тысячи помпеянцев; остальные бежали. В Мунде заперлось четырнадцать тысяч, осадить которые был приказано легату Фабию Максиму; нагромоздив валы из трупов, легат ворвался в город, — помпеянцы пали с оружием в руках. А двадцать тысяч, укрывшихся в Кордубе, я истребил... Старый Лабиен, Аттий Вар и Гнен Помпей погибли, а на север бежали молодой Квинт Лабиен и Секст Помпей. Но они не опасны, поскольку молоды и не блещут военными дарованиями. В Испании я должен основать несколько колоний для воинов, получивших отставку, в первую очередь — в Гипсале, Тарраконе и Новом Карфагене; затем отправлюсь в Нарбоннскую Галлию для раздачи земель ветеранам: воинам X легиона — в окрестностях Нарбонны, а VI — неподалеку от Арелата.

Заселение Галлии Трансальпийской и земель Массалии, Нарбонны, начатое мною в прошлом году, продолжается; основан ряд городов. А в Испании, Африке и Элладе заложу новые города и воздвигну из грузов Коринф и Карфаген. Подобно тому, как Сулла романизировал Италию, я совершу то же в отношении провинций».

Но Опций и Бальб усиленно звали его в Рим.

«Да, я там нужен, — думал Цезарь, — необходимы хотя бы временные уступки аристократам, дарование прав провинциалам, десятки новых законов, сотни постановлений. Проводя их в жизнь, буду готовиться к парфянскому походу».

Мелькали дни, проходили недели. Наконец он написал в Рим о скором своем возвращении.

XVII

— Гражданская война кончена битвой при Мунде, — говорили Опций и Бальб и, восхваляя Цезаря, предложили вотировать ему новые почести.

Мужь, преданные диктатору, обсуждали с Оппием и Бальбом, какие почести преподнести Цезарю.

— Я думаю, — сказал Оппий, — что следовало бы даровать ему наследственный титул императора, право назначать консулов на десять лет и предлагать кандидатов в эдилы и народные трибуны.

— Хорошо, — согласился Бальб, слыша рукоплескания и одобрителный говор цезарьянцев, — но я хочу предложить, чтобы все магистраты отправились навстречу диктатору и сопровождали его в столицу...

Предложение было принято.

— Друзья, — нерешительно сказал Лепид, оправляя на себе тогу и избегая смотреть на цезарьянцев, — здесь собрались не все сторонники диктатора... Говорят, есть недовольные, которые утверждают вместе с нобилиями, что поскольку гражданская война кончена, диктатура больше не нужна. Но так ли это? Уничтожить диктатуру значит дать повод к новым волнениям: разве мало осталось помпеянцев, которые, прикрываясь приверженностью к новой власти, возбуждают народ такими речами: «Будет ли Цезарь управлять как тиран или дарует отечеству свободу?» И я спрашиваю всех, независимо от того, довольны они или нет: согласны ли вы с предложениями Оппия и Бальба?

— Согласны, согласны!

— А если согласны, — заключил Лепид, — пора готовиться к встрече победителя!

Цезарьянцы отправлялись в Цизальпинскую Галлию. Кроме Оппия и Бальба, были здесь сенаторы, выдающиеся магистраты, мрачный Требоний, недовольный диктатурой Цезаря, Брут, обеспокоенный своим браком с Порцией, даже Антоний, решивший испросить прощение.

Цезарь был ласков со всеми: обнял Требония, похвачил Брута за управление провинцией, пригласил Антония занять место в лектике, рядом с собою.

Прибыв в Рим, он тотчас же сделал уступки аристократам, отменил должность городских префектов, сложил с себя единоличнй консулат, созвал комиции, назначил обычных магистратов и предложил выбрать консулами Фабия Максима и Требония.

Общество успокоилось.

После испанского триумфа Цезарь почувствовал себя плохо: припадкь падучей усилились, к ним прибавились частые недомогания, но об отдыхе он не думал, — мысль о Парфии не давала покоя.

Пока шли приготовления к походу, он провел закон об иностранных колониях. Это было возобновление закона Гая Гракха, и набор колонистов производился из числа воинов, бедных квиритов и вольноотпущенников.

После переселения восьмидесяти тысяч человек, начались частые заседания в курии Помпея под председательством Цезаря, и каждый день приносил изумленному Риму новые постановления.

— Отвести течение Тибра, осушить понтинские болота, — говорил диктатор, — углубить реку на всем протяжении, чтобы в Тибр могли далеко входить морские суда... Марсово поле перенести к подножию Ватиканского холма, а освободившееся место застроить красивыми зданиями... Провести дорогу через Албанскую гору, а в Остии соорудить большую гавань, для чего призвать на работы пролетариев и предпринимателей... Прорыть коринфский перешеек... Поручить Варрону основать в Риме библиотеки... Собрать все законы в один свод... Все эти постановления мы проведем в жизнь, когда у нас будут средства, а деньги получим, завоевав Парфию,

отомстив за смерть Красса Богатого, доблестного триумвира, изменнически убитого со своим молодым сыном...

Антоний страстно поддерживал Цезаря:

— Без завоевания Парфии немисливо благосостояние государства, — говорил он в сенате, — и диктатор прав, готовясь к этому походу. Слышали ли вы, отцы государства, о задуманных императором мероприятиях? Пусть нобили насмежаются над ними, как насмехались над исправлением календаря, — мы прощаем дуракам их природную глупость. Пусть замолчат враги, утверждающие, что продажа имений погибших помпеянцев подобна разбою! Для ведения парфянской войны нужны крупные средства, и мы займемся продажей общественных и храмовых земель... И если некоторые лица купили виллы за бесценок, то это их счастье, и постыдно обвинять в беззакониях военных трибунов, центурионов и вольноотпущенников!

Сенаторы молчали.

— А почему вместо того, чтобы злословить, никто не говорит о романизации? Население Гадеса и транспаданцы получили права гражданства, латинское право получал ряд галльских городов, получила и Утика... Разве это несправедливо? Довольно оптиматам сечь провинциалов фасциями! Пора отказаться от диких нравов — ведь мы не варвары! Вот, отцы государства, права, полученные провинциалами при единой державии Цезаря, и неудивительно, что эти люди восхваляют его! А мы? За что мы должны благодарить императора и диктатора, нашего отца и героя? Всюду латинский язык стал государственным, а муниципальный закон, основа управления италийскими городами, утвержден народом; монета чеканится опытными египетскими рабами, и на общественные должности допущены рабы и вольноотпущенники... Врачи и преподаватели свободных искусств получили права гражданства, долговые обязательства изменены: теперь оценка имений производится согласно стоимости до гражданской войны, и если займодавец теряет четвертую часть ссуды, то это на пользу нуждающимся. Усилена кара за убийства: богачи лишаются всего имущества и отправляются в изгнание, а прочие — только половины имущества. Приказано скотоводам набирать треть пастухов из свободных граждан; в колониях расселено восемьдесят тысяч человек; детям простолудинов разрешено добиваться магистратур. Знаю, нобилиям всё это не нравится, но не нужно забывать, что римлян осталось немного — они смешались с различными народностями... Даже на улицах видишь больше чужеземцев, чем римлян! Так почему же вы, недовольные, мешаете Цезарю работать? Может быть, вы — помпеянцы? А если это так, то не мечтаете ли отомстить за Помпея? Напрасный труд! Сами боги помогли императору победить триумвира, который поддерживал аристократию, а потом бесславно погиб в Египте!

Цезарь слушал с удовольствием речь Антония.

— Он стремится к царской власти! — крикнул кто-то. Наступила тишина. Антоний взглянул на бледное лицо императора.

— Не первый раз слышу я эти лживые наветы врагов, злодеев и завистников, — сказал Цезарь, — и только первый раз могу возразить, — войны, государственные дела и общественная деятельность мешали мне оправдаться. Теперь, когда республика существует только по имени, как во времена Суллы, только глупый муж осмелился бы сложить с себя диктатуру и подвергнуть отечество опасности. Меня обвиняют в стремлении к царской власти. Если бы это было так, то как поступил бы я с невольниками, вольноотпущенниками и плебеями? Даровал бы права гражданства

провинциалам? Конечно, нет! Я утвердил бы господство олигархов, подчинив их своей власти! Поэтому, квиристы, утверждение, что я стремлюсь к царской власти, ложно, и хотя я усыновил Гая Октавия, племянника моей сестры, то вовсе не потому, что, не имея сына, желаю сделать его своим наследником с титулом императора, а просто оттого, что нужно же кому-нибудь передать, в случае смерти, свои незаконченные дела! И преемник мой будет так же, как и я, трудиться для блага отечества.

Долабелла тронул его за плечо.

— Не волнуйся, император! Какое имеет право эта толпа спрашивать у тебя отчета?

Выйдя из курии, Цезарь остановился:

— Вернись в курию, — сказал он Долабелле, — и шепни Антонию и Лепиду, чтоб они зашли ко мне. Приходи и ты с ними...

В таблинуме Цезарь растянулся на ложе и, полузакрыв глаза, отдыхал. Старался ни о чем не думать, как предписал врач, но мысли назойливо лезли. Он думал о том, что в Аполлонию послан Гай Октавий во главе шестнадцати легионов и с ним поехал Агриппа, что в Деметриаде склады полны оружия, что нищая молодежь, жаждая обогатиться в Парфии, поступает в легионы в качестве волонтеров и что денег собрано еще мало...

Все его мысли, распоряжения, государственные средства, — всё было сосредоточено на этом деле, которое, в случае успеха (а он ни на мгновение не сомневался в нем), дало бы ему неограниченную власть не только над провинциями, но и над всей Италией, власть, которой он добивался с упорством, к которой шел всю жизнь и для достижения которой положил немало трудов, хитрости, обмана и холодного коварства.

Однако власти диктатора оказалось мало: власть, лелеемая им, была монархия, но магистраты и римский народ приходили в ужас при мысли, что могут повториться страшные дни Суллы, а воспоминания, передававшиеся из рода в род, о римских царях пестрели пятнами крови, неслыханными насилиями.

Парфянский поход стал его целью, а следствием должна была быть корона. Это понимали все сенаторы, и на бледном лице Кассия при встрече с Цезарем или Брутом мелькало недоумение: «Неужели Цезарь будет царем?»

Пришли Антоний и Лепид. Не торопясь, беседовал с ними о парфянском походе, хотя знал, что в прихожей толпятся знатнейшие мужи республики, ожидая часами его выхода, как царя...

Антоний и Лепид встали почти одновременно. Целуя руку Цезаря, Лепид сказал:

— Так не забудь же, умоляю тебя богами, великий Цезарь, прибыть ко мне на пиршество...

Цезарь кивнул и, взглянув на Антония, преданно смотревшего на него, улыбнулся:

— Что скажешь еще, друг? В твоих глазах я вижу радость...

— Я, Цезарь, радуюсь, что живу с тобой в одно время и могу служить тебе не только как преданный слуга, но как друг, коллега и советник! Правда, я не обладаю столь светлым и проникновенным умом, как ты, но ты, вероятно, не забыл, что в боевых действиях в Галлии я был твоим прилежным учеником...

— Я ценю тебя, Антоний, люблю и уважаю. И тебя также, Лепид! Надеюсь на вашу дружбу и помощь в военных и государственных делах.

Оба, преклонив колени, говорили:

— Ты, Цезарь, должен быть царем, и мы поможем тебе сломить упорство завистников, старых ослов и притаившихся помпеянцев!..

XVIII

Воспользовавшись хорошим настроением Цезаря, Оппий пригласил его на празднество в загородную виллу.

— Господин, там отдыхая от государственных дел, ты будешь веселиться, ни о чем не думая. Да поможет мне твоя покровительница Венера убедить тебя!

— Когда состоится празднество? — спросил Цезарь.

— До Сатурналий, господин мой! — поспешно ответил Оппий, боясь, что император откажется.

Цезарь кивнул, и обрадованный Оппий, возвратившись домой, тотчас же послал гонца к Эрато, приказав готовиться к пиру.

В таблинуме остались Антоний, Бальб, Кассий, Брут и Цицерон.

Цезарь был весел. Обращаясь к Цицерону, который, как ему было известно, скорбел о республике, он сказал:

— Не пора ли, друзья, дать полную амнистию (это твое слово, Цицерон!) помпеянцам? Теперь они для нас не опасны, а я забочусь о мире в Италии и провинциях. Поэтому я хочу разрешить им вернуться в Италию, а вдовам и сыновьям погибших возвращу часть отнятого имущества.

Кассий, Брут и Цицерон захлопали в ладоши. Молчали только Антоний и Бальб.

— Что же вы? — обратился к ним Цезарь. — Разве вы не согласны с моим решением?

— Не будь доверчив, император, — твердо сказал Антоний. — Помпеянцев мы знаем, — они готовы предать тебя...

— Или убить, — покосился Бальб на Цицерона. Оратор побледнел, встретившись с ним глазами.

— Я не думаю, чтобы император и диктатор нуждался в советах даже друзей, — вымолвил он, едва владея собою. — А слово Цезаря — тверже камня и для нас закон.

— Это так, — согласился Бальб, — но император выразил свою мысль не в виде окончательного решения...

Цицерон поспешно прервал его:

— Общество давно ждет содружества всех сословий в работе на пользу отечества. И, конечно, Цезарь помнит мои слова в благодарственной речи за помилованного Марцелла: «Мне больно видеть, что судьба республики зависит от жизни одного человека...» Ибо республика, Цезарь, не может оставаться в том виде, как она есть...

— Я предпочитаю смерть жизни тирана, — перебил Цезарь, — но почему ты, консуляр, знаменитый оратор и писатель, повторяешь всюду, что всё потеряно, что тебе стыдно быть рабом и совестно жить? Ты несправедлив, подвергая насмешкам полезные мероприятия и справедливые действия. Не ты ли насмеялся над исправлением календаря, над магистратами, которые работают по моим указаниям, а не по своему усмотрению, над ограничением власти жадных правителей, грабящих провинциалов? В речи «За Марцелла» ты умолял меня беречь свою жизнь, а когда сенат приказал поставить мою статью рядом со статуями семи царей, ты ехидно заметил: «Очень рад, видя Цезаря так близко от Ромула!»

— Цезарь, я сказал без злого умысла...

— Лжешь! — резко перебил Антоний. — Ты намекал на убийство Ромула сенаторами!.. Ты осмелился задеть божественного императора...

Побледнев, Цицерон направился к двери. Никто его не удерживал — даже Брут, любивший его, молчал.

Когда оратор вышел, Цезарь говорил, пожимая плечами:

— Всегда он был такой, не имел своего мнения, метался между мной и Помпеем, присматривался, на какой стороне выгоднее, и вечно ворчал, порицая и осмеивая своих друзей. Но что сказано — решено: я дарую амнистию помпеянцам и позабочусь, чтоб они были допущены к магистратурам, а права народа уважались...

Помолчав, взглянул на друзей:

— Не забудьте о пиршестве в загородной вилле Оппия...

Все поняли, что беседа кончена, и, толпясь, прощались с Цезарем: одни целовали ему руки, другие грудь, шею, третьи щеки и лысину.

— Останься, — удержал император Антония, — ты мне нужен.

Поглаживая черную окладистую бороду, тучный краснощекий муж стоял веред Цезарем, не смея сесть без приглашения.

— Садись, друг, — приветливо сказал диктатор, — ты, конечно, понял, почему я делаю уступки аристократам. Отправляясь в Парфию, я не должен иметь врагов в Италии. Поэтому, прежде чем даровать амнистию помпеянцам, я хотел бы удвоить число квесторов, с тем, чтобы одна половина выбиралась народом, а другая предлагалась мною комициям; что же касается консулов, то право назначать их останется за мною, а народ пусть избирает курульных эдилов...

— Обе стороны должны быть довольны, — заметил Антоний.

— Кроме того, я предложу рогацию о восстановлении угасших патрицианских фамилий... Но все эти мероприятия намечены на будущий год. А теперь, когда я имею право предлагать комициям кандидатуры магистратов, пусть народ утверждает их.

— Кого же ты наметил, император? — с затаенным дыханием спросил Антоний.

— Брут и Кассий должны быть награждены. Ты, Антоний, будешь моим коллегой по консулату., твой брат Гай получит претуру, а брат Люций — народный трибунат.

— Ты мудр, император! — повеселев, вымолвил Антоний. — За заботы о государстве сенат должен утвердить тебе высшие почести.

Цезарь не возражал.

Распределение должностей вызвало возбуждение в столице.

— Как, один муж назначает магистратов? Какое он имеет право? — роптали аристократы. — Неужели республика перестала существовать?

— Республика? — ехидничал Цицерон. — Лысый говорит, что она умерла... А если это так, то разве диктатор с наследственным титулом императора не является единодержавным правителем, или царем?

— Позор!

Однако намеченные лица были выбраны. Видя всеобщее неудовольствие, Цезарь объявил об уступках, и все, казалось, были довольны.

— Ты ошибся, Марк Туллий, — говорил Цицерону Требоний. — Плебс и аристократия получили права, а это значит, что...

— Не обольщай себя надеждами, — сказал оратор, — лысого мы знаем — хитроумный демагог! Не удивляйся, если он даст амнистию помпеянцам, а потом передумает их поодиночке... Не так ли поступил он с Марцеллом?

— То, чего нельзя доказать, спорно. Разве твой друг Брут не защищал его с жаром от этого обвинения?

— Брут... Брут... Он ослеплен милостями Цезаря... Не забывай, что уступками нельзя купить республиканское общество. Нобили боятся, что Цезарь, возвратившись

из Парфии победителем, станет автократом, а ведь это, друг, опаснее диктатуры... Что? Ты уверен в его победе? Нет, он погибнет так же, как Кресе: боги жестоко карают тех, кто нарушает мирные договоры ради корыстолюбия.

Подошли Кассий и Брут. Цицерон несколько смутился. После взаимных приветствий Кассий спросил:

— Беседа, кажется, была о Цезаре? Да, великий муж. украшение нашего века... Парфянская война, без сомнения, возвеличит его еще больше...

— Парфня, Парфия! — едко прервал Цицерон. — О боги! Если он сначала женится на Клеопатре...

— А разве египетская царица приезжает в Рим? — вскричал Брут.

— Неужели вы не знаете? Впрочем, диктатор не обязан делиться всем с бывшими помпеянами?

Кассий и Брут вспыхнули, потом побледнели.

— А известно ли вам, — продолжал Цицерон, — что после женитьбы на этой египетской простибуле Цезарь перенесет столицу в Илион или в Александрию? Город Ромула станет муниципией, зарастет травой и чертополохом, и по улицам будут бродить мулы, свиньи и ослы — римляне! А управление государством перейдет к царю Цезарю и царице Клеопатре, которые возглавят космополитическую чернь!

Брут хмуро взглянул на оратора:

— Не злословь, Марк Туллий, не оскорбляй великого римлянина!

— Великого? И Сулла велик. Впрочем, Сулла возвратил часть отобранных земель владельцам, а Цезарь вновь отобрал их, чтобы распределить среди ветеранов... Знаешь, некоторых из центурионов он сделал членами сословия декурионов, а иных членами муниципальных аристократий... Что это? Насмешка над обществом или заискивание перед легионарными?.. А заморские колонии? Ха-ха-ха! Не большим успехом они пользуются!..

В конце года, в день празднества в загородной вилле Эрато, в Рим прибыла Клеопатра. Цицерон, проходя с Кассием по Палатину, толкнул его в бок:

— Видишь? Не правду ль я говорил?

Побледнев, Кассий смотрел расширенными глазами на царицу, возлегавшую в лектике, на множество рабов, толпившихся вокруг нее, на придворных, — и мысль, что Цицерон, быть может, прав, заставляла сжиматься кулаки.

— Дорогу царице, дорогу! — кричали рослые эфиопы, расталкивая народ, и над толпами любопытных, сбегавшимися со всех улиц, плыла, точно парус, золотая лектика с белыми занавесками и мелькало чарующим видением прекрасное лицо египтянки.

— Опять во дворец Цезаря? — шепнул Цицерон в удивлении, когда рабы, миновав Палатин, направились к Эсквилинским воротам.

Кассий молчал. Он начинал понимать, куда направляется Клеопатра, и, поспешно простившись с Цицероном, бросился вслед за лектикой.

«Очевидно, царица остановится в вилле Оппия, — думал он, усиленно работая локтями и не слушая оскорблений, которыми осыпала его толпа. — Бьюсь об заклад, что у ворот она пересядет в повозку».

Так и случилось.

Лошади у него не было, и он послал сопровождавшего его невольника домой за

жеребцом. Смотрел, как удалялась царица с придворными, и сердце его тревожно билось.

Мимо проскакали Бальб и Антоний, затем Брут и Фаберий, а потом ехали матроны: Сервилия, Тертуллия, вдова Красса Богатого, Терция (Кассий отвернулся, чтоб она его не узнала), Фульвия, супруга Антония, Порция, жена Брута, дочери и жены магистратов.

Уже смеркалось, когда Кассии, сев на коня, выехал за ворота. Не успел он отъехать двух стадиев, как его догнал Требоний.

— Неужели Цицерон прав? — мрачно усмехнувшись, спросил консуляр.

— Прав или нет — что нам до этого? — притворно вздохнул Кассий. — Мы едем на пиршество, а не для того, чтобы заниматься политикой.

Требоний помолчал, потом, сдержав лошадь, перешедшую в рысь, остановил на спутнике раскосые глаза.

— Пусть боги сжалятся над отечеством. Разве благородный Кассий не видит, что тиран (Кассий вздрогнул) стремится к диадеме?

— Зачем повторяешь слова Цицерона? — тихо спросил Кассий. — Сегодня мы ничего еще не видим, а тиран он или нет, стремится ли к царской власти и готов ли жениться на Клеопатре — все это предположения...

— Разве диктатура и единодержавие не тирания?

— Единодержавие ограничено правами народа...

— А диктатура?

— Ты знаешь, он отказывался от нее, но сенат навязал ему... Во всяком случае, нужно быть на страже, и, если позволишь, благородный Требоний, я навещу тебя после нового года.

Впереди сверкала огнями вилла, и они, стегнув бичами коней, помчались вперед, прислушиваясь к голосам, доносившимся из сада, вдоль которого скакали.

Антоний усиленно ухаживал за царицей, возбуждая дикую ревность Фульвии. Цезарь равнодушно прислушивался к их смеху, читая на возбужденном лице и в сверкавших глазах Клеопатры радость и восхищение.

«Антоний женолюб, — думал Цезарь, — и ни одной матроне, ни одной девушке не дает прохода... Но царица?.. Неужели он думает... Нет, не может быть!»

Подошел к ним, когда Антоний рассказывал грубую лагерную шутку, а Клеопатра хохотала, закинув назад голову.

— Повтори, — раскрасневшись, сказала царица, — кстати послушает наш император...

Антоний рассказывал остроумно, со смехом, и борода его прыгала, а зубы сверкали. Непристойные названия вызывали хохот царицы.

Цезарь нахмурился, но Клеопатра, взяв его за руку, спросила:

— Угадай, император, кто бывает неистовее в любви — толстяк или худощавый?

Цезарь не успел ответить, — говорил Антоний:

— Конечно, толстяк; разве жир не вызывает жара в крови, способствуя любви? Взгляните на меня, царь и царица!..

Цезарь покраснел от удовольствия.

— Друг, — сказал он, сжимая ему руку, — хотя ты и величаешь меня царем, остерегайся ярости врагов...

— Врагов? — вскричал Антоний. — Помпеянцев или... Но нет! Парфянская война

откроет тебе путь к могуществу и еще большей славе!..

Цезарь шел в глубокой задумчивости по дорожке сада.

— О чем задумался наш господин и владыка? — услышал он греческую речь и, подняв голову, остановился: перед ним была Эрато, а позади нее стоял, низко кланяясь, Оппий.

— Эрато? — спросил Цезарь, любуясь гречанкой и покровительственно похлопывая ее по щеке. — Хороша, очень хороша! У тебя, Оппий, большой вкус, чем я думал...

— Прикажешь, господин...

Мгновение император смотрел на гречанку, на ее толстые бедра, просвечивавшие сквозь прозрачную ткань, потом взгляд скользнул по ее лицу:

— Благодарю, друзья... Нет, вы созданы друг для друга...

Он снял с руки золотой перстень с гиацинтом и надел Эрато на палец.

Гречанка поцеловала ему руку:

— Верная твоя рабыня всегда к твоим услугам.

— Хорошо, друзья, — рассеянно выговорил он, подавляя вздох, — еще раз благодарю вас за пиршество и проявленную заботливость...

Отвернувшись, он быстро зашагал к дому, где толпились его сторонники и откуда доносился веселый хохот Долабеллы.

XIX

Желая назначить Долабеллу перед отъездом своим в Парфнию консулом-суффектом, Цезарь объявил об этом в январские календы на заседании сената, но натолкнулся на яростное возмущение отцов государства во главе с Антонием, который ненавидел Долабеллу.

— Как, — кричали с негодованием сенаторы, — чтобы вождь плебеев стал главой республики? Не допустим!

— Он опять будет возбуждать народ против власти, и опять прольется кровь на форуме!

Встав, Антоний поднял руку.

— Император, — громко сказал он, — я предан тебе и готов на все ради тебя, твоей славы и могущества, — ты это знаешь. Но я не могу допустить, ради блага отечества, чтобы легкомысленный муж играл судьбами родины. И я, как авгур, воспрепятствую собраться комициям для утверждения в должности врага порядка и спокойствия...

Цезарь спокойно взглянул на друга.

— Зная твою преданность и любовь ко мне, я уступаю тебе, Антоний! Боги свидетелями, что единственная мысль о благе государства побудила меня выступить с этим предложением.

Спустя несколько дней сенат в полном составе отправился к Цезарю, восседавшему перед храмом Венеры Родительницы, чтобы объявить ему о декретированных почестях.

Император принял сенаторов, не вставая с места, точно имел дело с частными лицами... Все были возмущены.

— Он оскорбил государство в лице сената, — шептали магистраты.

— Божественный император, — сказал *princeps senatus*, бледнея от негодования. — Римский сенат и народ награждают тебя за твои неустанные заботы о республике. В твою честь будет посвящен храм Юпитеру Юлию, месяц квинтилий назван июлем,

даровано право быть похороненным в померии и разрешено набрать себе охрану из всадников и сенаторов...

Цезарь хотел было встать, чтобы поблагодарить, но Корнелий Бальб удержал его:

— Неужели ты, Цезарь, не считаешь себя выше всех этих мужей?

Сенаторы удалились с негодованием.

— Пусть возмущаются, — со смехом сказал Антоний, — а ты, император, делай, что находишь нужным... хотел бы опросить, кого ты намечаешь начальником конницы?

— Лепид должен уехать в свою провинцию, и я думаю назначить Гая Октавия...

Лицо Антония омрачилось.

— Скажи, тебя не удовлетворяет мой выбор? — спросил Цезарь. — Может быть, ты желаешь сам быть начальником конницы? Но я хотел, Антоний, взять тебя с собой в Парфию...

— Император! — радостно воскликнул Антоний. — С тобой — хоть к гипербореям!..

Однажды Лепид, войдя к Цезарю, сказал:

— Зачем ты распустил всю свою охрану? Сенаторы и всадники могли бы защитить тебя если не мечами, то своими телами, а испанские рабы сильны, ловки и выносливы...

— Достаточно с меня ликторов, — пробормотал Цезарь.

— Не забудь, что в разных местах столицы происходят ночные собрания недовольных... Берегись заговора, друг, не доверяй помпеянкам... Они льстят тебе, а за спиной — оскорбляют. А ты поступил с ними как отец, обласкал и возвратил имущество...

Цезарь кликнул скрибов.

— Завтра я издам эдикт, в котором объявлю, что я обо всем осведомлен, а лиц, злословящих на меня, буду привлекать к ответственности...

— Увы, друг! — вздохнул Лепид. — Ты очень мягок... Сулла поступил бы иначе... При нем даже страшно было подумать о заговоре против власти!..

— Но я не Сулла, не враг рода человеческого, — улыбнулся Цезарь, — я хочу управлять гуманно, и горе тому, кто посмеет поднять руку на Цезаря, отца отечества, вождя народа, диктатора и императора!..

— И царя, — прибавил Лепид. — Разве не приветствовали тебя этим именем два плебея?

— Да, но виноваты в этом народные трибуны: они хотели обвинить меня в стремлении к монархии, а когда это им не удалось, они потащили подкупленных плебеев в тюрьму... Я сместил этих трибунов и изгнал из сената...

— И ты был прав! Сколько еще грязи и подлости в сердцах людей!

В день февральских ид в Риме праздновались Луперкалии, торжество в честь бога Фавна, именуемого Луперком, охранителем стад от волков. После жертвоприношения в Палатинской пещере шкуру убитого козла резали на ремни, и нагие юноши бегали с ремнями в руках по городу, направляясь к форуму.

Сидя на трибуне среди форума в одежде триумфатора, Цезарь, недавно назначенный сенатом и народом пожизненным диктатором, имевшим право самовольно объявлять войны и заключать мир, казался всем монархом. И, в самом деле, не был ли он царем, всемогущим властелином Италии и провинций?

Так думали помпеянцы и умеренные цезарьянцы.

Диктатор смотрел на знатных юношей, густо намазанных маслом, которые бегали по форуму с бичами и наносили удары женщинам, становившимся на их пути — древнее поверие, что удары способствуют супружескому благополучию или зачатию.

Цезарь ждал Антония. Еще накануне он сговорился с ним разыграть перед народом пантомиму и размышлял, как отнесутся к этому друзья, сенаторы, всадники и плебеи.

Полунагой, бронзовый от загара, бородатый Антоний появился на противоположном конце форума, с узелком подмышкой, нанося женщинам удары, выкрикивая двусмысленные прибаутки.

Подбежав к трибуне, он громко приветствовал Цезаря, назвав его монархом, и, очутившись у кресла, развернул пурпур: засверкала драгоценными камнями золотая диадема, увитая помятым лавровым венком.

— Позволь, император и диктатор, возложить ее тебе на голову, — громко произнес Антоний.

— Нет, — твердо возразил Цезарь, снимая диадему.

— Ты заслужил, богоравный муж, царские почести, и отказ твой оскорбит сенат и римский народ, — настаивал Антоний. — Не отказывайся же от короны, царь Рима, и помни...

— Нет, нет! — прервал Цезарь и отвел руку Антония.

Форум рукоплескал. Радостные крики вызвали недовольство на лице императора. Раздраженный тем, что народные трибуны срывали венки, символ царской власти, с его статуй, он спустил с плеча тогу и воскликнул:

— Желаящий может меня убить!

— Слава Цезарю! — бушевала толпа.

— Молчите вы, бруты и кумцы! — вскричал Цезарь. — Чему вы радуетесь? Благо отечества прежде всего.

Когда шум утих, Антоний, продолжая держать диадему, сказал:

— Вы слышали, квинриты, что сказано в Сибиллиных книгах? Квиндеценвир Люций Котта, который стоит здесь, говорит, что парфян может победить только царь... Неужели вы не желаете победы императору? Пусть же он остается диктатором Италии и царем провинций!..

Толпа молчала.

— Я отказываюсь от царского венца, Антоний, и свидетелем моего отказа — римский народ. А так как у нас принято записывать важные события в государственные акты, то... приказываю записать, что в день февральских ид народ предложил мне диадему, а я отказался...

Поднялся ропот. Видя негодование на лицах сенаторов, всадников и плебеев, Цезарь сурово сдвинул брови.

— Это ложь! — крикнул кто-то. Цезарь повернулся к Антонию:

— Скажи, от чьего имени ты предлагал мне диадему?

— Император и диктатор! — крикнул Антоний. — Я предложил тебе корону от имени сената и римского народа, договорившись с отцами государства и с Долабеллой, вождем плебеев!..

Крики негодования усилились. Цезарь встал и, крикнув ликторов, направился домой среди толп угрюмо молчавшего народа.

XX

Ночные сборища, о которых Цезарь был осведомлен и которых не особенно опасался, веря в свою звезду, таили угрозу его жизни. Существовали два заговора, оба воодушевленные Цицероном, но оратор о них не знал, а только смутно догадывался. Однако эти заговоры, возникшие вскоре после Фарсалы и окрепшие после Мунда, хотя и объединяли один — помпеянцев, а другой — недовольных военачальников Цезаря с умеренными требованиями, но вождя у них не было. Сначала помпеянцы остановились было на выборе Секста Помпея, однако этот муж не мог удовлетворить их, а Гай Кассий, ставший во главе второго заговора, не считал себя представителем республики и свободы, человеком способным на подвиг. И, когда заговорщики обоих лагерей соединились, Кассий предложил искать идеального мужа, которому согласились бы подчиниться все недовольные.

На тайных собраниях Кассий приводил выдержки из эпистол Цицерона, и глаза его горели ненавистью:

— Слышите? Он пишет: «Мне стыдно быть рабом». Его книги вызывают сожаление о прошлом, полны патриотизма и отвращения к тирании... О, если бы он был мужем, не запятнанным подавлением мятежа Каталины, не перебежавшим от Цезаря к Помпею и обратно!

— Будь нашим вождем! — крикнул Требоний.

— Увы, — вздохнул Кассий. — Меня обвиняют в грабежах провинций, говорят, что Сирия предпочла бы гнет парфян, чем подчинение Риму. А я ведь спас ее — всем известно... Есть люди, которые не хотят понять, что варвары и плебеи должны подчиняться аристократам, а Цезарь унизил аристократию, уравнил нобилей с варварами, которых ввел в сенат...

— Нужна кровь, — шепнул Требоний.

— Да, нужна, — подхватил Кассий. — Фарсала, Тапс и Мунд должны быть отомщены: по ночам снится мне немэзида и вкладывает в руку кинжал: «Иди и порази тирана», — говорит она, и я просыпаюсь, полный решимости.

— Мы готовы! — закричали заговорщики, окружив его.

— Готовы, готовы, — проворчал он, — Я где вождь? Нет вождя! А без него мы — стадо без пастыря...

Несколько мгновений он молчал, и вдруг лицо его оживилось, глаза засверкали.

— Нужный нам вождь есть, но его необходимо убедить. Это муж честный, свободолюбивый... Он предан диктатору, а тот величает его сыном... Кто знает, может быть, он, в самом деле, его сын? Разве Сервилия не была любовницей Цезаря?

— Брут? — вскричал Требоний. — Какая счастливая мысль! Сам Цицерон посвящает свои книги его имени, как бы побуждая к спасению родины... О Кассий, Кассий! убеди его помочь республике!..

Громкие голоса, восторженные крики.

— Тише, — топнул Кассий. — Беседу об этом хранить в тайне. А я поговорю с ним.

На другой день после Луперкалий Кассий отправился к Бруту.

В доме Брута собирались члены его кружка: бородатый Аристон, брат Антиоха Аскалонского, оратор Эмлил, работавший над сочинением «Брут», Сервилия, преклонявшаяся перед императором и намекавшая сыну, что он может разделить верховную власть с диктатором, если будет верно ему служить, Порция, дочь Катона,

ненавидевшая Цезаря и соперничавшая с Сервилией из-за влияния на Брута, Цицерон со своим «сыном» Тироном, раб-скорописец, подаренный Бруту Цезарем, и семейограф Катона, записывавший речи при помощи знаков.

Брут подозвал семейографа, когда в атриум входил Кассий.

— Тщательно записывай речи мужей, — сказал он, — а завтра перепишешь их и принесешь в таблинум... А, Гай Кассий! — вскричал он, повеселев. — Как я рад, что ты перестал, наконец, сердиться... Иначе ты, конечно, не пришел бы ко мне... Как здоровье Юнии?..

Юния была сестра Брута и жена Кассия.

— Забудем прошлое, — смущенно вымолвил Кассий, не отвечая на вопрос и оглядывая собеседников, которые знали о предпочтении, оказанном Цезарем Бруту, — не претура, дорогой мой, является причиной ссоры, а нечто иное...

Но Брут, не обратив внимания на намек, полуобнял Кассия и подвел к матери и жене, которые сидели на биселле:

— Вот он, беглец, легко порвавший узы дружбы!

— Ты шутишь, Марк! — возразил Кассий. — Разве дружбу можно убить?

— Если не убить, то превратить в равнодушие или...

— ...или ненависть? Но это скорее касается любви. Так беседа, они отошли от женщин к ларарию.

— Я пришел к тебе, Марк, по важному делу...

— Говори.

— ...По тайному делу... государственному... Брут насторожился.

— Все надежды народ возлагает на тебя...

— Народ?

В раздумье смотрел на Кассия.

— Но чего хочет народ? Милостей от Цезаря? Пусть популяры обратятся к Долабелле...

Кассий усмехнулся:

— Какой ты недогадливый! — вздернул он плечами. — Ты говоришь, что любишь республику. Да? Но тогда почему же ты спишь? Тиран стремится к диадеме, а предсказания Сибиллиных книг ясно говорят...

— Что? — побледнел Брут, начиная понимать. — Против Цезаря?.. против мужа, называющего меня сыном?.. Против... Он добр был ко мне и к матери...

— Однако твой предок Брут, первый консул республики, пожертвовал своими сыновьями для блага отечества...

— Мой предок? — усмехнулся Брут. — Но кто может доказать...

— Поговори с Аттиком. Он утверждает, что линия рода Юниев не угасала с того времени, как...

— О боги! Не искушай меня, Гай, иначе я разобью себе голову о стену...

Кассий нахмурился.

— Постыдись, Марк! Неужели ты лишен твердости римлянина? Вспомни, что ты писал в эпистолах, посылаемых мне, Катону, нашим друзьям: «Наши предки считали, что нельзя терпеть тирана, если бы он был даже нашим отцом». И еще: «Я не признал бы права иметь больше власти, чем сенат и законы, даже, за родным отцом»... Поэтому скажи откровенно: ты за Цезаря?

— Ты лжешь... На Луперкалиях он отверг диадему...

— Хитрость вероломного демагога!

— Я ненавижу монархию, но Цезарь...

— Цезарь — монарх. Следовательно, ты не должен терпеть монарха.

Брут смотрел на него, сурово сдвинув брови. Глаза его стали оловянно-неподвижными.

«Вороньи глаза, — думал Кассий, наблюдая за ним, — в них нет мысли, только глупое упрямство».

— Вся разница между нами в том, — заговорил Брут надломленным голосом, — что ты, Кассий, против монарха, а я — против монархии. Но так как Цезарь не монарх и не стремится к монархии, о чем он объявил всенародно на форуме, то, прошу тебя, успокойся и не расточай напрасно своего красноречия!

Кассий пожал плечами.

— Мы еще поговорим об этом, и я уверен, что сумею тебя убедить... Но пойдем к гостям. На нас обращают внимание...

Действительно, Цицерон и Порция, тихо беседуя, поглядывали на бледного Брута и возбужденного Кассия.

«Неужели опять ссорятся?» — думала она, и на ее миловидном лице была горесть.

Когда к ним подошли Брут и Кассий, Цицерон сказал:

— Все мы философы, каждый по-своему. Ты, Брут, говоришь: «Для того, чтобы быть счастливым, человек нуждается в самом себе». А я писал: «Замыкаться в себе значит сохранить свою внутреннюю свободу и избегать тирании». Фавоний же утверждает, что лучше выносить произвольную власть, чем способствовать гражданской войне. Кто прав? Думаю, никто. Теперь, когда что-то изменилось, нужно всем нам подумать о республике.

— Я не понимаю тебя, — переглянулся Брут с Кассием.

— Не понимаешь? Вспомни, что я писал: «Республика и ты — вы взаимно потеряны друг для друга»...

Подошла Сервилия. Услышав слова, громко произнесенные Цицероном, она покачала головою:

— Ты ошибаешься, Марк Туллий, утверждая, что республика потеряна для сына, а он — для нее... Разве Брут, помогая Цезарю, не работает на благо родины? Разве Цезарь не популярен и не воевал всю жизнь с олигархами и аристократами, приверженцами их? Разве Брут не доволен претурой? Придет время, и он будет консулом...

— Не находишь ли ты, благородная Сервилия, что положение Брута и сотен нас — это выгодное рабство? — перебил Цицерон. — Быть свободным — вот цель честного мужа, бескорыстно любящего отечество, и что пользы в почестях и магистратурах для убежденного республиканца? Что лучше: пресмыкаться перед тираном, находясь в выгодном рабстве, или поразить тирана?

Сервилия вспыхнула:

— Ты, очевидно, Марк Туллий, зашел к нам после пиршества, где изрядно выпил? Неужели все твои похвальные речи были лестью, низкопоклонством и унижением перед диктатором? Кто же ты? Старый или переродившийся помпеянец? Или цезарянец пока выгодно?

Круто отвернувшись от побледневшего Цицерона, она взяла Брута под-руку и удалилась с ним к ларарию.

— Не слушай их — оба смущают тебя, вовлекая в подлое дело... Держись Цезаря, и ты будешь счастлив и велик. И, если он, действительно, станет царем, ты поделишь

с ним власть...

Брут резко освободил руку и отошел от матери. На мгновение Сервилия увидела искаженное лицо, свинцовые глаза, услышала шепот, но слов не могла разобрать.

Брут шел, тихо повторяя имя Цезаря.

Кассий, настойчивый по натуре, ни на шаг не отставал от Брута: всюду — на форуме, дома, в театре, на пиршествах — он твердил ему, что Брут должен стать во главе заговора.

— Зло необходимо пресечь в корне, — сказал однажды Кассий, — единоподержавный правитель Рима — это почти царь, а если квиндецемвиры принесут в сенат старый Сибмлинн оракул и объявят, что парфы могут быть побеждены только царем, Антоний одержит верх, и Цезарь получит диадему...

Брут долго колебался и в конце концов дал себя убедить.

На тайном собрании, состоявшемся в загородной вилле Кассия, Брут впервые столкнулся с заговорщиками и удивился: было много помпеянцев, которых он лично знал, много цезарьянцев и сенаторов, сподвижников Цезаря; Квинт Антистий Лабен, Гай Требоний, Тиллий Кимбв, Попилий Ленат, Каска, Децим Брут...

«И все эти люди должны убить одного! О боги, справедливо ли наше дело? Столько рук на Цезаря!..»

Холодный пот выступил у него на лбу. Но заговорил Кассий, порицая деятельность Цезаря, проклиная его как тирана, и Брут больше не колебался, — сжались невольно кулаки. Он выступил с краткой речью, призывая месть богов на голову Цезаря.

— Нужно торопиться, — закончил он с виду спокойно, а в душе волнуясь, — пока сенат не провозгласил его царем...

— Кроме Цезаря, нужно убить и Антония, — вскричал Кассий, — Антоний — правая рука диктатора... Это он предлагал ему диадему...

— Нет, — воспротивился Брут. — Убийство двух консулов вызовет в стране анархию, а мы заботимся о благе отечества. Стремясь устранить тирана, мы не должны мстить его приверженцам, которые могут быть нам полезны...

Кассий не сдавался.

— Не забудь, Брут, что Антоний — воплощенная монархия!

Брут резко прервал его.

— Я, ваш вождь, запрещаю убивать кого-либо, кроме Цезаря!

Голос его был тверд и решителен. Кассий первый захлопал в ладоши, а за ним поднялась буря рукоплесканий, криков и топота.

XXI

Два мужа провели по-разному вечер и ночь накануне мартовских ид. После философской беседы с членами своего кружка Брут лег спать. Порция проснулась, когда он ложился, но муж не прикасался к ней. Это ее взволновало. Слушала, как он, ворочаясь, вздыхал, и подвинулась к нему, умоляя открыться ей; Брут рассказал прерывистым шепотом о заговоре, взяв с нее страшную клятву молчания.

— Как я рада, что нашелся, наконец, мститель за республику! — вскричала матрона, порывисто вскочив сложа. — О боги, благодарю вас за милость и доброту. Он отомстит за Катона и Бибула!..

Мигала одинокая светильня, и тень женщины ломалась на стенах и потолке. Села на ложе, заглянула мужу в лицо: на нее смотрели чужие глаза, в которых не было мысли, и ей показалось, что рот его кривится.

Быстро легла, натянула на себя одеяло. Но не спала, — всю ночь слышала вздохи мужа, испытывая гнетущее беспокойство о судьбе «великого дела».

А Цезарь, пообедав у Лепида в обществе Антония, Гиртия и Пансы, недавно назначенных консулами на будущий год, и нескольких галлов-сенаторов, возобновил беседу о смерти, прерванную сcribeм, который принес государственные папирусы.

— Ты говоришь, Лепид, что сознание смерти само по себе страшно? — говорил император, подписывая папирусы. — В боях, когда смерть, стояла перед моими глазами, я забывал о ней, работая мечом...

— Какая же смерть, по-твоему, самая лучшая? — прервал Лепид, любуясь мужественным лицом друга, изборожденным морщинами.

— Неожиданная! — вскричал Цезарь и, подписав последний папирус, протянул его сcribe. — То, что называется смертью, продолжал он, — есть только изменение материи под влиянием твердого тела (железо), жидкого (вода) или эфирного (воздух). Материя разлагается, а душа испаряется, чтобы слиться с душой Космоса или улететь на Противуземлю, которая, по учению Пифагора...

Антоний с удивлением взглянул на диктатора.

— Неужели ты, Цезарь, не верящий в богов, веришь в существование Противуземли? — вскричал он. — Разве Пифагор не мог ошибиться?

Цезарь засмеялся.

— Ты хочешь сказать, что каждый человек должен иметь свое мирозерцание и не обязан верить знаменитостям. Это так. Но поскольку они философы и посвятили всю свою жизнь размышлениям, то нужно верить им...

— Что ты говоришь? — с шутливым смехом вскричал Лепид. — Остается учредить у нас республику Платона...

— ...или демократическую монархию Аристотеля! — заключил Антоний. — Завтра в сенате ты, Цезарь, получишь диадему царя провинций и отправишься в поход против парфян!..

Возвратившись в *domus publica*, где Цезарь жил как великий понтифик, он прошел в кубикулюм, разделся и, по обыкновению, лег спать нагим.

Не мог заснуть. Лежа в объятиях Кальпурнии, слушал, как она вздыхала и что-то шептала во сне, и старался уловить смысл загадочных слов, но они были незначущи и противоречивы.

Проснувшись утром, он нашел жену бледной, испуганной.

— Умоляю тебя, Гай, не выходи сегодня из дома, отложи заседание сената, — говорила она. — Дурной сон привиделся мне, — я вся дрожу от страха и волнения...

— Пустяки, — засмеялся Цезарь. — Мало ли дурных снов снится нам?

— Умоляю тебя, прибегни к мантике или жертвоприношениям...

Цезарь молча одевался.

Когда жрецы возвестили, что знамения неблагоприятны, а гаруспик, советовавший остерегаться мартовских ид, многозначительно взглянул на диктатора, Цезарь вызвал Антония и приказал объявить сенаторам, что заседание отложено.

Антоний, такой же суеверный, как и Цезарь, сказал:

— Если боги предостерегают своего потомка, то не следует пренебрегать предзнаменованиями.

Заговорщики торопились умертвить Цезаря, опасаясь наплыва в Рим ветеранов, которые должны были составить почетный отряд при выезде диктатора из столицы. И

убийство было назначено на мартовские иды.

— Мы поразим тирана в сенате, — говорил Кассий. — Он будет убит восьмьюдесятью сенаторами, подобно Ромулу, казненному самим Римом...

— А разве не весь Рим в заговоре с нами? — вскричал Брут. — Каждый из нас должен нанести только один удар...

Он волновался, боясь измены. В душе его шла тяжелая упорная борьба, но любовь к Цезарю и любовь к республике были несовместимы. Даже решившись на убийство, он колебался. И только молчаливая поддержка жены укрепляла его решение выполнить долг республиканца до коша. Временами ему казалось, что заговорщики преследуют личные цели, что им нет дела до республики и что Кассий, советовавший иметь кинжал под тогами, ненавидит Цезаря потому только, что тот сумел возвыситься, а он Кассий, сподвижник Красса, остался маленьким человеком.

В назначенный день заговорщики чуть свет собирались к портику Помпея. На улицах было почти безлюдно. Брут слушал, как Децим размещал в театре, находившейся возле курии, нанятых гладиаторов, которые должны были защитить заговорщиков в случае внезапного нападения ветеранов. Подозвав Требония, он тихо заговорил, поручая задержать Антония на улице, и губы у него дрожали.

— Завяжи с ним разговор, удержи как хочешь... Антоний страшно силен и, если проникнет в курию, будет защищать Цезаря...

Брут дрожал, как в лихорадке. Подозвав раба, он приказал принести холодной воды из источника Эгерии.

Вода освежила его, привела мысли в порядок.

Солнце золотило Капитолий, храмы Весты и Кастора, общественные здания. Брут вошел на трибунал и начал разбирать судебные дела. Он совсем успокоился, и, казалось, забыл о деле — том страшном деле, которое истерзало сердце, легло на него непосильной тяжестью, но голоса соучастников, беседовавших под портиком... но гладиаторы, укрытые в театре... но толпы народа, заполнившие улицы... но зрители, спешившие в театр, где началось представление...

Понял, что спокойствие — напускное. Из глубины души поднялась темная волна ужаса. Не слышал людей, излагавших жалобы: свинцовые глаза стали невидящими, рука ухватилась за бороду и, точно окаменев, застыла.

Усилием воли взял себя в руки. Прервав разбирательство дела, он подошел к Каске, с которым беседовал сенатор, не заговорщик, и, видя испуг на лице соучастника, спросил:

— О чем вы шепчетесь, коллеги?

— Удивляюсь, — смеясь, говорил сенатор, — отчего Каска скрывает свою тайну? Но, поскольку ты, Брут, доверил ее мне, она уже не тайна, и я рад кандидатуре Каски в эдилы...

Каска и Брут вздохнули с облегчением. Когда сенатор ушел, к ним подошли почти одновременно Кассий и Ленат.

— Надеюсь на успех, — сказал Попиллий Ленат, — нужно торопиться...

Брут взглянул на солнце — оно было уже высоко. Никогда Цезарь так не опаздывал. Нетерпение заговорщиков превращалось в ужас — мысль об измене охватила их.

— Не преданы ли мы? — шепнул. Кассий Бруту на ухо.

— Пошли за ним Децима, — решил вождь заговорщиков.

Отозвав Децима Брута в сторону, Кассий беседовал с ним. Сперва Децим

колебался, но потом согласился и с деланно-веселым видом зашагал к форуму.

Кассий и Брут не спускали с него глаз: вот он достиг узеньких улочек Марсова поля, вот свернул вправо, потом влево, и его крепкая фигура пропала среди бедных домиков плебеев.

XXII

Децим Брут, поднявшись на форум, вбежал в *domus publicus* и приказал рабу доложить о себе Цезарю.

«Я мог бы поразить его здесь, — подумал Децим, — но, поскольку тирана должен казнить весь Рим, он получит все восемьдесят ударов в курии Помпея».

Цезарь вышел к нему в одной тунике — тогу он снял, решив не выходить из дому.

— Великий Цезарь, — сказал Децим Брут, целуя после приветствия у него руку, — как твоё здоровье? Сенаторы собрались и ожидают тебя...

— Дурные предзнаменования, дорогой Децим, принудили меня остаться дома. Жена видела зловещий сон, а жрецы предсказывают...

— И ты, равный богам, веришь глупым жрецам? И сновидениям жены? О, Цезарь! подумай, что скажут твои недоброжелатели, узнав, что государственные дела зависят от хороших или дурных снов твоей жены.

Цезарь молчал.

— Сенат будет оскорблен, если ты не явишься, — продолжал Децим Брут, поглаживая полные красные щеки, — а ведь он собирается провозгласить тебя царем провинций с правом носить диадему на суше и на море... О Цезарь, мы любим тебя и боготворим, и неужели ты не желаешь блага отечеству?..

— Децим Брут, посмотри мне в глаза...

Брут, не моргнув глазом, выдержал взгляд Цезаря.

— Все такой же честный, верный, — шепнул диктатор, обнимая его.

Дрожа от стыда и презрения к себе, чувствуя ужас в сердце, Децим освободился из объятий Цезаря.

— Император, я тороплюсь, меня ждут... Но не лучше ли, если ты сам пойдешь в сенат и отложишь заседание?

И, взяв Цезаря под руку, вышел с ним на улицу.

— Займи место в лектике, — предложил ему диктатор. Но Децим, мучимый стыдом, колебался, и Цезарь заставил его возлечь рядом с собою.

Лектику сопровождали ликторы, и раб, бежавший впереди них, громко кричал, расталкивая народ:

— Дорогу диктатору!

Лектика, окруженная клиентами, магистратами, почитателями и приверженцами, медленно пробиралась среди толп разноплеменного люда.

Высунувшись из лектики, Цезарь приветствовал рукой и улыбкою народ. Крики охватили улицу. Кто-то воскликнул: «Да здравствует наш царь!» Кто-то поправил: «Царь провинций!» Кто-то добавил: «Царь Рима!» Затем возгласы слились в мощный гул, — это кричали плебеи, и Цезарь, внезапно нахмурившись, сказал Дециму Бруту:

— Слышишь, они вопят: «Долой царя!» А разве я добиваюсь диадемы?

Децим прищурился:

— Да, Цезарь, ты стремишься стать царем, и сегодня в сенате...

Он не договорил. Сквозь неистовствовавшую толпу какой-то человек пробивал себе путь к диктатору.

— Важная эпистола! — кричал он. — Дорогу, дорогу!..

Лектика остановилась. Цезарь узнал бородатого Артемидора, учителя греческой литературы, с которым часто беседовал и которого любил за прямоту, искренность и ясность суждений.

— Привет Цезарю! — воскликнул Артемидор, подавая ему эпистола. — Умоляю тебя, диктатор, прочти это как можно скорее; здесь говорится о чрезвычайно важном для тебя деле.

Император вскрыл письмо, и выйдя из лектики, стал читать, Однако лица, попадавшие ему навстречу, мешали, — он поминутно отрывался от эпистолы.

«Прочту в сенате», — решил он, приветствуя магистратов.

Подошел Попиллий Ленат и тихо стал беседовать с Цезарем.

Ужас охватил заговорщиков. Боялись, как бы не предал, и все, как один, приготовили кинжалы, чтобы тут же покончить самоубийством. Кассий позеленел от страха, только Брут держал себя в руках и спокойно смотрел на Цезаря.

После жертвоприношения, совершенного вне курии, Цезарь насмешливо обратился к гаруспику:

— Что же, Спурина, мартовские иды пришли?!..

— Пришли, Цезарь, но еще не прошли, — ответил гаруспик, и опять беспокойство охватило диктатора.

В курию Помпея вошел с эпистолой в руке. Удивился, что Децима Брута уже рядом не было, и безотчетный страх закрался ему в сердце.

Впереди возвышалась во весь рост статуя Помпея: тучный триумвир, с лавровым венком на голове, высокомерно смотрел незрячими глазами на сенаторов, и презрительное выражение не сходило с круглого упитанного лица.

Цезарь не видел Кассия, не сводившего глаз со статуи. Эпикурец, он на этот раз отступился от учения философа и, дрожа от нетерпения, волнуясь, молча звал Помпея на помощь. Он был в исступлении: — ничего не видел, не слышал, пока молился Помпею. Только сверкали глаза, и рука судорожно сжимала меч.

Оторвав глаза о Помпея, Кассий увидел Цезаря, садившегося в кресло, и поспешил к заговорщикам.

— Умоляю тебя, диктатор и император! — говорил Тиллий Кимбр, униженно кланяясь, — сжался над моим бедным братом, верни его из изгнания! Он погибает в стране, где не слышно римской речи и не видно неба возлюбленной Италии!

— Нет, Тиллий, — твердо возразил Цезарь, — твой брат, подобно Нигидию Фигулу, непримирим, и нет ему веры в моем сердце!

— О Цезарь, прости его! — хором закричали заговорщики. — Взывая к твоему милосердию, мы целуем тебя, как бога...

И они целовали у него руки, грудь, голову, напирая на кресло, — это было Необычно, и Цезарь, чувствуя опять страх, быстро встал, сделав знак всем отодвинуться.

«Где Децим Брут? Неужели он»...

Но Децима Брута не было. Исступленное лицо Кассия с одичавшими глазами... Злые лица... и глаза, глаза!..

Понял опасность. И в ту же минуту Кимбр обеими руками ухватился за его тогу и сорвал ее с плеч. Открылась грудь, покрытая легкой туникой.

— Да ведь это насилие! — крикнул Цезарь. Каска, стоявший позади, выхватил меч и дрогнувшей рукой ударил его в плечо: острие задело глотку.

На Цезаря сыпались удары со всех сторон. Брат Каски вонзил ему кинжал в бок. Кассий поразил в лицо, подбежавший Децим Брут — в пах. Цезарь боролся, защищаясь стилем, кулаками и ногами, озираясь, обдумывая, как бежать, но заговорщики, вопя и воя, почти повисли на нем и в тесноте поражали друг друга. Боли он не чувствовал, глаза искали помощи, сочувствия, однако всюду были враждебные лица.

Отбиваясь, Цезарь дошел до статуи Помпея. Мелькнула мысль — опрокинуть на них статую. И вдруг задрожал, пошатнулся: бледность забелила мужественное лицо воина, неоднократно смотревшего в глаза смерти: Брут вынимал меч, — Брут, возможно ли?..

Страшное мгновение. Остро почувствовал опустошенность сердца и отвращение к жизни.

— И ты, сын? — вскричал он с упреком и перестал защищаться: окутав голову тогой, он левой рукой спустил ее складки за колени и подставил тело под удары.

Теперь заговорщики, торопясь, хрипя и задыхаясь, работали мечами, как молотильщики цепями.

Брут, раненный в руку, смотрел на Цезаря, упавшего в луже крови у подножия статуи Помпея, на заговорщиков, забрызганных кровью, и глаза его горели торжеством.

— Отцы государства! — воскликнул он, желая произнести речь, и — замолчал: сенаторы с криками ужаса, с поднятыми руками, обратились в бегство. Только один из них стоял на месте: глаза его радостно сверкали, и он хлопал в ладоши. Однако рукоплескания его тонули в отзвуках топавших ног, в шуме и давке у дверей, — разве бегство сенаторов не было осуждением убийства?

Брут злобно усмехнулся. Курия Помпея была пуста.

Выбежав из нее, он помчался по улицам, размахивая кинжалом, и его забрызганная кровью тога заставляла квиритов с ужасом бежать от него.

— Мир, мир! — кричал Брут.

С недоумением смотрела на него разноплеменная толпа. А когда за ним выбежали из курии заговорщики с обернутыми вокруг левой руки тогами, потрясая окровавленными кинжалами, неся на палке пилей, символ свободы, и взывая к республике, — улицы опустели. Разбегались торговцы, разносчики, зрители из театра Помпея, и вскоре город погрузился в гробовое молчание.

Светило солнце, в листве деревьев гомозились птички, а жители заперлись в домах, боясь выйти на улицу.